Фазиль

ИСКАНДЕР



ТРИНАДЦАТЫЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА

Рекомендовано лучшими учителями

Классика для школьников

Тринадцатый подвиг Геракла. Рассказы о Чике

Фазиль Абдулович Искандер

Аннотация
Фазиль Искандер. ТРИНАДЦАТЫЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА. РАССКАЗЫ О ЧИКЕ.
Тринадцатый подвиг Геракла
Рассказы о Чике
Ночь и день Чика
Защита Чика
Чик и Пушкин
Подвиг Чика
Чик – играющий судья
Чик чтит обычаи

Аннотация

Фазиль Абдулович Искандер (1929–2016) – мастер прозы, поэт, эссеист, автор остроумных афоризмов. «Детство формирует человека, и многие впечатления детства становятся потом основой характера взрослого. В этом смысле детство – это основа будущего взрослого человека», – считал писатель. Именно поэтому Фазиль Искандер много писал о детях. В книгу вошли рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла» и цикл рассказов о Чике. Пятиклассник – герой рассказа «Тринадцатый подвиг Геракла» – не решил трудную задачу по математике, которая была задана на дом. Чтобы избежать насмешки учителя, он решился на обман. Подвигом трусости назвал учитель поступок своего ученика. Герой «Рассказов о Чике» – озорной, добрый, интересующийся всем на свете 11-летний мальчик Чичико. Он ходит в школу, играет в футбол, любит читать Пушкина, помогает тете и бабушке, защищает слабых, размышляет о жизни и ее первых уроках.

Иллюстрация на обложке *Н. Бугославской*.

Фазиль Искандер
ТРИНАДЦАТЫЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА. РАССКАЗЫ О ЧИКЕ.

Тринадцатый подвиг Геракла

Все математики, с которыми мне приходилось встречаться в школе и после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчет того, что пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, навряд ли абсолютно точно.

Возможно, у самого Пифагора так оно и было, но его последователи, наверно, об этом забыли и мало обращали внимания на свою внешность.

И все-таки был один математик в нашей школе, который отличался от всех других. Его нельзя было назвать слабохарактерным, ни тем более неряшливым. Не знаю, был ли он гениален, — сейчас это трудно установить. Я думаю, скорее всего был.

Звали его Харлампий Диогенович. Как и Пифагор, он был по происхождению грек. Появился он в нашем классе с нового учебного года. До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие математики могут быть.

Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь,

потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион.

Стадион находился рядом со школьным двором и постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервирует школьников. На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не угасающей с годами.

К счастью, нашего директора не послушались и стадион оставили на месте, только деревянный забор заменили каменным. Так что теперь приходилось перелезать и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели в деревянной ограде.

Все же директор наш напрасно боялся, что мы можем сбежать с урока математики. Это было немыслимо. Это было все равно что подойти к директору на перемене и молча скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно надоела. Он всегда, и зимой и летом, ходил в одной шляпе, вечнозеленой, как магнолия. И всегда чего-нибудь боялся.

Со стороны могло показаться, что он больше всего боялся комиссии из гороно, на самом деле он больше всего боялся нашего завуча. Это была демоническая женщина. Когда-нибудь я напишу о ней поэму в байроновском духе, но сейчас я рассказываю о другом.

Конечно, мы никак не могли сбежать с урока математики. Если мы вообще когда-нибудь и сбегали с урока, то это был, как правило, урок пения.

Бывало, только входит наш Харлампий Диогенович в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он нас заставлял смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство от обратного.

Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть припоздает на урок, ну примерно на полсекунды после звонка, а Харлампий Диогенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов провалиться сквозь пол. Может, и провалился бы, если б прямо под нашим классом не находилась учительская.

Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, другой сгоряча выругает, но только

не Харлампий Диогенович. В таких случаях он останавливался в дверях, перекладывал журнал из руки в руку и жестом, исполненным уважения к личности ученика, указывал на проход.

Ученик мнется, его растерянная физиономия выражает желание как-нибудь понезаметней проскользнуть в дверь после учителя. Зато лицо Харлампия Диогеновича выражает радостное гостеприимство, сдержанное приличием и пониманием необычности этой минуты. Он дает знать, что само появление такого ученика — редчайший праздник для нашего класса и лично для него, Харлампия Диогеновича, что его никто не ожидал, и раз уж он пришел, никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опозданьице, тем более он, скромный учитель, который, конечно же, пройдет в класс после такого замечательного ученика и сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят.

Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, неловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет на свое место.

Харлампий Диогенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великолепное. Например:

— Принц Уэльский.

Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой

принц Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой на оленей. И если уж ему надоест охотиться за своими оленями и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле электростанции. Потому что она образцовая. В крайнем случае, если б ему вздумалось прийти именно к нам, нас бы давно предупредили и подготовили класс к его приходу.

Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик никак не может быть принцем, тем более каким-то Уэльским.

Но вот Харлампий Диогенович садится на место. Класс мгновенно смолкает. Начинается урок.

Большеголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый, он властно и спокойно держал класс в руках. Кроме журнала, у него был блокнотик, куда он что-то вписывал после опроса. Я не помню, чтобы он на кого-нибудь кричал, или уговаривал заниматься, или грозил вызвать родителей в школу. Все эти штучки были ему ни к чему.

Во время контрольных работ он и не думал бегать между рядами, заглядывать в парты или

там бдительно вскидывать голову при всяком шорохе, как это делали другие. Нет, он спокойно читал себе что-нибудь или перебирал четки с бусами, желтыми, как кошачьи глаза.

Списывать у него было почти бесполезно, потому что он сразу узнавал списанную работу и начинал высмеивать ее. Так что списывали мы только в самом крайнем случае, если уж никакого выхода не было.

Бывало, во время контрольной работы оторвется от своих четок или книги и говорит:

— Сахаров, пересядьте, пожалуйста, к Авдеенко.

Сахаров встает и смотрит на Харлампия Диогеновича вопросительно. Он не понимает, зачем ему, отличнику, пересаживаться к Авдеенко, который плохо учится.

— Пожалейте Авдеенко, он может сломать шею.

Авдеенко тупо смотрит на Харлампия Диогеновича, как бы не понимая, а может быть, и в самом деле не понимая, почему он может сломать шею.

— Авдеенко думает, что он лебедь, — поясняет Харлампий Диогенович. — Черный лебедь, — добавляет он через мгновение, намекая на загорелое, угрюмое лицо Авдеенко. — Сахаров, можете

продолжать, — говорит Харлампий Диогенович.

Сахаров садится.

— И вы тоже, — обращается он к Авдеенко, но что-то в голосе его едва заметно сдвинулось. В него влилась точно дозированная порция насмешки. — …Если, конечно, не сломаете шею… черный лебедь! — твердо заключает он, как бы выражая мужественную надежду, что Александр Авдеенко найдет в себе силы работать самостоятельно.

Шурик Авдеенко сидит, яростно наклонившись над тетрадью, показывая мощные усилия ума и воли, брошенные на решение задачи.

Главное оружие Харлампия Диогеновича — это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, — не лентяй, не лоботряс, не хулиган, просто смешной человек. Вернее, не просто смешной, на это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадывающийся об этом последним.

И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников, и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. Если над тобой смеется один человек, ты можешь еще как-нибудь с этим справиться.

Но невозможно пересмеять весь класс. И если уж ты оказался смешным, хотелось во что бы то ни стало доказать, что ты хоть и смешной, но не такой уж окончательно смехотворный.

Надо сказать, что Харлампий Диогенович не давал никому привилегии. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи.

В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там было что-то про артиллерийский снаряд, который куда-то летит с какой-то скоростью и за какое-то время. Надо было узнать, сколько километров пролетел бы он, если бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом направлении.

В общем, задача была какая-то запутанная и глупая. У меня решение никак не сходилось с ответом. А между прочим, в задачниках тех лет, наверное, из-за вредителей, ответы иногда бывали неверные. Правда, очень редко, потому что их к тому времени почти всех переловили. Но, видно, кое-кто еще орудовал на воле.

Но некоторые сомнения у меня все-таки оставались. Вредители вредителями, но, как говорится, и сам не плошай.

Поэтому на следующий день я пришел в школу за час до занятий. Мы учились во вторую смену.

Самые заядлые футболисты были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи, оказалось, что и он ее не решил. Совесть моя окончательно успокоилась. Мы разделились на две команды и играли до самого звонка.

И вот входим в класс. Еле отдышавшись, на всякий случай спрашиваю у отличника Сахарова:

— Ну, как задача?

— Ничего, — говорит он, — решил.

При этом он коротко и значительно кивнул головой в том смысле, что трудности были, но мы их одолели.

— Как решил, ведь ответ неправильный?

— Правильный, — кивает он мне головой с такой противной уверенностью на умном добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие, хотя и заслуженное, но тем более неприятное. Я еще хотел посомневаться, но он отвернулся, отняв у меня последнее утешение падающих: хвататься руками за воздух.

Оказывается, в это время в дверях появился Харлампий Диогенович, но я его не заметил и продолжал жестикулировать, хотя он стоял почти рядом со мной. Наконец я догадался, в чем дело, испуганно захлопнул задачник и замер.

Харлампий Диогенович прошел на место.

Я испугался и ругал себя за то, что сначала согласился с футболистом, что задача неправильная, а потом не согласился с отличником, что она правильная. А теперь Харлампий Диогенович, наверное, заметил мое волнение и первым меня вызовет.

Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Звали его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Аликом и даже на тетради писал «Алик», потому что началась война и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Все равно все помнили, как его звали раньше, и при случае напоминали ему об этом.

Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга, но, по-моему, из этого ничего не получилось. Каждый оставался таким, каким был.

Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий, и оттого, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка — держать руки на промокашке, от чего я его никак не мог отучить.

— Гитлер капут, — шепнул я в его сторону. Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с

промокашки, и то стало легче.

Между тем Харлампий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка вздернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком, почему-то посмотрел после этого в платок и сунул его в карман. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовления палача пошли быстрей.

Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание.

— Кто дежурный? — неожиданно спросил он. Я вздохнул, благодарный ему за передышку.

Дежурного не оказалось, и Харлампий Диогенович заставил самого старосту стирать с доски. Пока он стирал, Харлампий Диогенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни, или басню Эзопа, или что-нибудь из греческой мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен и он ждал, чтобы староста скорей кончил свое нудное протирание. Наконец староста сел.

Класс замер. Но в это мгновение раскрылась

дверь и в дверях появились доктор с медсестрой.

— Извините, это пятый «А»? — спросила доктор.

— Нет, — сказал Харлампий Диогенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие может сорвать ему урок. Хотя наш класс был почти пятый «А», потому что он был пятый «Б», он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть.

— Извините, — сказала доктор еще раз и, почему-то нерешительно помешкав, закрыла дверь.

Я знал, что они собираются делать уколы против тифа. В некоторых классах уже делали. Об уколах заранее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улизнуть или, притворившись больным, остаться дома.

Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самые противные из всех существующих уколов.

И вот внезапная надежда, своим белоснежным халатом озарившая наш класс, исчезла. Я этого не мог так оставить.

— Можно, я им покажу, где пятый «А»? — сказал я, обнаглев от страха.

Два обстоятельства в какой-то мере оправды-

вали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом или еще за чем-нибудь. А потом пятый «А» был в одном из флигелей при школьном дворе, и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко, постоянно она работала в первой школе.

— Покажите, — сказал Харлампий Диогенович и слегка приподнял брови.

Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, я выскочил из класса.

Я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними.

— Я покажу вам, где пятый «А», — сказал я. Докторша улыбнулась так, как будто она не уколы делала, а раздавала конфеты.

— А нам что, не будете делать? — спросил я.

— Вам на следующем уроке, — сказала докторша, все так же улыбаясь.

— А мы уходим в музей на следующий урок, — сказал я несколько неожиданно даже для себя.

Вообще-то у нас шли разговоры о том, чтобы организованно пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека. Но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор

боялся, что мы не сумеем пойти туда организованно.

Дело в том, что в прошлом году один мальчик из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феодала, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу по два, а гурьбой.

На самом деле этот мальчик все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в солому, которой была покрыта Хижина Дореволюционного Бедняка. А потом, через несколько месяцев, когда всё успокоилось, он пришел туда в пальто с прорезанной подкладкой и окончательно унес кинжал.

— А мы вас не пустим, — сказала докторша шутливо.

— Что вы, — сказал я, начиная волноваться, — мы собираемся во дворе и организованно пойдем в музей.

— Значит, организованно?

— Да, организованно, — повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организованно сходить в музей.

— А что, Галочка, пойдем в пятый «Б», а то и в самом деле уйдут, — сказала она и останови-

лась. Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах.

— Но ведь нам сказали сначала в пятый «А», — заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую.

Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что никто и не думает считать ее взрослой.

— Какая разница, — сказала докторша и решительно повернулась.

— Мальчику не терпится испытать мужество, да?

— Я малярик, — сказал я, отстраняя личную заинтересованность, — мне уколы делали тыщу раз.

— Ну, малярик, веди нас, — сказала докторша, и мы пошли.

Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом.

Когда я вошел в класс, у доски стоял Шурик Авдеенко, и, хотя решение задачи в трех действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто

раньше знал, а теперь никак не мог припомнить ход своей мысли.

«Не бойся, Шурик, — думал я, — ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас». Хотелось быть ласковым и добрым.

— Молодец, Алик, — сказал я тихо Комарову, — такую трудную задачу решил.

Алик у нас считался способным троечником. Его редко ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка.

Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой Галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так, надо ребятам делать уколы.

— Если это необходимо именно сейчас, — сказал Харлампий Диогенович, мельком взглянув на меня, — я не могу возражать. Авдеенко, на место, — кивнул он Шурику.

Шурик положил мел и пошел на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи.

Класс заволновался, но Харлампий Диогенович приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше. Сам он присел рядом

за парту. Он казался грустным и немного обиженным.

Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки, бутылочки и враждебно сверкающие инструменты.

— Ну, кто из вас самый смелый? — сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось.

Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу.

— Будем вызывать по списку, — сказал Харлампий Диогенович, — потому что здесь сплошные герои.

Он раскрыл журнал.

— Авдеенко, — сказал Харлампий Диогенович и поднял голову.

Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся.

Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, и по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше, получить двойку или идти первым на укол.

Он заголил рубаху и теперь стоял спиной к докторше, все такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали,

он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал.

Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходила его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало.

Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он не отрываясь смотрел на докторскую иглу.

— Отвернись и не смотри, — говорил я ему.

— Я не могу отвернуться, — отвечал он затравленным шепотом.

— Сначала будет не так больно. Главная боль, когда будут впускать лекарство, — подготавливал я его.

— Я худой, — шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами, — мне будет очень больно.

— Ничего, — отвечал я, — лишь бы в кость не попала иголка.

— У меня одни кости, — отчаянно шептал он, — обязательно попадут.

— А ты расслабься, — говорил я ему, похлопывая его по спине, — тогда не попадут.

Спина его от напряжения была твердая, как доска.

— Я и так слабый, — отвечал он, ничего не понимая, — я малокровный.

— Худые не бывают малокровными, — строго возразил я ему. — Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь.

У меня была хроническая малярия, и, сколько доктора ни лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией.

К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не соображал, куда идет и зачем.

Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, с остекленевшими глазами, и когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть, хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я и не знал пока, для чего.

После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает.

— «Скорую помощь»! — закричал я. — Побегу

позвоню!

Харлампий Диогенович гневно посмотрел на меня, а докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику.

Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал.

— Даже не почувствовал, — сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал.

— Молодец, малярик, — сказала докторша.

Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в пятый «А».

— Еще потрите, — сказал я, — надо, чтобы лекарство разошлось.

Она с ненавистью дотерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятней.

Наконец все кончилось. Докторша со своей Галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный — лекарства. Ученики сидели,

поеживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших.

— Откройте окно, — сказал Харлампий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы.

Он вынул четки и задумчиво перебирал желтые бусины. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое.

— Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил двенадцать подвигов, — сказал он и остановился. Щелк, щелк — перебрал он две бусины справа налево. — Один молодой человек захотел исправить греческую мифологию, — добавил он и опять остановился. Щелк, щелк.

«Смотри, чего захотел», — подумал я про этого молодого человека, понимая, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается. Какую-нибудь другую, завалящую мифологию, может быть, и можно подправлять, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено и никаких ошибок быть не может.

— Он решил совершить тринадцатый подвиг

Геракла, — продолжал Харлампий Диогенович, — и это ему отчасти удалось.

Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что, если бы Гераклу понадобилось совершить тринадцать подвигов, он бы сам их совершил, а раз он остановился на двенадцати, значит, так оно и надо было и нечего было лезть со своими поправками.

— Геракл совершал свои подвиги как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости… — Харлампий Диогенович задумался и прибавил: — Мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг…

Щелк. На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая.

Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харлампия Диогеновича.

— …Мне кажется, я догадываюсь, — проговорил он и посмотрел на меня.

Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху влепилось в спину.

— Прошу вас, — сказал он и жестом пригласил меня к доске.

— Меня? — переспросил я, чувствуя, что голос мой подымается прямо из живота.

— Да, именно вас, бесстрашный малярик, — сказал он.

Я поплелся к доске.

— Расскажите, как вы решили задачу, — спросил он спокойно, и — щелк, щелк — две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках.

Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я проваливался как можно медленней и интересней.

Я смотрел краем глаза на доску, пытаясь по записанным действиям восстановить причину этих действий. Но мне это не удалось. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвенит звонок и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным.

— Мы вас слушаем, — сказал Харлампий Диогенович, не глядя на меня.

— Артиллерийский снаряд, — сказал я бодро в ликующей тишине класса и замолк.

— Дальше, — проговорил Харлампий Диогенович, вежливо выждав.

— Артиллерийский снаряд, — повторил я упрямо, надеясь по инерции этих слов пробиться к другим таким же правильным словам. Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаясь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь.

— Артиллерийский снаряд, — повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения.

В классе раздались сдержанные хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент, и решил ни за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку.

— Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? — спросил Харлампий Диогенович с доброжелательным любопытством.

Он это спросил так просто, как будто справлялся, не проглотил ли я сливовую косточку.

— Да, — быстро сказал я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты.

— Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал, — сказал Харлампий Диогенович, но класс уже и так смеялся.

Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом.

Глядя на него, я подумал, что если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал так же, как свое настоящее имя, обнаружились во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватость Комарова никто не замечал. И еще я подумал, что, если бы мы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями.

Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Харлампий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик.

С тех пор я стал серьезней относиться к до-

машним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое.

Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или хорошая женщина.

Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого.

Мне кажется, что Древний Рим погиб оттого, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами (надо хотя бы от дурака слышать правду), может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с его императорами и гусями.

Я, понятно, об этом нисколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души и приучал нас от-

носиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.

Рассказы о Чике
Ночь и день Чика

— А тебе, Ясон, — спросил Чик, — приходилось убивать человека?

Чик лежал на высокой бабушкиной кровати и, приподнявшись, смотрел в противоположную сторону залы — так называли эту комнату. Там почти в полной темноте лежал Ясон. Ясон курил, и огонек папиросы, когда он затягивался, озарял его впалую щеку, коротенький нос и большие губы.

Между Чиком и Ясоном на своем обычном месте лежал дядя Коля, сумасшедший дядюшка Чика. Ставни среднего окна были открыты, и свет уличного фонаря слегка озарял постель и бритую голову дяди Коли.

В столовой спала тетя Наташа, дальняя родственница Чика. Больше в доме никого не было, все уехали в деревню на похороны…

Обычно Чик спал у себя дома, внизу, на первом этаже. Но сегодня бабушка оставила его здесь, чтобы он присматривал за дядей. Сам-то дядя предпочел бы, чтобы Чик за ним не присматривал, потому что в таких случаях Чик редко

удерживался, чтобы не подразнить его.

Правда, сейчас Чик, занятый разговором с Ясоном, не собирался его дразнить. Дело в том, что Ясон был вором. Это все знали. Во всяком случае, знали все родственники. Изредка он заходил к ним домой, иногда оставался ночевать и всегда уходил рано утром.

Задав вопрос, Чик напряженно прислушивался, чтобы не пропустить ни одного слова. Прислушиваясь, он поглядывал сквозь среднее окно на уличный фонарь, вокруг которого толклись мотыльки и мошки.

Ясон не спешил с ответом, зато в тишине без умолку раздавалась песенка дяди Коли. Такие песенки, собственного сочинения, без всяких слов, вернее, с выдуманными словами, он всегда пел перед сном, если у него было хорошее настроение.

Иногда он прерывал песню и, приподнявшись, тревожно смотрел в сторону Чика, чтобы вовремя перехватить его очередную проделку. То, что Чик до сих пор ничего не выкинул, беспокоило его, казалось признаком особого коварства.

— Вижу, вижу, — приговаривал он, делая вид, что разгадал замысел Чика и достаточно сурово покарает, когда это будет необходимо. Еще один

оттенок легко улавливал Чик в его предупреждении. Он как бы выманивал его из засады — мол, давай, если ты такой храбрый, действуй побыстрей, а там я с тобой разделаюсь, и мы оба освободимся друг от друга. Иногда он поглядывал на Ясона, стараясь предугадать, чью сторону примет этот неизвестный человек в случае столкновения с Чиком.

Собственно говоря, Чик собирался подбросить ему кошку. С этой целью он взял ее к себе в постель, но сейчас, увлекшись рассказами Ясона, забыл о своих планах. Кошка спала, уютно устроившись на простыне, которой укрывался Чик.

Кошек и собак дядя Коля не переносил. Он испытывал к ним яростное отвращение. Было похоже, что он не видел между ними особой разницы. Во всяком случае, и тех и других он обобщенно называл собаками.

Предупредив Чика, что его тайные приготовления не остались незамеченными, дядюшка на время успокоился и снова затянул свою бесконечную мелодию, иногда подражая каким-то музыкальным инструментам, совершенно неведомым Чику, а может быть, и всему остальному человечеству.

— Он что, всю ночь будет так скулить? — неожи-

данно спросил Ясон, не отвечая на вопрос Чика.

— Это он поет, — ответил Чик, несколько обиженный за дядю, — он так попоет немного, а потом заснет.

— Интересно, что ему сейчас кажется? — сказал Ясон и затянулся. Снова появились в темноте большие губы, коротенький нос и ямина впалой щеки.

— Ничего не кажется, — ответил Чик несколько раздраженно. — Ты лучше скажи, приходилось тебе убивать или нет?

— Было, — сказал Ясон не очень охотно. Чик не мог почувствовать, жалеет он об этом или ему просто лень вспоминать.

— Так расскажи, — снова подтолкнул он его.

— В ту ночь, — начал Ясон, — мы ничего такого не думали. Шли с кино с одним корешом…

— Я его не знаю? — спросил Чик. — Он не из тех, кого я видел на стадионе?

— Не, то был грек, — сказал Ясон с таким видом, как будто среди тех, что были на стадионе, не могло оказаться грека.

…В прошлом году за драку в ресторане Ясона посадили в тюрьму.

Оказывается, он заплатил деньги ресторанному певцу, чтобы тот спел «Здравствуй, моя Мурка».

Но певец почему-то отказался петь эту песню, хотя обещал спеть любую другую. Из-за этого все и началось.

Чик вообще считал всю эту историю очень глупой. Если уж Ясону было совсем невтерпеж послушать «Мурку», то он мог прийти к ним домой, и Чик ему спел бы ее, и притом бесплатно.

Одним словом, из-за этого получилась драка, и один из друзей Ясона бросил в певца бутылку из-под шампанского. Но она в певца не попала. Она попала в барабан, и тот лопнул. Не лопни барабан, ничего бы не случилось. А когда барабан лопнул, кто-то решил, что началась стрельба, и позвонил в милицию. Тут приехала милиция, и всех перехватали. Таким образом Ясон оказался на полгода в тюрьме. Вернее, это так считалось, что он сидит в тюрьме. На самом деле он вместе с другими заключенными работал. Чик тогда несколько раз носил ему передачи. Передачи эти — полная сетка продуктов — втайне от домашних собирала бабушка и давала Чику отнести, потому что работал Ясон совсем рядом, в двух кварталах от дома, на стадионе.

Хотя по дорожке похаживал часовой, пройти к заключенным было совсем легко с другой стороны, где в деревянном заборе была не слишком

замаскированная дыра. В другое время ее обязательно заделали бы, а сейчас решили оставить, потому что все равно этот забор собирались заменить каменной оградой. (Среди ребят ходили темные слухи о том, что в гребень каменной ограды собираются вцементировать бутылочные осколки, как это делалось в некоторых местах. К счастью, слухи эти впоследствии не оправдались, но тогда мысль о новом каменном заборе с бутылочными осколками наводила на Чика тоску.)

Даже в самый первый раз, когда Чик приходил сюда со своей тяжелой сеткой, наполненной продуктами, он нисколько не боялся часового. Он просто дождался, когда тот повернулся к нему спиной, и пролез в дыру. Потом, когда заключенные хвалили его за храбрость, Чик хотя и не протестовал, но про себя удивлялся их наивности.

Пролезая в дыру, Чик совершенно ясно понимал, что не может наш советский часовой выстрелить в нашего советского школьника. В крайнем случае просто прогонит. Чик это до того ясно понимал, что голова его легко пролезла в дыру. А ведь обычно, когда он пролезал через эту дыру, голова его нередко застревала из-за своего размера и слишком растопыренных ушей. Дело в

том, что надо было слегка сунуть голову в дыру, немного поерзать ею, а дальше она сама находила дорогу. Но Чик от волнения часто всовывал голову до отказа, так что поерзать уже было невозможно и приходилось лезть напролом. Чику всегда казалось, что в таких случаях уши его от предчувствия боли сами прижимаются к голове. А все потому, что он слишком волновался. А часового не надо было бояться, и голова Чика, спокойно поерзав, прошла в дыру.

Арестованные, почти все здоровые и молодые ребята, показались Чику веселыми и жизнерадостными. Одни из них перетаскивали носилки с песком и гравием, другие гасили в яме известь, третьи копали фундамент для каменной ограды, а четвертые вообще ничего не делали, просто сидели на досках. Чик почувствовал, что Ясона надо искать среди них. Так оно и оказалось.

Чику было неловко подходить к нему. Он думал, что Ясону будет стыдно перед ним за то, что он оказался в тюрьме, да еще вдобавок ему и голову побрили. Поэтому сам Чик испытывал неловкость. К счастью, Ясон не смотрел в его сторону, и он незаметно подошел к нему.

— А, Чик! — улыбнулся Ясон, увидев его, и, потрепав по голове, взял сетку. Чик сразу же

по чувствовал, что Ясон никакого стыда за то, что сидит в тюрьме, или за то, что ему побрили голову, не испытывает. Поэтому он и сам перестал стыдиться. Потом он заметил, что вообще никто из заключенных никакой неловкости не испытывает.

Ясон вынимал из сетки хлеб, сыр, масло, помидоры, соленые огурцы и все это небрежно складывал на досках. Двое заключенных, проходивших мимо с носилками, наполненными гравием, увидев, чем он занят, остановились напротив него и разом, не сговариваясь, бросили носилки, даже не наклонившись.

— А выпить ничего нет? — спросил один из них, усаживаясь рядом с Ясоном, и без всякой видимой причины заголил до колена одну ногу.

— Так это ж бабка! — ответил ему Ясон.

— Вот кран, — показал Чик рукой на колонку. Ему на миг показалось, что им не дают воды. Все засмеялись, и Чик догадался, что они имеют в виду.

Товарищи Ясона расселись на досках поближе к закуске и стали есть.

Сначала почему-то все напали на соленые огурцы и мигом все сожрали. Чик заметил, что все остальное они ели довольно равнодушно. Чик с

обидой почувствовал, что рука его все еще ноет от тяжелой сетки.

— Не очень-то, я вижу, вы голодные, — сказал Чик сердито.

Все опять рассмеялись, а тот, что был с оголенной ногой, поощрительно пошлепал свою голую икру — дескать, ничего, справный поросенок.

— Что мы, фрайера, что ли! — сказал он.

Двое из присевших на доски, продолжая жевать и не меняя позы, стали играть в карты. Чик не знал, что это за игра. Он знал только три игры: в «дурака», в «фурт» и в «очко». А это была какая-то странная игра. Один из игроков, беря из колоды карты, самым нахальным образом подсматривал остающиеся. Возьмет две-три нужные ему карты, но при этом обязательно вывернет еще две-три и подсмотрит. А второй игрок как уставился в свои карты, так и смотрит в них не отрываясь. Хоть бы, когда берет карты, на колоду посмотрел, волнуясь, думал Чик. Так нет, он и тут машинально протягивал руку и не отрываясь продолжал смотреть на свои карты. Прямо губошлеп какой-то!

— Да он же все карты подглядывает! — крикнул Чик, не выдержав.

— Ничего, пусть потешится, — сказал тот, так и не оторвав взгляда от собственных карт. И тут

Чик по голосу его почувствовал, что он заранее это учел, так что ему даже незачем следить за колодой.

Чик до этого даже и представить себе не мог, что может быть такая игра, где один подсматривает карты, а другой хоть и знает об этом, но никак ему не мешает. Видно, за счет чего-то другого он уравновешивает это преимущество, подумал Чик. Может быть, за счет более точной игры или еще чего-то.

Это было похоже на то, как однажды Чик бежал наперегонки с одним мальчиком. Условия были такие: надо было выбегать с одного места в разные стороны и, сделав круг из четырех кварталов, прибежать назад. Чик очень старался, потому что знал, что этот мальчик хорошо бегает.

Они встретились примерно на середине параллельной улицы. Ревниво пропыхтев друг мимо друга, разбежались. Когда Чик выскочил на свою улицу и уже подбегал к тому месту, где они стартовали, он вдруг увидел, что его соперник выбегает со двора соседнего дома. Значит, как только они разминулись, тот решил срезать дорогу и побежал по дворам.

Соперник тоже заметил, что Чик его видит, он даже не мог скрыть смущенной улыбки и все-

таки с тупым усердием продолжал бежать, хотя теперь это не имело никакого смысла…

Все-таки Чик пришел первым. Сперва он чуть было не задохнулся от возмущения, но потом, отдышавшись, понял, что мошенник (он все еще смущенно улыбался) вдвойне наказан. Получалось, что он и меньше бежал, и все равно пришел вторым. Оказалось, что прыгать через заборы тоже нелегко, а в одном дворе за ним еще и собака погналась.

Чик вспомнил этот случай, наблюдая за странной игрой в карты. Он пришел к выводу, что мошенничать не так выгодно, как это кажется многим. А в том, что именно так кажется многим, Чик нисколько не сомневался.

— …Было уже часов так двенадцать, — продолжал Ясон. — Смотрю, в доме напротив парка окна открыты на втором этаже и свет горит. Прислушался — ничего не слышно, как будто спят. А свет горит. Место тоже удобное, и этаж низкий. В случае чего прыгай и чеши через парк. А кореш, который со мной был, оказался трус, но я не знал. Возле нас тоже ошиваются случайные проходимцы.

«Ты, — говорю ему, — кроме помидоров на базаре, что-нибудь воровал?»

«Я цесный вор, кого хоцесь спроси», — отвечает он.

Вообще он некоторые слова не так говорил, потому что грек. Не, среди греков мировые ребята попадаются, но этот оказался трус.

«Тогда попробуем», — говорю.

Вижу, дрейфит, но не хочет показывать.

«Подожди, — говорит, — есе рано».

«Ну, рано, рано, — говорю, — нас дети дома не ждут».

Пошлялись по городу, вышли на бульвар — вижу, скучает мой кореш. Ну ничего, думаю, сейчас повеселеет. У сторожа павильона покупаю поллитру и колбасу. Сели на берегу, пьем, закусываем. Вижу, он повеселел.

«Прошел мандраж?» — говорю.

«Какой мандраз? — говорит. — Я полезу, а ты стой на вассере».

Кидаю бутылку в море. Вижу — плавает.

«Вот, — говорю, — кто утопит, тот и стоит на вассере».

Смотрю — я не успею один камень поднять, он уже три кинул. Дал я ему утопить эту бутылку, и мы пошли. Все равно я его в дом не собирался пускать — такого мандражиста пусти, все дело испортит. По дороге зашел в один двор и срезал

там бельевую веревку. Запихал в карман. Приходим к дому — вижу, окна все еще открыты и свет горит…

— А разве при свете не опасно? — спросил Чик.

— Еще лучше, — радостно пояснил Ясон, — хотя некоторые не понимают.

Когда свет горит, ты сразу все видишь, где что и куда в случае чего бежать.

А без света у него преимущество получается.

— У кого «у него»? — спросил Чик.

— Как у кого? — удивился Ясон и, скрипнув кроватью, повернулся к Чику. — У хозяина! Ведь он и без света знает, где что стоит у него. А ты можешь через какой-нибудь стул перевернуться и срок получить.

— Еще бы, — сказал Чик, — ведь он у себя дома.

— В том-то и дело, — вздохнул Ясон. В голосе его прозвучала обида за преимущество хозяина в знании особенностей своей квартиры. Чику это показалось очень смешным.

Пилюм, пилюм, пилюм, пилюм,

Плюм, плюм, плюм!

Дядя Коля, не прерывая песни, неожиданно перешел на музыкальный инструмент, зазвучавший еще более радостно и энергично.

— Он что, совсем чокнулся? — спросил Ясон, приподнявшись, словно пытаясь разглядеть инструмент, на котором играл дядюшка Чика.

— Да нет, он всегда такой, — сказал Чик.

— Нет, раньше он был получше, — не согласился Ясон.

— Ты просто с ним никогда не спал, — ответил Чик. — Он всегда так поет, когда у него настроение хорошее.

— С чего он радуется, — пробормотал Ясон, — живую бабу никогда не видел, за хорошим столом в жизни не сидел…

— Ладно, рассказывай дальше, — перебил его Чик. Он не любил, когда начинались такие разговоры про дядю.

— Некоторые думают, что раз горит свет, — продолжал Ясон, — то люди спят некрепко. Но я тебе скажу — это ерунда. Если человек заснул при свете, он так же крепко спит, как и без света.

— Хватит про свет, дальше рассказывай, — перебил его Чик.

— Ну вот, приходим снова, — продолжал Ясон, — а свет горит.

— Я же сказал, хватит про свет, — терпеливо напомнил ему Чик.

— А я и не говорю, — продолжал Ясон. — Я оста-

вил его на вассере, а сам полез…

— Как полез? — снова перебил его Чик, чтобы он не пропускал интересных подробностей. — Ведь на второй этаж трудно залезть?

— Нет, — сказал Ясон, — там было легко. Там была парадная дверь, а над ней такой козырек. Я залез на этот козырек, оттуда на карниз, а по карнизу дошел до окна.

— У нас тоже такой козырек, — вспомнил Чик и посмотрел на закрытые ставни напротив своей кровати. Само окно было открыто, и достаточно было снаружи просунуть нож или проволочку, чтобы скинуть крючок, на который закрывались ставни.

А вдруг Ясон залезет к Богатому Портному, подумал Чик. Квартира Богатого Портного находилась рядом. Можно было вылезти на карниз, а оттуда перейти на его балкон. Летом он всегда был открытый.

— Да, почти такой, — согласился Ясон и, словно угадав мысль Чика, добавил: — На вашего Богатого Портного уф какой зуб имею…

— Ты что? — сказал Чик строго.

— А что? — спросил Ясон.

— Да ты что! — крикнул Чик. — Я ведь с его сыном дружу!

— Вот, Чик, — сказал Ясон, — ты даже шуток не понимаешь.

— Этим не шутят, — важно заметил Чик.

— Вообще, Чик, я тебе честно скажу, ты мне нравишься, — сказал Ясон, — ты не то что эта колхозница… И вот, значит, влезаю в комнату, — продолжал Ясон. — Стою у окна. Вижу, на кровати спит мужчина, слегка похрапывает. Молодец, думаю, спи. Комната хорошая, вообще ничего особенного.

На одной стене ковер, а на нем кинжал для украшения. Ладно, думаю, видал я в гробу этот кинжал. Рядом шифоньер. Но я тебе честно скажу, я шифоньеры вообще не уважаю. Хуже нет — иметь дело с шифоньерами, особенно если в комнате спит человек.

— Потому что скрипит? — легко догадался Чик.

— Да, скрипит, как арба. Я чемоданы уважаю. Взял за ручку и пошел как фрайер. За это я люблю в поездах работать. Лучше поездов ничего на свете нет. Там тебе никаких шифоньеров. Но вот я нагнулся, и смотрю под кровать, и вижу два чемодана. Один рыжий, другой черный. Потихоньку нагнулся и начинаю вытаскивать черный…

— Собаки! Собаки! Брысь! Брысь! — вдруг заорал дядя Коля, свешиваясь с кровати и загля-

дывая под нее. Кошка, спавшая у Чика на кровати, вздрогнула и с испугу попыталась спрыгнуть, но Чик вовремя ее перехватил.

— Он что, совсем очумел? — воскликнул Ясон и тоже привскочил с кровати. Дядя Коля смотрел на Чика округлившимися глазами.

— Нету! Нету! — крикнул Чик и для ясности сделал широкий отрицательный жест, чтобы успокоить дядюшку.

— Хитришь?! — настороженно спросил дядюшка.

— Нет, не хитрю, — сказал Чик и опять сделал отрицательный жест.

— Собаки нету? — спросил дядюшка, словно пытаясь уточнить, понимает ли Чик, что именно его беспокоит.

— Нету, — повторил Чик и опять сделал широкий отрицательный жест.

Действовать надо было просто и односложно, чтобы исключить оттенки в истолковании его слов.

— Ха-ха-ха, — рассмеялся дядя Коля, — а я думал — собаки…

Последние слова он произнес извиняющимся голосом. Ему стало стыдно за ложную тревогу. Это не помешало ему, видно, для очистки совести,

последний раз крикнуть: «Брысь!» После чего, окончательно успокоившись, он снова запел свою песенку.

— Что это? — строго спросил Ясон.

— Ему показалось, что у него под кроватью кошка, — сказал Чик просто.

Он чувствовал, что с Ясоном тоже надо говорить односложно.

— По-моему, он говорил о собаках, — еще строже возразил Ясон, — или меня здесь за дурака принимают?

— Он и собак и кошек называет собаками, — объяснил Чик, стараясь придать голосу самую обычную интонацию.

— Тогда откуда ты знаешь, что он кричал на кошку? — спросил Ясон.

— Просто наша Белка сюда редко заходит, — сказал Чик.

— Он что, и собакам и кошкам говорит «брысь»? — спросил Ясон, несколько успокоившись.

— Да, — сказал Чик, — так ему запало в голову.

Вообще-то Чик не раз об этом думал и пришел к выводу, что, раз дядя Коля и собак и кошек называет собаками, какая-то сила заставила его уравновесить эту несправедливость по отноше-

нию к кошкам возгласом «брысь».

Но Чик не стал излагать Ясону свою догадку — он чувствовал, что это для него слишком сложно.

— А больше ему ничего не запало? — спросил Ясон.

— Нет, — сказал Чик. — Рассказывай дальше.

— Лучше в КПЗ ночевать, чем с ним, — сказал Ясон.

— Он, если его не трогать, никогда не тронет, — сказал Чик.

— Откуда я знаю! — ответил Ясон и добавил: — А вообще он кумекает, о чем мы говорим?

— Что ты! — успокоил его Чик. — Он ничего не понимает, он даже плохо слышит.

— А эта колхозница, интересно, спит? — спросил Ясон. Так он называл тетю Наташу. Слово «колхозница» звучало у него презрительно. Чику нравилась тетя Наташа, и ему было обидно, что Ясон ее так насмешливо называет.

— Да, спит, — сказал Чик.

— Ты тоже язык придерживай, — посоветовал Ясон и, подумав, добавил: — Хотя с тех пор прошло много лет, затаскают...

Чик промолчал.

Дядя Коля вовсю распелся. Чик чувствовал,

что пение доходит до того момента, когда он не в силах передать свой восторг выдуманными словами и перейдет на язык выдуманных инструментов.

— Я вижу, он из тех, что всю ночь верещат, — сказал Ясон, прислушиваясь к пению и правильно почувствовав, что оно не скоро кончится.

— Нет, — сказал Чик. — Ты рассказывай, а он тут же уснет.

— Так я и поверил! У меня знаешь невры какие?

— Какие? — спросил Чик.

— У меня невры как папиросная бумага, — гордо сказал Ясон. — Не дай бог, если я заведусь.

— Надо говорить не невры, а нервы, — поправил его Чик. Пожалуй, это он мстил за тетю Наташу.

— Я и говорю — невры, — сказал Ясон.

— А надо говорить — нервы, — доброжелательно повторил Чик.

— Я и говорю невры, — повторил Ясон, начиная раздражаться. — Что ты мне мозги лечишь? Недаром мне говорили, что ты ехидина…

— Ладно, — сказал Чик примирительно. — Отчего у тебя такие нер-вы?

— Как отчего? От поездов! — удивился Ясон его

наивности. — Сколько раз на ходу приходилось прыгать!

Только он это сказал, как дядя Коля перешел на музыкальные инструменты:

Тюрли фук! Тюрли фук! Тюрли фук!

Мелодия побежала сквозь скважины загадочной дудки.

— Во соловей! — сказал Ясон и с раздражением вспомнил о тете Наташе: — А колхозница спит… Ей хоть бы что…

Чик промолчал. Он знал, что, если сейчас начнет ее защищать, Ясон и в самом деле заведется, и тогда неизвестно, чем все это кончится. Тетя Наташа ни капли не скрывала своего презрительного отношения к Ясону. Он отвечал ей тем же. Он говорил, что она, кроме сарая, где нижут табак, ничего на свете не видела и дальше Очамчиры нигде не бывала, тогда как он объездил полстраны на своих поездах. Он даже сомневался, видела ли она когда-нибудь поезд.

— И видеть не хочу, так же как и тебя, — безжалостно отвечала тетя Наташа.

Чик не одобрял такую резкость, тем более что скоро поезда должны были появиться в Абхазии, потому в городе возвели эстакады и Чернявскую году продырявили тоннелем.

Вообще все взрослые родственники поругивали Ясона. Правда, не так уж слишком, потому что он редко приходил в гости. Только бабушка как начнет его пилить, так и пилит, пока он не уйдет из дому. Чик знал, что она-то как раз его жалеет, потому что он был сыном ее брата. Другие ему просто предлагали стать человеком, то есть таким, как они. Но он с этим не соглашался, потому что и так считал себя человеком, и притом более высокого сорта, чем они.

Казалось, обе стороны выжидали, чтобы наяву убедиться, чей образ жизни окажется в конце концов более правильным и потому более выгодным. Наверное, из-за этого, хотя и с некоторыми предосторожностями, Ясона пускали в дом, и он, в свою очередь, терпел поучения родственников. Так думал Чик.

Скрипнув кроватью, Ясон потянулся к пепельнице, чтобы достать окурок.

Пепельница стояла на полу. Снова спичка озарила коротенький нос, большие губы и тени впалых щек. Он откинулся на подушке и пыхнул папиросой.

— Ты стал тянуть чемодан, и вдруг что-то случилось, — напомнил Чик.

— Да… Слышу — перестал храпеть. Я переманд-

ражил и совсем залез под кровать. Думаю, если он сам проснулся, ничего не заметит. Минут двадцать пролежал под ним, чувствую — спит.

— Начал храпеть? — спросил Чик.

— Нет, — сказал Ясон, — по дыханию вижу. Я по дыханию лучше доктора могу определить, спит человек или притворяется.

— У спящего ровное дыхание, — заметил Чик.

— Это ерунда, — сказал Ясон, — ровное дыхание можно придумать. Но есть такое, что ни за что не придумаешь.

— А что это? — спросил Чик.

— Это так не расскажешь, — ответил Ясон, — это надо как следует перемандражить несколько раз, тогда почувствуешь. Да тебе это и не надо знать… Одним словом, вижу — спит. Потихоньку выволакиваю чемодан, подхожу к окну. Смотрю — нет моего паразита. Оказывается, он в парке из кустов выглядывает. Еле увидел. Ничего себе на вассере стоит! Я, значит, тут рискую, а он голову прячет. Даю знак — подходит. Я прицепил чемодан к веревке и осторожно спустил ему. Даю знак, что еще буду спускать. Он отвязывает веревку, переходит улицу, перелезает через ограду и стоит там в кустах… Лиандры, что ли, называются… Такие вонючие цветы?

— Да, да, — живо подтвердил Чик, — это олеандры, у них цветы, когда переспеют, вонять начинают…

— И вот он, значит, — продолжал Ясон, — стоит среди этих вонючих цветов, сам такой же вонючий, а я подымаю веревку, кладу ее на подоконник и только поворачиваюсь, как вдруг открывается дверь во вторую комнату и в дверях останавливается женщина.

— И она тебя не видит? — спрашивает Чик, пораженный таким ходом событий. Чик даже привскочил на кровати, что не понравилось кошке. Но сейчас ему было не до нее.

— Как не видит?! Прямо на меня смотрит! — восторженно говорит Ясон.

— И что она говорит?

— Ничего не говорит. Стоит и смеется!

— Смеется?!

— В том-то и дело, что смеется.

— Но почему?

— Откуда я знаю! Наверно, от страха или стыда. Она же голая.

— И он просыпается от ее смеха? — догадывается Чик, чувствуя, как волосы у него на затылке привстали, аж кожа на голове защемилась.

— В том-то и дело, что нет! Она так тихо, тихо

смеется и вся дрожит.

— Но почему она полезла среди ночи в эту комнату? Она что-нибудь услышала? — допытывается Чик, отчетливо представляя эту ужасную картину.

Вот она стоит в дверях, тихо смеется и вся дрожит голым телом. Чик почему-то представил, что эта дрожащая кожа совершенно белая, даже слегка пупырчатая, вроде бы от холода, хотя где взяться холоду, когда олеандры на всю улицу воняют. Чик чувствует, что если бы эта женщина была позагорелей, то картина получилась бы не такая ужасная.

— Да нет, — усмехнулся Ясон.

— Я знаю, — вдруг догадался Чик, — она была лунатик! Она искала выход к луне.

— Лунатик! — презрительно повторил Ясон. — Если ты лунатик — лезь на крышу, а не мешай людям… спать.

Чик почувствовал, что последнее слово прозвучало неубедительно.

— И ты его… убил? — спросил Чик, холодея, хотя и так уже знал, что он именно этого мужчину убил. Он хотел представить, что бы было, если бы этот мужчина не заснул. Но у него ничего не получилось. Он только представил, что этот

мужчина неподвижно лежит себе с открытыми глазами и скучно так, скучно смотрит в потолок, как бы заранее готовясь к состоянию мертвеца.

— Да, — сказал Ясон и неожиданно добавил: — Слушай, Чик, у меня папиросы кончились. Где теткины папиросы лежат, знаешь?

— Знаю, — сказал Чик, вставая, — сейчас принесу.

— Она что, «Рицу» курит?

— Да, — сказал Чик и вышел из залы. Он тихо прошел через столовую, где спала тетя Наташа. Пол в столовой был крашеный и, наверное, поэтому быстрей остывал. Ступать по нему босыми ногами было приятно. Он вышел на веранду и нащупал возле столика, где стоял самовар, начатую пачку папирос «Рица», которые курила его тетушка.

Чик часто бегал за этими папиросами в магазин, потому что тетушка ему доверяла покупать эти папиросы, а старшему брату не доверяла. Тот уже покуривал и мог незаметно открыть пачку, вытащить оттуда пару папирос и снова закрыть ее. Сначала тетушка, если замечала, что в пачке не хватает папирос, все сваливала на фабрику и со странной радостью всем рассказывала, что фабрика ее обманула. Потом однажды

было замечено, что фабрика тут ни при чем, а во всем виноват старший брат Чика. Чик ожидал, что теперь она всем расскажет, что ошибалась насчет фабрики, как бы извинится перед ней. Но ничего такого не произошло. Тетушка про фабрику больше не вспоминала, хотя при случае с таким же странным удовольствием рассказывала, что, оказывается, брат Чика покуривает и поворовывает у нее папиросы. Так как при этом она не вспоминала про фабрику, в головах у знакомых могла произойти путаница, они могли подумать, что фабрика поворовывает папиросы и брат Чика поворовывает, так что неизвестно, что остается курить самой тетушке. Неряшливостью образа мыслей — вот чем удивляли Чика многие взрослые. Среди взрослых первое место занимали женщины. Среди женщин наипервейшее место занимала тетушка.

На веранде, целый день открытой солнцу, было особенно душно. Ночь все еще никак не могла остыть. Светили звезды, но луны не было. Впереди в самом конце неба подымалось легкое зарево. Там был порт. Рядом с верандой весело светила оцинкованная крыша соседского дома. Уже несколько месяцев в желобе, проходящем вдоль крыши, лежал великолепный теннисный

мяч, случайно заброшенный сюда с какого-то соседского двора. Чик нащупал его глазами и с удовольствием убедился, что он на месте. На крышу нельзя было залезть, но он знал, что мячик медленно, но неуклонно продвигается в сторону водосточной трубы. После каждого сильного ливня он продвигался вперед на целый метр или даже полтора. Иногда его задерживали вмятины или рубцы на поверхности желоба, но рано или поздно он все равно перескакивал через них и неуклонно приближался к водосточной трубе.

По расчетам Чика, теперь мячу хватило бы одного или двух хороших ливней, чтобы бултыхнуться в бочку под водосточной трубой. И тут надо было не прозевать этот прекрасный миг. В последние дни стояла страшная духота, и можно было ожидать, что на город вот-вот обрушится хорошая гроза. Но она все еще никак не обрушивалась. Небо оставалось чистым и ясным.

Чик приоткрыл дверь в столовую, где спала тетя Наташа, тихо закрыл и на цыпочках перешел комнату. Открывая дверь в залу, Чик на минуту приостановился. Он прислушался к дыханию тети Наташи, чтобы определить по дыханию, спит она или нет. Хотя он и так знал, что она спит, ему почему-то было любопытно прислушаться к ее

дыханию. Дыхания не было слышно. За открытым окном серел мощный ствол кипариса. Чик постоял немного и вошел в залу, прикрыв за собой дверь. Чик прошел мимо дяди Коли, подошел к кровати Ясона и подал ему пачку.

— А этот Лемешев уснул, — сказал Ясон и, зашуршав пачкой, вытащил оттуда папиросу.

— Я же говорил! — напомнил Чик и подошел к своей кровати.

Дядя Коля спал, откинувшись на подушке и приоткрыв рот.

— Рассказывай дальше, — попросил Чик, залезая на кровать. Он укрылся простыней и, нащупав кошку, погладил ее. Она, не просыпаясь, поблагодарила его урчаньем.

— А этот не проснется? — насторожился Ясон.

— Нет, — сказал Чик, — раз уж он заснул, он не проснется… Лишь бы тетя Наташа не проснулась.

— Да за колхозницу я и говорить не хочу, — отмахнулся Ясон и, затянувшись, продолжал: — Так вот, значит, я стою среди комнаты, а эта женщина смотрит на меня, вся дрожит и смеется. Я показываю ей кулак, чтобы молчала, и, не спуская с нее глаз, лезу в окно. Я уже взялся одной рукой за подоконник, скинул веревку вниз, как вдруг

этот мужчина вскакивает, как будто его палкой ударили, и бежит на меня.

— Он тоже был голый? — спросил Чик.

— В том-то и дело, что нет, — ответил Ясон. — Если б он был голый, ничего бы такого не случилось. Голый человек никогда на тебя не полезет.

Одним словом, я уже выполз на карниз и только хотел спрыгнуть, как он меня успел схватить. Одной рукой душит за грудь, другой ухо рвет, сволочь. Я тык-мык, ничего не могу сделать. Страшная боль. Сейчас или ухо оторвет, или задушит. Ну, я сунул в него нож — сразу отпустил. Прыгаю вниз, хватаю веревку и бегу через парк. В этих вонючих лиандрах запутался, упал. Все же вскочил и веревку тоже не бросил, бегу через парк. А сзади уже, слышу, окна открываются, крики раздаются.

— А товарищ где? — спросил Чик.

— Он еще раньше побежал, как только увидел, что мы завозились. Мы договорились в случае чего встретиться на берегу в уборной.

— В уборной? — удивился Чик.

— Да, — сказал Ясон, — там всегда можно закрыться и спокойно посмотреть, что к чему. Вхожу — вижу, одна дверь закрыта. Думаю, он или не он? Думаю, неужели он с чемоданом рань-

ше меня через полгорода пробежал? Так оно и оказалось.

«Это ты, Ясон?» — спрашивает.

«Открывай, — говорю. — Хорошо, что ты в Грецию не убежал».

Одним словом, заперлись там, раскрыли чемодан, смотрим — одно барахло.

Лучше б я рыжий взял, в рыжем всегда что-нибудь есть. Правда, там лежал один хороший коверкотовый отрез и две мужские сорочки. Все остальное — ерунда.

Отрез загнали одному портному, хорошие деньги дал… Интересно, ваш Богатый Портной отрезы покупает?

— Нет, — сказал Чик, — он такими делами не занимается.

— Ты в натуре дружишь с его сыном?

— Да, — сказал Чик.

— Интересно, где у его пахана деньги лежат, он знает?

Чик не мог понять, шутит он или говорит всерьез.

— Отстань, — сказал Чик, — лучше дальше рассказывай.

— А что рассказывать! — зевнул Ясон. — Ох, поясница… Кроме отреза, я все спустил в убор-

ную. Чемодан тоже сломал и спустил в уборную. А между прочим, этот мандражист сорочки не хотел отдавать. «Зацем, — говорит, — выбрасывать? Я, — говорит, — сестрице отдам, сестрица перекрасит…»

— Значит, золота не было? — спросил Чик после некоторой паузы.

— Откуда золото! — пробормотал Ясон уже ворчливо, сонным голосом.

Ясон начал засыпать. Чик чувствовал какую-то неудовлетворенность от его рассказа. По правде сказать, он ожидал чего-то страшного, таинственного. А тут все оказалось слишком просто, даже как-то противно. Особенно эта подлая попытка перекрасить рубашки убитого и носить.

— Может, ты его ранил? — спросил Чик, немного помолчав.

— Убил, убил, — пробормотал Ясон, с досадой одолевая дремоту. Но Чика это бормотание совсем не убедило.

Чик замолчал. Вокруг уличного фонаря все так же с бессмысленной яростью толклись мотыльки. Большая черная бабочка, которой раньше там не было, сейчас дрябло трепыхалась среди них.

Он снова представил, как эта женщина тихо смеется, глядя на Ясона, а тот отступает к окну и

грозит ей кулаком, а тут вскакивает этот мужчина и безоружный бежит на Ясона.

— Хоть бы сначала за кинжалом побежал! — сказал Чик. Но Ясон ничего не ответил. Он уже храпел.

Странно получается, подумал Чик. Если бы этот мужчина не уснул, ничего бы не случилось. Он бы закричал, как только Ясон появился в окне, а Ясон спрыгнул бы и убежал. Сколько случайностей, подумал он, и как, оказывается, просто убить человека! Чику стало не по себе. Особенно гадостно снова показалось ему предложение перекрасить рубашки, а потом носить.

«Сестрица перекрасит», — вспомнил Чик и вздрогнул.

Ветхие ставни в окне напротив Чика время от времени поскрипывали, с гор потягивал ночной ветер. Если бы вор вздумал забраться сюда, подумал Чик, он полез бы через это окно. Ведь оно было ближе остальных к железному козырьку над парадным входом.

Теперь Чик прислушивался к ставням. Каждый раз, когда они издавали скрип, Чик замирал и прислушивался. Иногда ему казалось, что кто-то стоит на карнизе и осторожно пробует скинуть крючок на ставне. Крючок еле слышно поскри-

пывал. Чик понимал, что это ему кажется, потому что крючок поскрипывал вместе со ставней, а ставня покачивалась от ветра. Чик знал, что летними ночами ветер всегда дует с гор. Но все-таки как-то неприятно было это еле слышное «крр-крр…». Словно кто-то пробует крючок, пробует…

Чик лежал на спине, глядя в потолок и прислушиваясь к поскрипыванию ставен. По потолку, слегка озаренному уличным фонарем, время от времени проходили таинственные тени. Чик стал следить за ними, стараясь отвлечься от неприятных мыслей. Он и раньше замечал эти тени, но никогда не знал, откуда они берутся. Вот проскользнули две тени, а вот целая вереница теней печально прошествовала и растворилась над его головой. Некоторые тени, дойдя до середины потолка, как бы вспомнив, что они что-то забыли, нерешительно возвращались обратно. Иногда ему казалось, что их кто-то окликнул, и вот они возвращаются. Ему казалось, что он даже угадывает смысл этого бесшумного оклика — мол, подождите, сейчас не ваша очередь. Он так думал, потому что через некоторое время эта же самая тень, он узнавал ее по очертанию, снова появлялась и уже спокойно проходила свой непонятный путь.

Чик умом понимал, что они, эти тени, как-то связаны с тем, что происходит на улице, что они идут откуда-то оттуда. Но дело в том, что на улице ничего не происходило. Если бы проезжала машина или фаэтон, или в соседнем доме открывали освещенное окно, или поблизости колыхалось дерево, тогда было бы все понятно.

А сейчас Чику казалось, что эти тени связаны с ушедшим днем или даже с давным-давно прошедшими днями. То ли тени каких-то людей, то ли тени каких-то дневных событий… Что-то там получилось не так, они как-то выскочили из отведенного им времени, и вот они ходят, чего-то ищут, что-то пытаются делать. Чику было жалко этих неудачников дня — не смогли завершить свои дела днем, что же у них получится ночью?

Так, бывало, в школе, когда тебя выгонят из класса, ходишь по школьному двору неприкаянный, не знаешь, что делать. Купишь стакан семечек у бабки, а они невкусные, или залезешь на турник и висишь, висишь, даже подтягиваться неохота. Все не дождешься звонка, чтобы слиться со своими и быть счастливым оттого, что ты с ними вместе. Правда, потом, после звонка, слившись со своими, ты уже не чувствуешь этой радости, и даже как-то странно, что тебя так тя-

нуло к ним.

Чик вздохнул и повернулся к стене с решительным намерением уснуть. Надо думать о приятном, подумал он, например, о завтрашнем дне. Главное, что он обязательно будет, и все, что сейчас кажется тревожным, исчезнет, а если вспоминать, покажется глупым и смешным.

Сладость предстоящего дня ощущалась как сладость ясности. Он совсем успокоился и, уже засыпая, вдруг подумал, что и ночь по-своему хороша.

Именно тем и хороша, почувствовал он, что в ее кромешной тьме с особенной силой ощущаешь сладость предстоящего дня, благодарность за то, что день был и будет.

Чик уже совсем засыпал, а может, даже и заснул, когда Ясон вдруг что-то быстро-быстро забормотал во сне. Чик очнулся и со страхом стал прислушиваться к этому бормотанию. Какая-то злобная жалоба чувствовалась в голосе Ясона. Внезапно бормотание затихло, но тишина сделалась еще страшней, затаила грозный смысл этого бормотания.

Чик приподнялся на постели и посмотрел в сторону Ясона. Но там ничего не было. Было видно только смутное очертание постели. Чик перевел

взгляд на дядю. Тот спал, как обычно, слегка закинув голову и приоткрыв рот. Привычная поза дядюшки немного успокоила Чика. Он всегда спал спокойно, никакого там тебе бормотания или угроз. Странно, подумал Чик, сумасшедший спит, как нормальный, а нормальный спит, как сумасшедший.

А вдруг он не спит, подумал Чик, а только притворяется, ждет, чтобы я заснул? Может, он теперь жалеет, что все это рассказал? Может, он думает, что я завтра пойду в милицию?

Надо было твердо ему сказать, думал он, что я умею держать язык за зубами. Почему я тогда ему ничего не сказал, подумал он, удивляясь своему легкомыслию.

Все-таки Чик хорошо помнил, почему он тогда промолчал. Нет, не потому, что он думал выдать Ясона.

Он понимал, что это подло. Раз человек доверился, значит, нельзя. Если б Чик сам, как Шерлок Холмс, раскрыл его преступление, тогда б совсем другое дело. А так нельзя — это Чик знал точно. И хоть Чик знал, что никому ничего не скажет, раз тот просил держать язык за зубами, Чик как-то почувствовал, что полностью лишать Ясона тревоги тоже нехорошо. Поэтому ел тогда и

промолчал. Но сейчас Чик жалел об этом, потому что ему стало страшно.

Он снова попытался уснуть, но у него опять ничего не получилось. Ему показалось, что кошка лежит слишком близко и дышит ему прямо в лицо. Чик ее отодвинул и положил между собой и стенкой на уровне живота. Чик считал, что это достаточно уютное место, но она полежала там с минуту и, видимо, решив, что Чик уже заснул, вкрадчивой походкой подошла к его лицу и улеглась. Чику эта вкрадчивая походка как-то не понравилась. Он ее снова, теперь уже более властно, отодвинул на отведенное место. Кошка как будто уснула, но Чик никак не мог уснуть.

Время от времени подушка делалась липкой и горячей. Чик переворачивал ее и погружал щеку в успокоительную прохладу нетронутой стороны. Через несколько минут она опять делалась невыносимой.

— Ребята, договоримся! — вдруг закричал Ясон и присел на кровати.

Чик тоже вскочил, ожидая самого худшего, но Ясон больше ничего не сказал. Кровать под ним заскрипела. Видно, он, так и не проснувшись, снова улегся.

— Ты что-то сказал? — спросил Чик через неко-

торое время. Голос его прозвучал неприятно. Чик слышал в тишине, как бешено колотится его сердце.

Словно в ответ на слова Чика Ясон захрапел. Притворяется, подумал Чик, недаром он скрыл от меня признаки спящего человека. Он заметил, что я не сплю, и, чтобы успокоить меня, захрапел. А как только я усну, он встанет и задушит меня.

Пусть только встанет, подумал Чик, храбрясь, я так закричу, что вся улица проснется. Дядя Коля намного сильнее Ясона, так что скрутит его в одну минуту. Да и тетя Наташа его ничуть не боится.

Постепенно Чик опять успокоился, но теперь ему стало грустно. Жизнь показалась ему какой-то непрочной, ненадежной.

Вот так живешь себе, живешь, подумал Чик, и вдруг кто-то тебя убивает ни с того ни с сего. Он чувствовал, что жизнь от смерти отделяет слишком тонкая, слишком нежная пленка. В этом была какая-то грустная несправедливость. Странно, что днем он этого никогда не чувствовал.

Казалось, что днем жизнь защищена от смерти солнечным светом, как апельсин толстой кожурой. Ночь отдирает от жизни ее защитную солнечную кожуру апельсина, и вот уже тысячи враждебных сил готовы вонзиться в обнаженную

мякоть жизни. Чик это чувствовал сейчас всем своим телом.

И не только Ясон со своей тайной. Например, скорпион может заползти на кровать. Хотя от его укуса, кажется, никто не умирал, все-таки это ужасно — когда укусит скорпион. Лучше пусть меня сто раз укусит собака, чем один раз скорпион, подумал Чик.

Он привстал и внимательно оглядел стену, чтобы проверить, нет ли поблизости скорпиона. Стена была вся в пятнах отколупнутой штукатурки и в разводах сырости. Хотя Чик ее прекрасно знал, но сейчас, в полутьме, одно пятно показалось ему подозрительным, и он долго ожидал, не шевельнется ли оно. Нет, все-таки это был не скорпион.

Дом, в котором жил Чик, был старый и сырой. В нем водились скорпионы.

Чик сам несколько раз находил скорпионов. С каким омерзением, бывало, Чик пригвождал скорпиона к стене ножницами, а тот извивался-извивался и наконец, поняв, что ему некуда деться, закидывал свой отвратительный хвост и жалил самого себя в затылок.

Убитого скорпиона обычно засовывали в бутылку с подсолнечным маслом.

Говорят, потом он туда выпускает свой яд, и, если кого-нибудь укусит скорпион, надо смазать этой жидкостью укус. Бутылка со скорпионами висела на солнце на одном из окон веранды. Она висела там с незапамятных времен, и, хотя в доме Чика скорпионы никого не кусали, все-таки, как только обнаруживался скорпион, его убивали и засовывали в бутылку — авось пригодится.

Чик вспомнил несколько выдающихся случаев, связанных с укусами скорпионов, хотя ему совсем не хотелось об этом вспоминать. Так, одному человеку, пока он спал, скорпион залез в туфлю. А когда человек проснулся и сунул ногу в эту туфлю, скорпион его укусил. А другой человек проснулся утром и полез под подушку, где у него лежали часы, чтобы узнать, пора ему вставать или еще можно полежать в постели. И вот он сует руку под подушку, а там его уже скорпион дожидается.

Чик вдруг увидел, что стрелки часов превратились в осторожные клешни скорпиона, и он никак не мог понять, были ли вообще часы, или это скорпион притворился часами. Эта коварная неясность превращения часов в скорпиона какой-то страшной тревогой стала давить на Чика, словно это превращение грозило возможностью

других, еще более страшных превращений. Может быть, друга во врага, может быть, мамы в мачеху или любимого героя гражданской войны в затаенного шпиона фашистов.

И вот Чик чувствует: чтобы все эти превращения не совершились, он должен во что бы то ни стало ясно себе представить и понять, как и почему часы превратились в скорпиона. Чик сделал неимоверное усилие над собой, чтобы вырваться из этой неясности, и проснулся.

Ну конечно же, часы лежали под подушкой сами по себе, а скорпион заполз туда сам. Оказывается, Чик задремал, и ему это все примерещилось. Ему захотелось перевернуть разгоряченную подушку. Если под нею окажется скорпион, подумал он, приподымая подушку, надо сразу же его прихлопнуть этой же подушкой, спрыгнуть с кровати и зажечь свет. А там видно будет, что делать дальше.

Нет, скорпиона пока что, во всяком случае под нею, нет. Скорее всего скорпион может заползти в постель со стены. Чик тщательно отодвинул простыню — так, чтобы она ни в одном месте не прикасалась к стене. Пришлось побеспокоить кошку. Она никак не хотела сходить с насиженного места и лежала на нем отяжелевшим комом.

Тут он вспомнил, что кошки тоже довольно опасные животные. Он вспомнил рассказ про одну кошку, которая не то задушила больную девочку, не то выцарапала ей глаза.

Нет, пожалуй, надо прогнать ее, подумал он, вспомнив, как она упорно хотела остаться лежать возле его головы, да еще, думая, что он уснул, подходила к нему вкрадчивой походкой. Все-таки жалко было выгонять ее с кровати, но он преодолел жалость и спустил ее вниз.

Чик снова улегся, но почувствовал, что для полного спокойствия еще что-то надо сделать. Да, вспомнил он, надо утром вытряхнуть сандалии, прежде чем надевать их на ноги. А то сунешь ногу, а там скорпион. А вдруг забуду? — подумал он. Он слез с кровати, нашел свои сандалии, перевернул их и придавил к полу, чтобы для скорпиона не оставалось ни одной щелочки.

Чик снова залез на кровать и тут вспомнил об одном потрясающем скорпионе. О нем рассказывал соседский старик Габуния. Однажды на крыше своего дома этот старик заметил огромного скорпиона. Он был величиной с черепаху.

Это случилось до революции, в николаевские времена. Тогда еще попадались огромные первобытные скорпионы. Когда этот скорпион

проползал по крыше, под ним трещала черепица. Так рассказывал старик Габуния.

Некоторые не верили его рассказу, считая старика придурковатым. Но Чик сразу поверил. Именно потому, что он был придурковатым стариком, сообразил Чик, он никак не мог придумать, что черепица трещала.

Старик Габуния хотел пристрелить скорпиона, но, пока ходил за ружьем, скорпион залез под какую-то черепицу. Старик не стал разбирать крышу из-за этого скорпиона, он просто махнул на него рукой и продолжал жить в своем доме как ни в чем не бывало.

Чик ни за что не стал бы жить в доме, где есть хотя бы один скорпион величиной с черепаху.

А хорошо быть придурковатым, неожиданно позавидовал Чик старику Габуния. Придурковатому ничего не страшно. Может, у него сейчас черепица на крыше трещит под гигантским скорпионом, а он спит себе и ни о чем не думает.

Чик сам не мог понять, спит он или не спит, когда вдруг что-то мягкое и страшное рухнуло ему на живот.

Скорпион-гигант!!! — мелькнуло в омертвевшем сознании, и в какую-то долю секунды Чик даже успел сообразить, как тот сюда попал: полз

по потолку и рухнул под собственной тяжестью. А еще через мгновение догадка спасительной радостью разлилась по телу: да нет! Это же кошка!

Ух, вздохнул Чик, надо ее совсем убрать отсюда. Сам же я виноват, что она здесь.

Горло у него пересохло от пережитого ужаса.

Он спустился с кровати, взял кошку в охапку и понес на веранду. Проходя по комнате, где спала тетя Наташа, Чик прислушался к ее дыханию, но опять ничего не услышал — так тихо она спала. Чик постоял немного на прохладном полу и пошел дальше. Здесь было почему-то гораздо спокойней, чем в той комнате. Если б я здесь спал, подумал Чик, я бы давно заснул. Чик и сейчас перешел бы в столовую, но здесь стояла только одна кушетка, и на ней спала тетя Наташа.

Чик вышел на веранду и выпустил кошку. Он посмотрел на соседскую крышу и привычно нащупал глазами теннисный мяч, лежавший в водосточном желобе. Еще пару хороших ливней, и он скатится вниз. Главное — не прозевать, с приятной озабоченностью подумал он.

В гуще кипариса за окнами веранды слышался тихий гомон спящих птиц. В кипарисе спали воробьи. Он стоял под окном, где спала тетя Наташа.

С кипарисом Чика связывала великая тайна. Из ствола кипариса примерно на уровне окна торчала засохшая ветка. Хотя она и высохла, все-таки она была крепкая, Чик был в этом уверен. У него был немалый опыт лазанья по деревьям, и он по виду ветки мог определить, достаточно ли она крепкая, чтобы выдержать человека.

Чик несколько раз пытался прыгнуть на нее из окна, но каждый раз ему чуть-чуть не хватало смелости. Стоило слегка наклониться к ней и спрыгнуть с подоконника, как можно было вцепиться в нее и слезть вниз. Прыгнуть и зацепиться за ствол было невозможно, потому что он был слишком толстый и гладкий. А за эту ветку можно было. Другие ветки начинались гораздо выше, а здесь, на уровне второго этажа, это была единственная высохшая ветка, вернее, обрубок ветки, сливающийся со стволом и почти незаметный со стороны.

Каждый раз, когда Чик хотел спрыгнуть на нее с подоконника, ему чуть-чуть не хватало смелости. В конце концов он решил, что все дело в том, что сейчас нет причины, ради которой стоило бы рисковать, а когда будет стоящая причина, он спрыгнет не моргнув глазом. Чик это знал точно.

И вот однажды ему открылась причина, ве-

ликий повод, из-за которого он спрыгнет на эту ветку. Скоро так или иначе начнется война с фашистами, думал Чик. И вот если они займут наш город (временно, конечно!) и устроят штаб в нашем доме…

Они, конечно, будут охранять все выходы и входы, но об одном никак не смогут догадаться — что кто-то может из дома спуститься по кипарису. Это им и в голову не придет: кто же будет прыгать на толстый гладкий ствол кипариса! И тут-то Чик совершит свой подвиг.

Он спрыгнет на эту ветку — разумеется, с полной пазухой тайных документов — и удерет к своим.

Вот какая великая тайна была у Чика. Забыв все свои ночные страхи, он сейчас лакомился мечтой о своем будущем подвиге. Насытившись мечтой о великой тайне, Чик стал думать о тете Наташе, потому что с ней у него тоже была связана тайна. Правда, не такая великая, но все же приятная.

Дело в том, что тетя Наташа ему давно нравилась. Чик теперь даже не мог вспомнить, когда она ему начала нравиться. Ему нравилась ее быстрая походка, длинные косы и маленькая голова. А главное — ему нравилось, когда тетя Наташа его целовала.

Вообще-то Чик терпеть не мог, когда его кто-нибудь целовал. Как назло, родственники и знакомые их семьи беспрерывно чмокались, и Чику, как самому младшему, доставалось больше всех. Увернуться было почти невозможно — очень уж они все обидчивые были! Даже утираться после поцелуев приходилось тайком.

Особенно противны были поцелуи пьяных, небритых мужчин. Но еще противней были поцелуи тетушкиных подружек с накрашенными губами. Какую-то злобную энергию вкладывали они в свои поцелуи, словно Чик был виноват, что у них там что-то не получалось.

И вот среди всех этих поцелуев, которые он отбывал как повинность, однажды он с изумлением почувствовал, что бывают приятные поцелуи. Чик тогда подумал и решил, что это происходит оттого, что от нее хорошо пахнет. От тети Наташи пахло деревенской кухней, точнее — запахом копченого сыра и жареной кукурузы.

Этой весной тетя Наташа вышла замуж, и Чик, когда узнал об этом, решил, что теперь она не станет его целовать, или даже если будет, то ему самому это будет не так приятно, как раньше. Но когда она приехала в город, и поцеловала его, и Чик прислушался к действию поцелуев, он

вынужден был признать, что ничего такого не случилось. Поцелуи не потеряли приятности, они даже стали еще пахучее.

Удивительно, вдруг подумал Чик, что две мои тайны оказались рядом: по одну сторону окна — кипарис, по другую — тетя Наташа. Что бы это могло означать? — подумал он. Во всяком случае, это неспроста так получилось.

Может быть, обе тайны хотят соединиться? Но для чего?

Ему захотелось напиться, и он открыл кран. Спешить было некуда, и он сначала пустил воду, чтобы вылилась вся, которая была в надземной части трубы. Чик пальцами почувствовал, когда стала подходить свежая подземная вода. Он напился, вытер рот и тихонько, стараясь не скрипеть, вошел в столовую. На этот раз он решил пройти возле кушетки, где спала тетя Наташа.

Он тихонько подошел к кушетке и остановился, затаив дыхание. Тетя Наташа спала, завернувшись в простыню. Лицо ее было повернуто к стене. Окно было открыто, и ствол кипариса сейчас казался толще, чем он был на самом деле, и гораздо ближе к окну. Казалось, протяни от окна руку — и достанешь до ствола.

Гомон птиц в хвое кипариса здесь слышался

гораздо сильней, чем на веранде. Непонятно отчего волнуясь, он прислушивался к этому гомону и смотрел на странное, как бы отвернувшееся куда-то лицо тети Наташи.

Казалось, что она смотрит сон, как смотрят кино. Чик все еще слышал тихий шорох гомонящих наверху птиц, как вдруг слух его мгновенно обострился, и он отчетливо услышал струенье и щелканье о ствол падающих хвоинок. Эти сухие хвоинки осыпались с веток, на которых спали птицы. Они и днем все время осыпались, но Чик впервые услышал этот струящийся тихий звук.

— Тетя Наташа! — еле слышно позвал он. Ему показалось, что так долго стоять над ней и ничего не говорить как-то стыдно. Он не думал, что она проснется, но она сразу же проснулась.

— Ай! — вскрикнула она с какой-то деревенской грубоватостью, но тут же догадалась: — Это ты, Чик?

— Да, — сказал Чик.

— Ты чего не спишь? — удивленно и нежно спросила она, подымая голову.

— Не знаю, — сказал Чик, — что-то все мерещится, мерещится...

— Я же тебе говорила, не слушай этого дурака, — зашептала она и, быстро вытянув из

простыни руки, обняла его за плечи шершавыми ладонями. — Он только и знает, что хулиганские глупости рассказывать… И врет все, выдумывает, не верь ты ему…

Подталкивая его к своей комнате и все-таки удерживая, она целовала его куда попало — в лоб, в щеки, в глава. Чик готов был целую вечность так простоять, чувствуя прикосновение ее шершавых ладоней и твердых губ, вдыхая чудный запах копченного над костром сыра и жареной кукурузы. Но так как она все-таки подталкивала, он понял, что надо идти, и пошел к себе.

Он взобрался на бабушкину кровать и лег, прислушиваясь к волнующему и вместе с тем успокаивающему запаху копченого сыра и жареной кукурузы. Он подумал, что этот запах остался на его плечах от ее шершавых ладоней. Он понюхал свое плечо и удивился, что оно ничем не пахнет. Но он продолжал чувствовать этот запах, и ему больше не только ничего не мерещилось, но даже если бы он нарочно стал думать о самых страшных вещах, они бы его не испугали. Наверное, от этого запаха, подумал Чик, все еще вдыхая слабеющий аромат деревенской кухни и вспоминая дуновенье ее шепота на лице.

И вдруг волна забытья с гулом ударила его от-

куда-то сбоку и поволокла за собой. Так, бывало, зазеваешься в море, и вдруг прибойная волна шлепнет сзади, накроет с головой и потащит. Вздрогнешь на миг, а потом радостно отдаешься сильному движению шелестящей воды.

…А когда Чик проснулся утром, в комнате никого не было. Свет, как вода под напором, косыми струями, золотыми столбами сквозь тысячи пляшущих пылинок бил в комнату. По силе его Чик понял, что утро началось давно.

Сейчас ставни среднего окна были прикрыты, как и остальные. Чик сразу же догадался, кто их прикрыл. Только он подумал об этом, как распахнулась дверь с веранды в столовую и он услышал быстрые шаги тети Наташи. Она подошла к буфету, скрипнула его дверцей и зазвенела стаканами.

С веранды доносился поющий голос дяди Коли. Постукивая ложкой о дно железной кружки, из которой он всегда пил чай и которую никому, кроме бабушки, не давал в руки, он пел одну из самых своих бодрых песен — песню ожидания утренней трапезы. Чик улыбнулся, представив, как дядюшка держит свою кружку перевернутой до самого последнего мгновенья перед разливом чая, чтобы туда не залетела случайная соринка

или, не дай бог, муха.

Чик чувствовал, что стол уже накрыт, сахар наколот, самовар кипит, а дядя Коля и тетя Наташа ожидают, когда он встанет. От всего этого он испытывал сейчас необычайный подъем духа, благодарность начинающемуся дню и готов был запеть не хуже дядюшки.

— Собаки, брысь! — раздался голос дяди Коли, на мгновение прервавшего свою песню. На этот раз он и в самом деле имел в виду собаку. Чик услышал удаляющееся цоканье когтей Белки. Чик хотел было ее позвать, но затем решил сначала одеться, а потом уже поиграть с Белкой. Впереди был весь день. Он мимоходом вспомнил о тревогах этой ночи, и многое из того, что казалось страшным, сейчас выглядело совсем не так, словно оно потеряло свой запах или цвет. А некоторые подробности он вообще забыл. Так, одеваясь, он никак не мог понять, какого черта, пока он спал, ему кто-то перевернул сандалии.

Чик сидел у себя во дворе на толстой виноградной лозе, могучими витками подымающейся на шелковицу. Он держал уткнувшуюся передними лапами и головой ему в колени свою собачку Белку. Он поглаживал ее одной рукой по спине, иногда выковыривая из шерсти стебельки высох-

шей травы, колючки репейника, а то и клещей.

Стебельки засохшей травы он отбрасывал, колючки репейника выщелкивал, а если попадались клещи, он их осторожно клал на землю и изо всех сил растирал сандалией.

Когда Чик проводил рукой по голове и дальше по спине собаки, она старалась потереться мордой о его ладонь, показывая, что ей приятно. Если же клещ или колючка оказывались слишком цепкими, она слегка поскуливала, но не пыталась уйти. Она только показывала Чику, чтобы он действовал осторожней, ведь все-таки она живое существо и ей больно, хотя она и согласна, что Чик делает полезное дело.

Когда Чик осторожно клал клеща на землю, она с любопытством поглядывала на него, удивляясь, что такое ничтожество заставляло ее так бешено чесаться.

А когда Чик раздавливал клеща сандалией, Белка, мотнув головой, фыркала, показывая, что она нисколько не жалеет этого паразита.

В нескольких шагах от Чика, упруго щелкая веревкой, прыгала через скакалку девочка Ника. Длинные ноги ее однообразно пригарцовывали, сверкая белыми тапочками, а желтый сарафан все время колыхался, а иногда, вдруг напузыри-

ваясь, приобретал сходство, впрочем, довольно жалкое, с парашютом.

Чик хмуро, как маленький и притом пресыщенный богдыхан, следил за ее однообразными движениями. Белка тоже искоса следила за пригарцовывающей девочкой, и каждый раз, когда веревка щелкала по земле, она мигала. Звук этот был ей неприятен. И хотя Чику казалось, что она сама стыдится своего страха, она как бы говорила Чику, продолжая при каждом щелкающем звуке мигать: мало ли что может случиться, а вдруг и меня огреет эта противная веревка.

Чику тоже было неприятно это скакание, но совсем по другой причине.

Дело в том, что он в этот день задумал вместе с ребятами и девочками своего двора пойти в поход за мастикой. И вот вместо того, чтобы готовиться к походу или скромно сидеть возле Чика, показывая, что она побаивается, как бы Чик не раздумал брать ее с собой, эта Ника ничего такого и не думала делать.

В поход за мастикой? Пожалуйста, как бы говорила она всем своим видом, но, пока вы собираетесь, я еще попрыгаю.

Этого-то Чик больше всего на свете не любил. Это (Чик затруднялся, как это назвать), одним

словом, это было свойственно некоторым мальчикам и почти всем девочкам. Во всяком случае, Чик еще ни разу не встречал девчонку, которая была бы до конца предана Делу. Их всегда мог отвлечь какой-нибудь пустячок, унижающий Дело.

Например, если ты с ними на лужайке вздумал ловить стрекоз, то кто-нибудь из них рано или поздно погонится за бабочкой или начнет собирать цветы, а то поймает божью коровку и будет целый час ее упрашивать, чтобы она взлетела на небо. И так во всем. В этом была какая-то умственная, что ли, неполноценность, но так уж они были устроены, и с этим ничего нельзя было поделать.

И вот тебе, пожалуйста, готовится великий поход за мастикой, а она как ни в чем не бывало скачет на своей скакалке.

Кстати, если кто не знает, что такое мастика, — это жвачка, выварeнная из сосновой смолы и процеженная сквозь чистую тряпку. Лучше всего носовой платок, но, разумеется, чистый, еще не встречавшийся с носом.

Жевать мастику, особенно пускать из нее пузыри очень приятно. Но главное, мастика сейчас в моде. Появляться среди ребят, жуя мастику, прилично, это производит хорошее впечатление.

И наоборот, если ты целыми неделями появляешься среди ребят с пустым ртом, или клянчишь у кого-нибудь, чтобы дали тебе тоже пожевать, или, глядя на других, пускающих пузыри, невольно оттопыриваешь губы и высовываешь язык, это производит на всех плохое впечатление.

Получается, что ты не можешь сходить в поход за мастикой, не умеешь раздобыть сосновой смолы и выварить ее как следует. Или, что еще хуже, все это ты умеешь, но тебя не пускают из дому, а уйти без спроса не хватает храбрости, дрейфишь. Горе тому, кто подолгу не жует мастику, он рискует сделаться всеобщим посмешищем!

Среди ребят своего двора Чик считал себя самым главным. Разумеется, он об этом не говорил, это было бы слишком глупо, но считал это вполне справедливым. Во-первых, он это так считал потому, что так оно и было, а во-вторых, он был старше на три месяца самого старшего из них, Оника, сына Богатого Портного.

Конечно, во дворе были и другие ребята, но это были совсем взрослые парни. Они были старше его на пять-шесть лет, их нельзя было принимать в расчет, у них свое.

Мать Оника говорила, что Чик старше Оника на три месяца, а хитрее на три года. Она это, как

попугайка, повторяла тысячу раз.

Чик чувствовал, что в словах ее есть какая-то правда, но она нарочно огрубляет ее. Пожалуй, Чик нашел бы словечко поточней, чтобы определить разницу между собой и Оником. Но Чик отмалчивался, потому что считал унизительным что-то доказывать этой не очень-то умной женщине. Откровенно говоря, ему было неприятно слышать от старших про свою хитрость. Не то чтобы Чик не хитрил, очень даже хитрил, если это было надо. Но он-то знал, что взрослые обитатели их дома, называя его хитрецом, мстят ему, потому что он давно догадался об их взрослых хитростях.

Чик давно заметил, что у них во дворе взрослые, разговаривая с маленькими или между собой, очень часто говорят одно, а думают совсем про другое. И хотя Чик никогда не мешал им думать совсем про другое, они почему-то злились на него за то, что он знает про другое.

Чик просто удивлялся, почему они так злятся на него за это. Иногда то, про что они думали, было так понятно и близко, что никак невозможно было не догадаться о нем.

Когда Чик был совсем маленький, он, слушая, как во дворе один взрослый, разговаривая с дру-

гим, говорит одно, а думает про другое, считал, что это такая игра. Чик замечал, что и другой взрослый при этом думает совсем про другое, так что никого никто не обманывает. Он только не понимал, почему они в конце игры не рассмеются и не скажут о том, что они хорошо поиграли.

А иногда дома, когда собирались гости, Чик замечал, что начиналась всеобщая игра, когда все говорили про одно, а думали не только про другое, а просто про разное. Так что Чик не успевал проследить, кто про что думает, или просто уставал следить.

Правда, случалось, что взрослые забывали про эту игру и кто-нибудь из них начинал рассказывать что-нибудь интересное и ничего другого при этом не думал, и тогда Чик с обожанием слушал этого человека. Конечно, и в таких случаях тот мог прерваться, чтобы сказать что-нибудь понарошку, но Чик на него за это не обижался. Он терпеливо пережидал, как если бы этот взрослый закуривал, или опрокидывал в рот рюмку, или произносил тост, не только не имеющий другого, скрытого смысла, а вообще никакого смысла не имеющий.

Своих товарищей Чик разделял на тех, кто чувствует, что взрослые могут говорить одно,

а думать совсем другое, и тех, которые этого не чувствуют.

Обычно те, которые не чувствовали этого, были более губошлепистыми и счастливыми детьми. Чик чувствовал, что незнание делает их более беззаботными и веселыми, точно так же как знание делает людей более уязвимыми. Чик это знал. Вернее, он это знал, но не знал, что знает.

Просто он чувствовал, что, например, Оник как раз относится к тем ребятам, которые так и слушают взрослых развесив уши, не подозревая, что за их словами может скрываться совсем другое. Он чувствовал, что в этой наивности Оника есть какое-то достоинство, которого он, Чик, теперь лишен навсегда. При всем этом он любил Оника и иногда завидовал этому его достоинству простоты.

Порой Чик сознательно допускал по отношению к Онику некоторые небольшие, как он считал, несправедливости. Он считал, что ему очень уж легко живется на свете.

Вот и теперь, когда они решили отправиться за мастикой, он поручил Онику самое трудное — вынести из дому чистый платок. Дело в том, что после того, как сквозь платок будет процежена расплавленная смола, он сделается непригодным

к употреблению. Его остается только выбросить, потому что отмыть невозможно. Ничего, думал Чик, семья Богатого Портного от одного платка не обеднеет.

Кроме Оника и Чика, в поход должны были пойти две девочки: Сонька и Ника. И еще Лёсик, который, как понимал Чик, будет еще большей обузой, чем даже девчонки.

Лёсик, по слухам, родился с какой-то болезнью, от которой он теперь хромал и заикался. Чик часто задумывался над его странной болезнью, от которой он одновременно хромал и заикался. Чик считал, что он как бы прихрамывает на язык или заикается на ногу. Можно было считать и так и так.

Несмотря на свои недостатки, Лёсик был добрым мальчиком, и Чик часто защищал его от ребят.

Из-за своей хромоты Лёсик плохо держался на ногах. Он мог упасть на ровном месте без всякой причины. Просто нога у него подворачивалась.

Однажды, когда он шел по улице, один из соседских мальчишек крикнул ему в шутку:

— Лёсик, осторожно, упадешь!

Услышав свое имя, Лёсик обернулся в его сторону и в самом деле упал. С тех пор на улице и в

школе пошла гулять эта дурацкая дразнилка.

— Лёсик, а-ста-рож-но, у-па-дешь! — нараспев кричал кто-нибудь, увидев, как Лёсик с портфелем ковыляет по улице. Обычно в таких случаях Лёсик с улыбкой оборачивался на этого мальчика, всем своим видом показывая, что он понимает, чего они ждут от него. И конечно, старался не падать, хотя иногда, правда очень редко, все-таки падал. Но даже если и падал, он, так же добродушно улыбаясь, вставал, отряхивался и шел дальше.

Лёсика из-за его хромоты родители никогда не пускали со двора. Только в школу отпускали, потому что она была совсем рядом, а больше никуда не отпускали. Конечно же, ему, как и всем ребятам, хотелось сходить на море или на гору или просто посидеть на улице. Но мать его все время следила за ним и строго наказывала, если он выходил за калитку.

Правда, не так давно у родителей Лёсика родились двойняшки, и матери стало некогда следить за Лёсиком так внимательно, как раньше.

Родители Лёсика захотели иметь второго ребенка, чтобы посмотреть, будет он совсем здоровым или родится такой же, как Лёсик. И тут родились сразу двое и оба здоровые. Лежа в коляске, лупят

друг друга ногами и кричат не заикаясь.

Но отец Лёсика был все равно недоволен. Он считал, что им было бы достаточно одного здорового ребенка, а тут родились двое. Опять не так, как он хотел, получилось.

Чик давно заметил, что есть такие мужчины, которые вечно недовольны, что бы жена ни сделала. И женщины тоже есть такие, которые вечно недовольны, что бы муж ни сделал. Лёсикин отец был как раз из вечно недовольных. Чик был уверен, что, если бы Лёсикина мама родила одного здорового ребенка, он все равно что-нибудь придумал бы. Может, сказал бы: раз уж пошли здоровые дети, так родила бы сразу двух.

Так или иначе, сейчас мать Лёсика была целыми днями занята своими двойняшками и про Лёсика слегка подзабыла. Чик решил воспользоваться этим и взять его с собой в поход за мастикой.

Сонька сейчас мыла под краном пустую консервную банку. Она была дочерью Бедной Портнихи, так иногда называли ее маму, чтобы отличить от отца Оника, Богатого Портного. Они жили в самом деле очень бедно и занимали одну из худших комнат во дворе. Тетушка часто говорила об их бедности, хотя сама же говорила и

противоположное.

— Ничего себе бедная, — кивала тетушка на Сонькину маму, возвращающуюся с базара, — всегда с полной корзиной идет.

Противоречивость тетушки поражала Чика. Как будто нельзя быть бедным и возвращаться с базара с полной корзиной! Ведь можно покупать самые дешевые продукты, что, кстати, всегда и делала Сонькина мама. Она ходила на базар к самому закрытию, когда наиболее слабовольные крестьяне сдавались и продавали по дешевке свои продукты.

Во дворе было замечено, что она нарочно в самые жаркие дни ходит на базар, то есть в такие дни, когда продукты быстрее портятся.

— Все равно сгниет, — часами бормотала она, стоя на солнцепеке возле безропотно оползающих персиков или где-нибудь в мясном ряду. Говорят, самые упорные сдавались вместе со свистком милиционера, закрывающего базар.

Кстати, Чик любил бывать на базаре. Обилие овощей, особенно фруктов, всегда веселило его, внушало желание петь бодрые песни. Единственно, что он не любил на базаре, — это мясные ряды. Не то чтобы Чик был вообще против мяса. Нет, мясо он любил. Но его как-то коробила грубая

откровенность яростных кусков, брошенных на прилавок, обреченность коровьих туш, лишенных хвостов и как бы потому облепленных жирными мухами, множество маслянистых крюков, топоров, плах и палаческих фартуков. А самих мясников с растаращенными глазами Чик прямо-таки опасался. Он был уверен, что оголенное мясо развивает в них тайное бешенство, пьянит их.

Однажды Чик видел на базаре, как Сонькина мама спорила с мясником. Чик тогда с ужасом замер, ему показалось, что мясник сейчас выскочит из-за прилавка с топором и погонится за ней. Положение осложнялось тем, что Чик был на базаре со своим сумасшедшим дядюшкой, который был влюблен в Сонькину маму.

Об этом все знали, и Чик в первую очередь. Главное, он тоже не заметил и почувствовал, что происходит что-то неладное. Дядюшка уже замер и уставился на мясника неподвижным взглядом, что обычно означало готовность перейти к энергичным действиям. К счастью, именно в этот миг Сонькина мама сговорилась с мясником, и он влепил шматок мяса в ее растопыренную корзину.

Она хохотнула и понеслась дальше. Дядюшка тоже мгновенно повеселел. Чик почувствовал,

что у него на сердце отлегло. Черт его знает, что могло случиться!

— Дурачок шумит! — сказал дядюшка, показывая рукой на мясника и посмеиваясь. В то же время он взглядом просил Чика не рассказывать дома о том, что он собирался вступиться за эту женщину. Дядюшка стыдился своей страсти, тем более что его довольно-таки безжалостно высмеивали из-за этой несчастной любви.

Так вот, дочь этой женщины, Сонька, была очень привязана к Чику. Иногда Чик подозревал, что по какому-то тайному закону равновесия она испытывала к Чику то чувство, которое дядюшка Чика испытывал к ее матери и на которое мать ее не могла ответить. По этому же закону равновесия Чик тоже не мог ничем ответить на эти чувства. Хотя самую привязанность ценил, особенно ценил ее беззаветную преданность делам, которые он время от времени затевал.

Впрочем, характер привязанности Чик мог и преувеличить из-за склонности к гармоническим конструкциям, которую он неустанно проявлял.

А что сказать о Нике? Она вместе с матерью переехала к ним во двор этой весной. Чик знал от дяди, что Ника — дочь известного танцора Пата Патарая.

Дядя сам когда-то танцевал с ним в ансамбле. Дядя говорил, что Пата Патарая такой замечательный танцор, что может танцевать на перевернутой рюмке.

Чик очень долго старался представить, как это можно танцевать на перевернутой рюмке. В конце концов он решил, что отец Ники танцевал на перевернутой рюмке, стоя на конце большого пальца одной ноги и приподняв вторую. Это было похоже на рисунок из замечательной книги «История гражданской войны». Чик эту книгу много раз листал. Там был нарисован дореволюционный крестьянин, который одной ногой стоял на своей земле, а другую держал в воздухе, потому что своей земли у него было так мало, что некуда было поставить вторую ногу. Чик через этот рисунок почему-то легко представил Пата Патарая, танцующего на перевернутой рюмке. Разумеется, в отличие от лохматого, оборванного крестьянина он его представлял одетым в черкеску и в азиатские сапоги.

Хотя при нем об этом старались не говорить, и именно поэтому Чик особенно внимательно прислушивался, он понял, что Пата Патарая арестован. По обрывкам разговоров Чик догадался, что, оказывается, отец Ники довольно часто

танцевал при большом начальнике, который оказался вредителем.

Это, по мнению Чика, было слишком. Начальник-то, конечно, вредитель, думал Чик, но отец Ники пострадал по ошибке.

Чик решил, что танцевать на перевернутой рюмке так трудно, что все внимание уходит на то, чтобы не свалиться с этой рюмки, а следить за вредительством начальника одновременно с этим слишком сложно.

Вскоре Чик догадался, что Ника ничего об этом не знает. Чик сам решил, что ей нельзя говорить об этом. Из разговоров взрослых Чик понял, что и соседи тоже ничего толком не знают об этом.

В первые дни, когда они переехали к ним во двор, Чик тоже ничего не знал. Он только заметил, что эту новую девочку одевают нарядно, как взрослую. Почти каждый день Чик слышал, как она попискивает: это мать ей заплетала косы. Кроме того, она ходила, узко переставляя свои длинные ноги, словно стремилась как можно меньше соприкасаться с пачкающим ее пространством. А главное, в ее личике, надо сказать, довольно хорошеньком, была та особая отмытость, по которой Чик за километр узнавал детей богатых родителей. У Оника тоже в лице была

такая отмытость. По этому признаку он их сразу узнавал, как, скажем, по цвету газированной воды можно было сразу узнать, что в этом стакане двойная порция сиропа.

Чик в первое время старался держаться подальше от Ники. Но все-таки Чик испытывал к богатым какое-то странное любопытство. Поэтому он присматривался к ним и даже прислушивался, если это было возможно. И вот однажды, когда он играл у них под окнами, он услышал, как мать Ники велела дочери сходить за хлебом. Ты смотри, подумал Чик даже с некоторым умилением, их тоже, как и нас, посылают за хлебом. Только Чик так подумал, как Ника высунулась из окна и сказала:

— Чик, я тебя очень, очень прошу, сходи за хлебом. Мне так не хочется… — При этом она с таким приятным бесстыдством, с такими ужимками завертела своей мордочкой, что Чик не смог отказать. Это была такая неожиданная наглость, что он просто растерялся.

— Давай деньги, — сурово сказал он, и она, вытянув из окна руку, передала ему деньги. Страшно надувшись от оскорбления, Чик поплелся за хлебом.

— Бессовестная, — услышал он голос ее мамы

из окна и странный смешок Ники. Почему, почему я не отказался, пораженный, думал Чик всю дорогу и не знал, чем это объяснить. Во всяком случае, он пришел к твердому решению больше у них под окнами не играть.

Потом они подружились, потому что мать Ники к нему хорошо относилась.

Это оттого, что Чик и дядя очень дружили и любили друг друга. А так как дядя раньше дружил с ее мужем, вот она и выделила Чика.

Иногда, уходя на базар или по делам в город, она оставляла Чика в квартире вместе с Никой. Чик не раз поражался ее умению, пошкодничав, мгновенно придавать своему облику невинное выражение. Ну, разумеется, перехитрить Чика ей никогда не удавалось.

Убранство в их квартире, как и ожидал Чик, оказалось роскошным.

Например, буфет был похож на дворец со стеклянными окошечками, дверцами, карнизиками. Кроме того, там был письменный стол, патефон с целой горой всевозможных пластинок и огромный диван, на котором можно было подпрыгивать, как на сетке циркачей.

Правда, у дяди тоже стоял письменный стол, но остальные вещи здесь были куда лучше.

— А у вас есть персидский ковер? — спросил Чик, заметив, что на стене нет никаких ковров.

— Был какой-то, мама продала, — небрежно ответила Ника.

Вот богатые, подумал Чик, им все равно, был у них персидский ковер или не был, даже толком не знают.

— А у нас есть персидский ковер, — сказал Чик, чтобы что-нибудь противопоставить этой прорве богатства. Он подпрыгивал на пружинящем диване, испытывая удовольствие не только от его упругих толчков под ногами, но и от того, что он бесплатно пользуется всем этим богатством. Чик считал, что сам он живет средне. Он так и говорил: «Мы живем средне», — когда разговоры о том, кто как живет, возникали на улице или в школе.

Ника довольно часто заводила патефон. Некоторые пластинки Чику очень нравились, но он их воспринимал по-своему. Особенно нравилась одна, где рыцарь пел перед боем: «Паду ли я, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она?» Чику очень хотелось, чтобы она мимо пролетела, эта стрела. Он даже видел этот замедленный полет стрелы, пролетающей мимо рыцаря, который украдкой, одними глазами, с облегчением, но

никак не показывая радости, следит за ее полетом. Показывать радость стыдно, а увертываться от летящей стрелы вообще не положено. Ничего не поделаешь, в те времена были такие суровые условия. Так думал Чик.

Иногда Ника заводила пластинки, где выступал ансамбль песни и пляски с участием ее папы. Ансамбль сначала начинал с какой-нибудь кавказской песни, а потом постепенно подогревал себя и доводил до состояния пляски. Одни из них при этом продолжали петь и хлопать в ладоши, а другие пускались в пляс.

Чика удивляло, что Ника среди общего топанья радостно улавливала топанье отца.

— Во! Во! — тыкала она пальцем в пластинку. — Это он, он, Чик!

— Да как ты узнаешь? — удивлялся Чик. — Может, это кто-нибудь другой топает?

— Ну что ты, — говорила Ника, каким-то женским движением покачивая головой, — у папы совсем особый звук — легкий, точный…

Чик, сколько ни старался, никак не мог определить, чем отличается топанье Пата Патарая от всех остальных. Он решил, что во всем этом есть доля кривлянья, но считал это вполне простительным грехом, потому что она и в самом деле

очень любила отца, которому так не повезло. К тому же такого рода кривлянье было свойственно многим взрослым.

— Тридцать рублей истратила, а что я купила! — например, говорила тетушка каждый раз, возвращаясь с базара. Это тоже было кривлянье, преувеличение. Во-первых, купила дай бог сколько, а во-вторых, хоть цены, по-видимому, в самом деле растут, но ведь не так быстро, как говорила тетушка. По ее словам получалось, что в каждый последующий день базар хуже, чем в предыдущий. Казалось, этими преувеличениями и кривляньем взрослые заклинают себя от большей беды, чем та, которая есть. Они как бы говорят ей: «Не надо тебя, не иди к нам, у нас уже есть точно такая же Большая беда».

Вот этим взрослым привычкам и подражала Ника, думал Чик, когда она говорила, что среди топота многих танцующих узнает топот своего отца по особой легкости да еще и точности.

Однажды, когда Чик играл с ней в прятки, случилось вот что.

Чик спрятался под письменный стол, а Ника почему-то долго его не могла найти. От нечего делать Чик пошарил рукой по тыльной стороне письменного стола и вдруг обнаружил, что там

какие-то узкие щели. Чик понял, что это щели между ящиками письменного стола. В дядином письменном столе таких щелей не было. Такой уж тут стоял стол. Может быть, подумал Чик, у богатых так и положено иметь такие щелястые письменные столы.

Снаружи все дверцы его были заперты, а сзади можно было пальцами нащупать щели. Чик с трудом просунул руку в ящик и тронул пальцами какую-то коробку. С трудом шевеля пальцами, он открыл картонную коробку и вдруг почувствовал, что она наполнена какими-то маленькими металлическими предметами. Чик сразу же догадался, что это пистончики для патронов. Чик даже вспотел от волнения. Это был целый клад золотистых пистончиков, которые стреляли, как настоящий пистолет, если бить по ним камнем. Но тут Ника его обнаружила, и ему пришлось вылезать из-под письменного стола. После этого Чик еще несколько раз прятался под ним и успел вытащить оттуда и спрятать в карман с десяток великолепных новеньких пистончиков.

— Ты какой-то глупый, Чик, — в конце концов сказала Ника. — Почему ты все время в одно место прячешься?

Чик хмыкнул, подтверждая свою глупость,

одновременно сладостно перебирая в кармане пистончики.

— Что это у тебя в кармане? — спросила Ника, чувствуя, что Чик хитрит. Она заглянула ему в глаза.

— Ничего, — сказал Чик, продолжая держать руку в кармане.

— Нет, покажи, что у тебя в кармане, — сказала Ника.

— Ничего особенного, — сказал Чик, — лучше давай играть.

— Нет, покажи! — крикнула Ника и накинулась на него, стараясь выдернуть его руку из кармана.

Чик не давал выдернуть руку из кармана, и они оба повалились на диван.

Так как Чик не слишком сопротивлялся, главное было удержать руку в кармане, после некоторой возни Ника оказалась сверху. Она налегла ему на грудь и, упираясь острым локтем одной руки ему в живот, другой старалась выдернуть его руку из кармана.

Чик, конечно, не давался. Он чувствовал, что намного сильнее ее. Она попыталась просунуть руку в карман и в самом деле немного ее туда просунула, кряхтя и обдавая его струями горячего дыхания. Но Чик рукой, что была в кармане, при-

жал ее руку и не давал ей продвинуться дальше.

Игра эта показалась Чику забавной. Ему показалось, что, если б не острый локоть ее, давивший ему в живот, возня эта была бы даже приятной. Чик вывернул свой живот из-под ее локтя и прислушался, приятно ему или нет. Ты смотри, подумал он, в самом деле очень приятно. Удивительно, что раньше ничего такого он не испытывал. Правда, один раз в детском саду было что-то такое. Но это было так давно, что он забыл про это.

Стараясь держаться так, чтобы это новое ощущение не ослабевало, он в то же время не забывал и о своих пистончиках в кармане. Он продолжал их сжимать в кулаке и в то же время изо всех сил придавливал ладонь Ники, проползающую в карман.

Ника не на шутку разгорячилась. Чем больше она горячилась, тем приятней становилось Чику. Чик почувствовал, что надо поощрять ее усилия, чтобы сохранить уровень достигнутой приятности. Он сделал вид, что постепенно сдается, и она еще азартней взялась за него. Постепенно быстро шевелящиеся пальцы Ники добрались до его кулака, и, так как ему было приятно поощрять ее, он дал ей чуть-чуть просунуть палец между сво-

ими плотно сжатыми пальцами. Он был уверен, что сумеет ее остановить, когда надо. Но тут Чик ошибся. Царапая ему ладонь своим шарящим пальцем, она вдруг крикнула:

— Знаю! Знаю!

— Скажи, что? — спросил Чик и изо всех сил сжал в кулаке любопытствующий палец, чтобы он больше не шевелился.

— Знаю, — пропыхтела Ника, — это такие штучки для патронов… У папы тоже они есть… Вон там в письменном столе заперты.

Все еще тяжело дыша, она кивнула головой на письменный стол. Сначала Чику показалось, что она догадалась, откуда он взял эти пистончики, но теперь понял, что она ничего не знает.

На него напал смех. Чик его никак не мог остановить, и она, вдруг обидевшись на него, резко выдернула руку из кармана и вскочила на ноги. Чик смутился и тоже встал. Он не понимал, почему она так обиделась на его смех, ведь она не знала, что он как раз оттуда и вынул эти пистоны. Он тогда не знал, что в таких случаях девочки терпеть не могут, чтобы кто-нибудь смеялся. Он вообще не подозревал, что она тоже что-то почувствовала.

— Ты не веришь, — сказала Ника и серьезно

посмотрела на него, — что папа положил туда патроны, и патронташ, и эти штучки?

На Чика опять напал дурацкий хохот, и он никак не мог остановиться. Как же ему не верить, когда он сам их оттуда достал!

— Ах, ты опять?! — закричала она с такой злостью, что Чик сразу же перестал смеяться.

— Верю! Верю! — поспешно ответил Чик. — Честное слово!

— Конечно, — сказала Ника, заглядывая ему в глаза, — как только папа вернется из командировки, я тебе покажу их…

Она еще глубже заглянула Чику в глаза, стараясь о чем-то догадаться и как бы умоляя Чика уверить ее, что догадываться не о чем. Чик это мгновенно почувствовал.

— Хорошо, — сказал Чик спокойно, — когда он приедет, ты меня позовешь и покажешь.

Казалось, солнце упало на лицо Ники, так оно мгновенно просияло. Чик никогда в жизни не видел, чтобы у кого-нибудь так быстро вспыхивало от радости лицо.

— Да, — сказала она, — мы с папой не только покажем, папа тебе подарит их сколько хочешь. Мой папа самый, самый, самый добрый на свете!

— Знаю, — сказал Чик, — мне дядя рассказывал.

Но ты уверена, что он мне подарит?

— Конечно! — закричала Ника и даже всплеснула руками в том смысле, что тут и говорить не о чем.

— А если бы он был сейчас здесь, — спросил Чик, — он бы подарил их мне?

— Ну да, — сказала Ника, — он делает все, что я у него попрошу.

— Можно считать, что он мне уже подарил? — спросил Чик.

— Можно, — кивнула Ника и села на диван.

Чик уселся рядом. «Все равно, подумал Чик, он бы мне подарил… И потом, он же вернется, когда поймет, что он вредителю никогда не помогал».

— А почему ты мне сразу не показал, Чик? — спросила она и как-то по-особому посмотрела на Чика. Чик насторожился. Ему показалось, что она догадалась, что он что-то почувствовал, и вызывала его на откровенность. Как бы не так, подумал Чик, ни за что на свете.

— Просто так, — сказал он, — это игра такая.

— А мы еще будем в нее играть? — спросила она.

— Да, — сказал Чик как можно проще, — почему бы и не поиграть.

— А мне нравится, — сказала Ника и так откро-

венно посмотрела на него, что никаких сомнений не оставалось, что и ей была приятна эта возня, но сейчас он никак не хотел говорить об этом.

— Да, — сказал Чик, — это смешная игра.

— Чик, хочешь, я тебе расскажу один секрет? — сказала она и, посмотрев на Чика, как-то хитро раскосила глаза, словно сразу же посмотрела в обе стороны, не подслушивает ли кто.

— Расскажи, — ответил он, чувствуя, как жгучее любопытство сжимает ему горло, и одновременно настораживаясь, чтобы она не выманила его на откровенность.

— Когда мы с папой были в санатории, — начала она, радуясь своему воспоминанию и стараясь заразить Чика этой радостью, но Чик не давал заразить себя этой радостью и держался как можно тверже, — так там был один мальчик, — продолжала она таинственным голосом и опять мгновенно выкосила глаза, словно пыталась застукать подсматривающих, хотя в комнате никого не было и не могло быть, — и у нас было свидание, и мы целовались два раза. Да, да, Чик, два раза, я помню.

Она выразительно посмотрела на Чика и, выставив два пальца, подтвердила, что поцелуев было именно два, а не один и не три.

У Чика дух захватило от этой откровенности. Вот богатые, подумал он, им ничего не стыдно! В то же время его как-то покоробил этот жест рукой, показался грубым. Так с сумасшедшим дядюшкой Чика обычно разговаривали, чтобы он лучше понял, о чем идет речь.

— Я не глухой, можешь пальцами не показывать, — сказал Чик.

— А у тебя, Чик, было свидание? — спросила она почти шепотом и опять выкосилась в обе стороны, словно они собирались сделать что-то недозволенное, а она смотрела, не подглядывает ли кто. «А-а, — вдруг догадался Чик, — она нарочно так делает, чтобы подтолкнуть меня».

— Все это глупости, — сказал он сурово, отвергая эту тему. Вообще-то у Чика никаких свиданий не было, но прямо сказать об этом ему не хотелось.

После этого случая они еще несколько раз играли в выдуманную Чиком игру, покамест он не достал из коробочки в письменном столе все пистоны. Он перевернул всю коробку в ящике, и те из них, которые лежали шляпкой вниз, он доставал, придавив палец к острым краям пистона, а те, которые нельзя было придавить к пальцу, он загонял поближе к краю ящика и доставал их, зажав между пальцами.

Когда они кончились, он решил прекратить эту игру. Он чувствовал, что, если она будет продолжаться, он увязнет в какой-то постыдной тайне.

Возможно, это был инстинкт свободы. Чик этого не знал. Он только понимал, что с тайной ему будет жить хлопотно и громоздко, а он этого не хотел.

— Как ты думаешь, — спросил он у нее, когда кончились пистоны, — а целую коробку твой папа мне подарил бы?

— Конечно, — просияла Ника и царственно махнула рукой, — он даже целую коробку конфет может подарить.

Он не чувствовал больших угрызений совести за эту опустошенную коробку с пистонами и теперь окончательно успокоился.

Чик все еще сидел на лозе и гладил Белку, положив ее морду к себе на колени. Приковылял Лёсик и скромно сел рядом с Чиком, показывая, что он благодарен ему за этот поход. Чика беспокоило отсутствие Оника, которого он послал домой за чистым платком. Что с ним?

Сонька вымыла консервную банку под краном и, утирая рукавом брызги с веснушчатого лица, подошла к Чику.

— Хватит? — спросила она и дала Чику поню-

хать банку. Чик взял в руки банку и внюхался в нее. Все-таки слабый запах рыбных консервов можно было почувствовать. Но от этого, видно, нельзя было избавиться. Белочка тоже потянулась, чтобы понюхать, чем пахнет банка. Чик дал ей понюхать.

«Пахнет!» — фыркнула Белочка и чихнула.

— Ладно, — сказал Чик, — ничего.

— Можно мне скакалку взять? — спросила Ника, не останавливая своих прыжков. Чик от возмущения не мог найти, что ответить. Он молча уставился на нее с некоторой надеждой, что она смутится. Но она как ни в чем не бывало продолжала прыгать.

— Может, ты еще куклу возьмешь? — сказал Чик, сам чувствуя, что слова его недостаточно язвительны.

— Куклу… гы, гы! — Сонька до ушей растянула свою знаменитую улыбку.

Лёсик тоже улыбнулся, засопел в поддержку остроумия Чика. Только сама Ника, продолжая скакать, пожала плечами, показывая, что ничего смешного и тем более остроумного в его словах не находит.

Наконец появился Оник.

— Пахан кушать заставил, — сказал он с отвра-

щением и, оглянувшись на окно своей квартиры, сунул Чику чистый платок. Потом он еще раз оглянулся на окно и вытащил из кармана десять и пятнадцать копеек.

— На копилку, — сказал Оник и протянул деньги Чику.

— О, молодец, — сказал Чик, сразу же прощая его за опоздание. Он побежал домой и вбросил в копилку деньги. Они собирали деньги на футбольный мяч. Домашние Чика знали об этом, но родители Оника не знали. Чик уговорил его не рассказывать им о копилке. Он чувствовал, что это затруднит приток монет из дома Богатого Портного.

— Мы на огороде будем долго! — ответил Чик на оклик матери и сбежал по лестнице.

Так как отец Оника, как всегда в такое время, торчал с шитьем на балконе, Чик решил выйти через огород на речку и, подымаясь вдоль русла, пробраться на соседнюю улицу.

Огород, или сад, его и так и так называли, представлял собой участок с баскетбольную площадку, на котором росли дикая хурма, инжир, груша, айва, персик, два куста роз и один полудохлый куст смородины, считавшейся здесь, на юге, экзотическим растением. Все деревья были

обвиты лозой «изабеллы».

Между деревьев на грядках росли лук, кусты помидоров, кинза, петрушка и редкие мощные стебли кукурузы.

Бабушка Чика считалась хозяйкой огорода, и Чик был единственным из ребят, кто беспрепятственно туда допускался. Правда, иногда, когда у бабушки было плохое настроение или она считала, что ребята там топчут грядки, она насылала на них сумасшедшего дядю, и он гнал оттуда всех без разбору. Чик из самолюбия в таких случаях пытался ему объяснить, что он все-таки Чик, а не какой-нибудь чужой. Но это не помогало.

— Иди, иди, иди, — односложно приказывал тот с каким-то бюрократическим, как чувствовал Чик, безразличием к личности каждого. В таких случаях он их всех приравнивал и делал вид, что не узнает Чика. Он как бы говорил своим видом: мне приказано вас гнать, вот я вас и гоню, а кто ты там мне — племянник или не племянник, я не знаю и знать не хочу.

Это больше всего и раздражало Чика. Если бы он, прогоняя их, говорил Чику своим видом: да, я знаю, что ты Чик, а я твой сумасшедший дядюшка, но мне приказано всех гнать, и я гоню всех, — тогда было бы куда легче. Так нет же, он

делал вид, что не узнает его. Вообще Чик заметил, что чем слабее умственно человек, тем меньше он чувствует оттенки. Оттенки — это лакомство умных, вот что заметил Чик. Пожалуй, Чик про себя не сказал бы, что он такой уж умный, но он мог дать голову наотрез, что различает множество оттенков, которых другие не видят.

Вообще, задумываясь о своей голове, он пришел к такому выводу, что некоторые вещи он соображает очень хорошо, а некоторые туговато, с большим трудом. Он считал, что его голова в разных частях работает по-разному. В одной части колесики кружатся весело, быстро, легко, в другой части медленно, со скрипом, как колеса арбы. Он только не знал, где какая часть расположена. Вернее, он предполагал, что там, где виски, работа головы ни к черту не годится, а вот затылочная часть работает хорошо. Может быть, он так думал, считая, что, как говорят, «силен задним умом». Когда он вспоминал давным-давно прошедшие дела, он видел с необыкновенной ясностью, как надо было тогда действовать, а когда они происходили, он этого не замечал. Еще он заметил, что сильные встряски, долгая беготня тоже плохо действовали на его голову. Так, если он перед школой долго играл в футбол,

то на первом уроке очень плохо соображал, что к чему. Видно, внутри головы с перегородками было неважно и все колесики перепутывались, мешали друг другу работать.

Во всяком случае, Чик точно знал одно, что та часть головы, которая определяет, что справедливо и что несправедливо, у него работает очень здорово. Этого Чик не сказал бы про многих взрослых.

Вот, например, бабушка. Обычно, когда собирали груши, она всем соседям посылала часть урожая. Это понятно, это хорошо. Но если она на кого-нибудь из них в это время была в обиде, она никому ничего не посылала. Но при чем тут другие, если ты на кого-то в обиде?

Чик тоже бывал на кого-нибудь из своих друзей в обиде, но ему никогда не приходило в голову, что от этого должны страдать все. И когда он брал их с собой в сад, все, что они там срывали с деревьев, он старался делить поровну. Ну иногда, конечно, если уж попадется очень хороший инжир, он мог его отправить себе в рот до общего дележа. Все же он стыдился этих минутных слабостей и нередко, проглотив плод, испытывал горькое раскаяние. Эх, думал он в такие мгновения, если бы раскаяние пришло двумя-тремя

секундами раньше, я бы не стал его глотать. Но ведь откуда ему взяться, раскаянию, если ты еще этот плод не проглотил?

Однажды, когда Чик был совсем маленький, а Богатый Портной не такой уж богатый, тому поручили собрать с дерева груши для всего двора. В тот год был хороший урожай, и все соседи задолго до начала сбора притихли, чтобы, не дай бог, не обидеть бабушку. Бабушка пыталась к некоторым соседкам придираться, но они смехом и шутками отвечали на ее придирки.

И вот Богатый Портной с корзиной на дереве собирает груши, а ребята со всего двора стоят под деревом и кричат ему, где какая груша еще осталась.

Одну грушу, самую крупную и желтую, он никак не мог заметить, хотя она висела на ветке совсем рядом. Ребята все время кричали ему, снизу показывая на нее, а он никак не мог заметить, все время разгребая листья на других ветках.

Наконец он ее заметил. Осторожно дотянувшись, он нежно и плотно обнял ее всей пятерней.

— О-о-о, — похвалил грушу Богатый Портной, — эта пойдет в карман…

И в самом деле, сняв ее с ветки, он осторожно,

как яйцо, положил ее в карман. Теперь Чик заметил, что карманы его подозрительно оттопырены. Чика тогда больше всего поразила откровенность Богатого Портного. Он как бы считал, что это и так всем ясно, что такую грушу нельзя в общую корзину положить. Но почему?

Чик тогда почувствовал, что у него испортилось праздничное настроение.

В общем, тогда что-то испортилось. Он сам не мог понять, почему одна груша, правда самая хорошая, может все испортить. Но он чувствовал это. Потом он вспомнил, что, как только Богатый Портной потянулся к этой груше и обхватил ее ладонью, он, Чик, ощутил какую-то тревогу за нее. Он как-то по-особому потянулся за нею и сорвал ее. Он так ее взял, словно на ней было написано — только для Богатого Портного. Но почему? Было неясно и неприятно.

...Чик шлепнул рукой по карману, чтобы убедиться, все ли на месте.

Щелкнул спичечный коробок, стукнул по вальцам черенок перочинного ножичка — все в порядке!

Ника забросила скакалку к себе на веранду, и ребята прошли в сад.

Проходя под грушей, Чик оглядел ее, но еще на

ветках не было ни одного спелого плода. Инжир уже понемногу поспевал, но Чик с утра снял с дерева два спелых, а больше за день не могло поспеть.

Вдруг Сонька подняла с земли упавший инжир.

— Чик! — крикнул Оник. — Она с земли подняла инжир!

— Я только посмотреть хотела, — сказала Сонька и поспешно бросила инжир на землю. Считалось, что подымать с земли палый инжир — признак нищенства. Груши, яблоки и другие достаточно плотные фрукты можно, а инжир нельзя. Чик с упреком посмотрел на Соньку.

— Знаем, знаем, как посмотреть, — сказал Оник и насмешливо закивал головой.

Сонька наступила на инжир и растерла сандалией его сладкое повидло, чтобы показать, до чего ей противно было бы съесть этот инжир. По тому, как она смачно его раздавила и растерла, Чик догадался, до чего ей хотелось съесть этот инжир.

Ребята вылезли сквозь дырявый забор и спустились к руслу речушки. Летом она обычно усыхала и плелась, едва высунув язык. Белочка, конечно, попыталась за ними увязаться.

— Белочка, домой, — сказал Чик строго, но доброжелательно. Белочка оглянулась, словно Чик разговаривал не с ней, а с какой-то другой собачкой. Чик давно знал все ее хитрости. — Кому говорят, домой! — Чик прибавил в голосе строгости, но оставил и нотку доброжелательности.

«Ах, ты мне говоришь? Но мне так не хочется, Чик!» — сказала Белка взглядом и, склонив голову, застыла в позе сиротской покорности. Это было нелегко перенести, но Чик стойко держался. Он понимал, до чего ей скучно оставаться во дворе, когда все порядочные люди куда-то уходят, но брать ее с собой было нельзя.

Дело в том, что в последнее время в городе появился собаколов, который ездил по улицам со своей страшной клеткой и ловил зазевавшихся собак. О судьбе собак, попавших в его клетку, ходили самые мрачные слухи. Говорили, что он их убивает, из мяса делает мыло, а шкуры перекрашивает, чтобы хозяева не узнали, и продает. Недаром Чик ненавидел мыло, хотя его уверяли, что в магазинах то мыло не продают. Продают не продают, все равно противно, думал Чик.

Про одну женщину даже рассказывали, что она купила на базаре мех драгоценного животного, а потом, через некоторое время, когда краска

облезла, оказалось, что это шкура ее собственной собаки, которая когда-то пропала у нее. Бедная женщина отмыла шкуру своей собаки и, рыдая, с почестями похоронила у себя в саду. Чик подозревал, что собаколов этот подослан вредителями, чтобы люди, постоянно думая о судьбе оставленных дома собак, нервничали на работе и допускали грубые ошибки.

Однажды собаколов проезжал по улице, на которой жил Чик. Он в это время стоял у калитки с Белочкой. Все собаки ненавидели собаколова и с бешеным лаем провожали его по улице, хотя выскочить ни одна не решалась.

И только Белочка, хотя она была довольно маленькой собачкой, залаяла на него и бесстрашно, правда, иногда оглядываясь на Чика, бросилась на колымагу. Понурая лошадь собаколова даже не обратила на нее внимания. Видно, она привыкла к такому обращению. Может быть, даже она стыдилась, что вынуждена обслуживать своего подлого хозяина. У Чика было к ней какое-то двойственное отношение: с одной стороны, ему было жалко ее, вон какая — ребра торчат. А с другой стороны, он все-таки осуждал ее: раз у тебя такой подлый хозяин — сбеги от него!

Если в тот раз понурая лошадь собаколова не об-

ратила на Белочку внимания, зато сам собаколов обратил. Он с какой-то нехорошей странностью посмотрел на Белочку, хотя ясно видел, что она не беспризорная, что она только что выскочила со двора из-под ног Чика.

Чик тогда погрозил ему кулаком. А этот негодяй, даже вспоминать неприятно, в ответ на угрозу Чика посмотрел на него с такой же сонной деловитостью, как и на Белочку. Чик, конечно, понимал, что собаколов людей не трогает, но мало ли что он может сделать, раз его подкупили вредители.

С того самого дня Чик стал бояться за Белку и старался отучить ее выходить на улицу. С тех пор он еще несколько раз видел проезжающую колымагу собаколова, и каждый раз у него надолго портилось настроение.

Раньше он иногда брал с собой Белку, когда ходил на море или в горы, как сейчас, но с тех пор старался отучить ее от улицы. Поэтому и теперь, несмотря на сиротское выражение, с каким Белка смотрела на него, он сурово отвернулся и пошел дальше.

В этом месте речушка была зажата стенами трехэтажных домов. Из верхних окон этих домов каждую секунду могли вылить помои, и потому

приходилось идти, внимательно следя за окнами. Через несколько минут Чик оглянулся, и что же оказалось? Оказалось, что Белочка плетется за ним.

— Ах, так! — угрожающе сказал Чик и гневно посмотрел на Белку.

Она продолжала стоять. А между тем в любую секунду из любого окна могла вылететь струя помоев. Особенно опасна была струя из верхних окон, потому что они выливали ее как бы с поверхности земного шара в безвоздушное пространство. Правда, с другой стороны, тут было и свое преимущество. Хотя жители верхнего этажа даже и не смотрели вниз, когда шлепали свои помои, все же благодаря самой высоте, если вовремя заметить летящие помои, можно было от них увернуться. Зато уж если жители нижних этажей, не заметив тебя, шваркнут помоями — никак не увернешься.

«Какие же окна опасней?» — задумался Чик и снова обратил внимание на Белочку. Она смотрела на Чика, терпеливо ожидая его решения. Тут Чик разозлился на себя и на Белку. На себя за то, что он имел дурацкую привычку задумываться над ненужными вещами, а на Белку за то, что она вообще еще тут торчала и, главное думала, что

он задумался над ее судьбой — брать ее или не брать, хотя он думал об этих проклятых помоях.

Чик сделал вид, что наклонился за камушком, и, разогнувшись, махнул рукой, словно кинул его.

«Не верю!» — сказала Белка, мотнув головой.

— Ах, не веришь! — вслух ей ответил Чик и, нагнувшись, в самом деле поднял камушек. Правда, выбрал поменьше и бросил его в Белку. Камушек щелкнул несколько раз, подпрыгивая возле Белки. Она приподняла голову, а уши у нее вздрагивали при каждой щелчке.

«Ну, если дело дошло до камней...» — Чик прямо-таки услышал эти слова, когда она, повернувшись и уныло поджав хвост, затрусила назад. Сердце у Чика сжалось, но ничего нельзя было сделать, так было надо.

— Чик, скорей, а то нас помоями обольют, — напомнила Сонька. Чик ничего не ответил, и они пошли дальше.

Они прошли мост, перекрывавший улицу, и остановились. После моста было небольшое пространство, где их легко можно было заметить с улицы, особенно с балкона, на котором вечно торчал Богатый Портной со своим утюгом.

Чик осторожно выглянул из-под моста на ули-

цу. Богатый Портной был на балконе. Он, как обычно, фыркал водой изо рта и потом несколько раз проводил утюгом по столику, на котором лежала его очередная работа. Чик хорошо знал последовательность его действий. Они обычно никогда не менялись.

«Фырк! Фырк!» — водой изо рта на тряпку, потом внимательно взглянет на улицу, снова берется за утюг.

Надо было перебегать, пока он фырчит, или через несколько мгновений, когда он начинает гладить. Чик легко, без особой опаски, перебежал открытое пространство. Богатый Портной его не заметил. Оник из-под моста следил за Чиком с испуганными глазами. Он очень боялся, что отец его увидит и вернет домой. Он до того боялся, что сам уже не доверял своему слуху.

— Фырчит или не фырчит? — шепотом спрашивал он у Чика.

— Сейчас зафырчит, — ответил Чик, прислушиваясь к балкону.

«Фырк! Фырк!» — раздалось с балкона. Чик переждал несколько мгновении и дал знак Онику. Оник в несколько прыжков одолел опасное расстояние. Ника не стала дожидаться его знаков, а сама спокойно перешла на эту сторону, показы-

вая, что она никого не боится.

Вообще-то Чик преувеличивал опасность, но эта вечная независимость Ники сейчас ему не понравилась. Зато Сонька, дождавшись команды Чика, быстро перебежала на его сторону, показывая, что она в отличие от некоторых угадывает желания Чика и точно их исполняет. Если Чику нравится считать, что перебегать от моста в безопасное пространство очень, очень опасно, то она так и будет перебегать, как будто это очень, очень опасно.

Чику было бы приятней, если б она в самом деле чувствовала эту опасность, а не преувеличивала для Чика. Но все же это было лучше, чей самостоятельность Ники.

Бедный Лёсик и в самом деле сильно разволновался и от предстоящей опасности, и от сознания своей неловкости. На полпути между мостом и изгибом реки, где они укрывались, он шлепнулся в воду и забарахтался, неуклюже шевеля ногами и руками, как перевернутый жук.

Чик, пригнувшись, подбежал к нему. Только он попытался поднять его на ноги, как вдруг откуда ни возьмись у края обрывистого берега появилась Белка. Она радостно взвизгнула и залаяла, решив, что Чик и Лёсик нарочно барахтаются в воде. Чик

бросил на нее свирепый взгляд, но Белочка решила, что все это игра, и еще радостней залаяла.

Тут Чик почувствовал, что и в самом деле над ними нависла угроза.

Сейчас Богатый Портной подымет голову, увидит их и догадается, что Оник с ними.

Он пригнулся, ухватился за рубашку Лёсика изо всех сил и поволок его по воде до самого поворота. Увидев такое, Белка залилась вовсю и даже попыталась спуститься вниз. Но тут Чик выглянул и, взяв в руку огромный булыжник и сделав самое свирепое выражение из всех возможных выражений лица, погрозил ей.

— Что ты там увидела, Белка? — хохотнув, поднял голову Богатый Портной.

Чик едва успел скрыться.

— Утя! Утя! Утя! Утя! — раздался голос женщины из соседнего двора.

Она думала, что Белка лает на ее уток, и давала им знать, что она не даст их в обиду.

Ребята побежали вперед, а Чик, поддерживая одной рукой Лёсика, тянулся за ними. Здесь речка делала еще один изгиб, и с улицы их нельзя было заметить. Отсюда был виден только кусок обрывистого склона, на котором стояла Белка и тоскливо смотрела им вслед.

Тут на всех напал смех, а Лёсик, весь мокрый, только сопел и смущенно оглядывал себя.

— Ничего, — сказал Чик и бодро шлепнул рукой по мокрым штанам Лёсика, — пока придем, высохнет.

Ребята пошли дальше. Теперь с обеих сторон над обрывистыми склонами шли сады и огороды. Тропинка была довольно хорошая, так что Лёсик без особого труда поспевал за всеми.

Перед самым выходом из речки, где начиналась следующая улица, внезапно впереди показалась собака. Она сидела чуть повыше тропы и грызла большую кость с круглой шишкой на конце. Собака была большая и бездомная. Это было видно и по желтой свалявшейся шерсти, и по тому, как она спокойно расположилась здесь, на диком берегу речки.

Чик знал, что домашние собаки в таких местах не располагаются. Домашняя собака если и найдет где-нибудь вкусную кость, то она ее притащит к себе, а не будет ее грызть где попало.

Это была опасная встреча. Мало ли что ей взбредет в голову. Они остановились и молча уставились на собаку. Собака тоже перестала грызть свою кость и, приподняв голову, а главное, не выпуская добычу изо рта, тоже молча устави-

лась на ребят.

Чик мельком подумал, что она сейчас похожа на старого капитана с трубкой. Чик про него читал какую-то книжку, но сейчас не мог вспомнить, что это была за книжка. Там был такой старый капитан с трубкой. Он на вид был свирепый, но на самом деле был очень добрый. Все свирепые капитаны с трубкой, про которых читал Чик, в конце концов оказывались очень добрыми.

Конечно, могло оказаться, что и эта собака окажется доброй, но кто ее знает.

Ведь сама-то она и не подозревает, что похожа на свирепого капитана с трубкой, который просто так, чтобы было интересней, напустил на себя свирепость.

Они молча бесконечные мгновения смотрели друг на друга, и от этого ребятам делалось еще страшней и страшней.

— Чик, — сказала Сонька тихо, — по-моему, я ее где-то встречала…

— По-моему, она бешеная, — сказал Оник.

Чик сам об этом подумал, но решил, что сейчас правильней будет отрицать это, чтобы его маленькую команду не охватила паника.

— У бешеной должна быть красная слюна, —

сказал Чик.

— Бешеные бегут к воде, — сказал Оник, — а она видишь куда пришла?

— Глупости, — сказал Чик и, помертвев от страха, двинулся вперед.

Если бы Чик был один и встретился бы в таком месте с такой собакой, которая только смотрит, и молчит, и даже кости изо рта не вынимает, он просто повернулся бы и ушел. Или даже сначала попятился бы как следует, а потом повернулся бы и ушел. Но сейчас, на глазах у всех, он этого сделать не мог.

— Чик, я боюсь за тебя, — услышал он сзади шепот Соньки.

Он медленно, не шевелясь, проходил опасное место. Он не смотрел в сторону собаки, но краем глаза следил за ней. Ему казалось, что с каждым шагом морда ее делается все огромней и огромней, он видел ее большие зубы сквозь небрежный прикус и красную полоску пасти.

Она похожа на старого капитана с трубкой, упрямо думал Чик. Она и есть старый капитан с трубкой, а старый капитан никогда никого не кусает. Старый капитан добрый, он курит трубку мира, и он и подумать не хочет, чтобы кого-нибудь укусить.

Чик прошел для полной безопасности еще шагов десять и остановился.

Перевел дух. Теперь все ребята на той стороне завидовали ему. Чик дал знак Онику идти. Оник продолжал стоять.

— Чик, она все еще смотрит, — сказала Сонька.

— Пусть смотрит, — сказал Чик. — Ну, давай, Оник, — сказал Чик, — шевелись!

Оник тоскливо смотрел на Чика и даже не пытался сойти с места. И вдруг неожиданно для всех, содрогаясь смущенной улыбкой, Лёсик заковылял по тропе.

— Только не упади, только не упади, — забормотала Сонька.

Лёсик мужественно проковылял мимо собаки и подошел к Чику.

— Молодец, Лёсик, — сказал Чик и обнял его.

Лёсик благодарно засопел.

Сразу же за Лёсиком пошла Ника. Она шла, по своей горделивой привычке узко переставляя ноги и всем своим видом показывая, что ее-то собака никогда не посмеет тронуть. Вот богатые, подумал Чик, вечно им кажется, что все должны знать об их богатстве.

Сонька не захотела одна оставаться и взяла Оника за руку. Так, взявшись за руки как малень-

кие, они вдвоем перешли опасное место.

И тут собака, повернув голову и все еще не выпуская кости изо рта, удивленно посмотрела на них. Казалось, она хотела сказать: «Чего это вы тут делали, никак не пойму! Чего-то переговаривались, чего-то переходили по одному? Ни-че-го не понимаю!»

Повеселев от удачного перехода этого опасного места, ребята пошли дальше.

— Я сейчас вспомнила, — сказала Сонька, — я эту собаку на базаре видела.

— Может, она здесь прячется от собачника, — сказал Оник.

— Все может быть, — вздохнул Чик. Напоминание о собачнике всегда портило ему настроение. Видно, от этого собачника никуда не денешься. — Возьми у Соньки банку, — сказал Чик, обращаясь к Онику. Нечего было Онику напоминать ему о собачнике, сам виноват.

— За что? — сказал Оник с обидой.

Чик выразительно посмотрел на него, напоминая, что он струсил. Оник понял его намек, но не принял его за уважительную причину. Чика всегда поражало в Онике равнодушие к вопросам личной доблести. Чик, как и все ребята, изо всех сил старался выглядеть храбрее, чем он был на

самом деле.

Для этого ему нередко приходилось понукать свою упирающуюся храбрость. А Онику и в голову не приходило, что ее надо понукать, пусть себе плетется как-нибудь или даже стоит на месте, если ей так хочется. Вот и теперь он смотрит с обидой на Чика и никак не хочет понять, что хоть как-нибудь должен поплатиться за свое поведение.

— Я платок дал, — напомнил Оник и сам выразительно заглянул Чику в глаза, как бы добавил, что он и деньги сегодня внес в копилку.

— Ничего, Чик, я понесу, — вмешалась Сонька. Она любила, чтобы все было хорошо.

— Ладно, — сказал Чик примирительно.

— Когда мы с папой жили в санатории, — сказала Ника задумчиво, — то там была немецкая овчарка, она из киоска носила в зубах газету.

— Может, скажешь еще, читала, — сострил Оник, повеселев оттого, что ему не пришлось нести эту консервную банку.

— Можешь не верить, — сказала Ника и дернула плечом.

Ребята выбрались на улицу. На гору, где росли мастичные сосны, можно было идти прямой дорогой или в обход. Прямой дорогой можно было

прийти быстрей, но там надо было пройти через поселок, где обычно околачивались «рыжие волчата», как их называли.

Они жили над поселком в одной из двух сталактитовых пещер, которые были на этой горе. В этой пещере они жили вместе с родителями и осликом, на котором ездил по городу и гадал их рыжебородый отец.

Рыжие считали, что это их гора, и они сторожили ее. Городские ребята, поднимавшиеся на эту гору, предпочитали с ними не встречаться. Чик нередко с ними встречался, но тоже предпочитал обойтись как-нибудь без них.

Бывало, сидишь на сосне, напав на хорошее месторождение смолы, соскребываешь ее ножом или гвоздем, вдыхаешь скипидарный запах хвои и смолы и чувствуешь себя счастливым золотоискателем, напавшим на хорошую жилу.

И вдруг настроение начинает портиться. Ты еще не понимаешь, в чем дело, но чувствуешь: что-то тебя беспокоит. Ты озираешься и внезапно замечаешь, что из-под хвои соседнего дерева за тобой следит рыжий волчонок, и, видно, давно следит. Встретившись с тобой глазами, он молча грозит тебе кулаком или, что еще хуже, не обращая на тебя внимания, продолжает за тобой

наблюдать, как будто ты животное или неодушевленный предмет.

Иной раз в таких случаях и удавалось избежать встречи, если рыжий сам напал на хорошее месторождение смолы и ему неохота слезать с дерева. Но если ты почувствовал что-то неприятное и обнаружил, что рыжий сидит под твоим деревом и ожидает тебя, то тут уж, сколько ни сиди на дереве, он все равно дождется тебя.

А если ты слишком засиделся, он просто забирает твою обувь и уходит, раз уж ты, скинув ее под деревом, не догадался припрятать. И ты сам стремглав спускаешься с дерева и догоняешь его.

Тут рыжий заставляет тебя покупать у него мастику, хотя ты поднялся на гору не для того, чтобы ее покупать. А если у тебя нет денег, он отбирает из твоих вещей что ему понравится — перочинный ножик, царский пятак для игры в деньги, кусок свинца для грузила или еще что-нибудь.

А если у тебя нечего отобрать, рыжий может закинуть твои башмаки в самые непроходимые заросли.

— Бобик, ищи! — говорит он при этом.

И ты ищешь, потому что это его гора и он тут делает все, что захочет.

На самые лучшие, самые плодоносные сосны

рыжая команда давно наложила запрет, и никто не смел к ним подойти.

Самый старший из рыжей команды, подросток лет четырнадцати, иногда со своими братьями окружал городских ребят, забравшихся на гору, выбирал из них кого-нибудь поновей и заставлял драться с одним из своих братьев.

Надо сказать честно, что он при этом выталкивал для драки примерно равного на вид волчонка. Но какое уж тут равенство! Чужая гора, чужая молчаливая стая, готовая вот-вот наброситься!

Так что поражение пришельца было неизбежно. Чик это знал. Бывало, если старшему победа казалась слишком быстрой и неинтересной, он кивал на кого-нибудь из рыжиков помладше и говорил:

— А ну, с этим попробуй!

Самый младший рыжик, такой парнишка лет семи, и то, оглядывая городских ребят своими кошачьими глазами, говорил:

— С кем-нибудь подлаться охота…

Конечно, им тоже доставалось, когда они шли в школу или из школы, но тут они были полновластными хозяевами.

Этой весной у Чика было столкновение с одним из рыжиков, но сейчас он не хотел об этом

вспоминать, до того это было неприятное воспоминание.

Одним словом, Чик решил идти в обход. Там тоже было одно довольно сложное препятствие, а именно встреча со щенком волкодава, как его называл Чик. Но делать было нечего, лучше было встретиться со щенком волкодава, чем с этими рыжими волчатами.

Ребята перешли улицу, прошли мимо детдома под прохладной тенью кипарисов, потом завернули на крутую пригородную улицу и вышли на полянку, в конце которой проходила длинная каменная стена. Стена эта подымалась почти до самого гребня горы, где росли сосны, богатые мастикой. По этой стене им предстояло подыматься.

На полянке ребята с соседней улицы играли в футбол. Чик сразу заметил среди них Бочо, и в груди у него неприятно екнуло.

Дело в том, что Чику предстояло с ним подраться. Это было неизбежно. Но Чик предпочел бы подраться где-нибудь в другом месте. Если не удастся на своей улице, то все же лучше было бы возле школы или на углу между их улицами. Но драться здесь, где у Бочо были кругом свои ребята, Чик считал невыгодным и несправедливым.

Поэтому он предпочел бы сейчас как можно незаметней пройти мимо игроков. Но разве дадут!

— Чик, вон Бочо, — сказал Оник простодушно.

— Не твое дело, — прошипел Чик, разозлившись на него за это простодушие. Оник знал, что Чику предстоит подраться с Бочо, но не понимал, что сейчас Чику это невыгодно.

Они уже почти прошли полянку, когда его окликнул Шурик, нервный сын школьной уборщицы.

— Чик, — крикнул он, — вон Бочо, будешь драться?

Чик сделал вид, что не расслышал. Но проклятый Шурик не унимался.

— Бочо, — крикнул он своему голкиперу, — вон Чик, будешь драться?

— Мне что, — ответил Бочо своим сиплым голосом и, понимая неимоверную выгоду своего положения, не удержался от улыбки, — я всегда готов.

Дальше отмалчиваться было невозможно, и Чик остановился. Вся его команда остановилась.

— Мы сейчас идем за мастикой, — сказал Чик внятно и небрежно, — на обратном пути — пожалуйста…

— Подерись, а потом идите, — мирно посове-

товал Шурик.

Этот ехидина знал, что сейчас Чику невыгодно драться. Ему очень хотелось посмотреть, как Бочо поколотит Чика. Чик знал, что, если Бочо победит, Шурик захочет подраться с Чиком, чтобы перерешить давно решенный вопрос, кто из них сильней. Поэтому он так стремился к этому вдохновляющему зрелищу.

Игра остановилась, и все ждали, что будет.

— Какой хитрый, — сказал Шурик, — на обратном пути вы пойдете другой дорогой.

— Нет, — твердо ответил Чик, — раз я сказал, значит, так и будет.

— Или драка, или игра, — сказал хозяин мяча и угрожающе поднял мяч с земли. Он ревновал, что всеобщее внимание от его мяча переключилось на какую-то не слишком вероятную драку.

— Играть, играть! — закричали ребята и стали расходиться по своим местам.

Чик нашел возможным теперь двинуться дальше, не унижая своего человеческого достоинства.

— А что это за москвичка! — крикнул Шурик и под смех ребят изобразил походку Ники.

— Она не москвичка, она на другой улице жила, — сказал Лёсик, не понимая, что Шурик ищет

повода для придирок.

— Притворяется москвичкой, — крикнул Шурик, хотя никто, кроме него, и не говорил, что она москвичка, — красавица южная, никому не нужная…

Чик молча проглотил эти оскорбления, в сущности, направленные против него. Вообще-то появляться среди ребят в обществе двух девчонок, причем одна из них фасонистая, и двух мальчиков, причем один из них еле держится на ногах, а другой хоть и ловкий, но не слишком приспособлен защищать свою честь, было и всегда не очень-то прилично. Но в другие времена эти ребята — вернее, Шурик, а еще вернее, Шурик с их молчаливого согласия — не могли позволить себе такое.

Чик понимал, что авторитет его катастрофически падает. Он решил не откладывать сегодняшнюю драку, чтобы остановить этот обвал престижа.

Чик вспомнил, хотя это было неприятно, с чего все началось. В тот день недалеко от школы, в детском парке, он с одним мальчиком играл в деньги. Они играли в «накидку», так в те времена называли эту игру. Смысл ее состоял в том, что с определенного места игроки бросали свои пята-

ки на столбик монет, стоящий на каком-нибудь плоском камне. Чей пятак упал ближе, тот первым разбивает этот столбик.

Вокруг Чика и этого мальчика, когда они подходили расшибать монеты, образовалось кольцо из любопытствующих ребят. Среди них были Шурик и один из рыжиков.

В разгаре игры Чик обычно сильно волновался. На этот раз он особенно сильно волновался, может быть, потому, что денег на кону было больше, чем обычно. Два раза, когда на кону стоял сочный столбик серебристых монет, Чик выигрывал право первому расшибать этот сладостный столбик. Оба раза от волнения он промахнулся. Оба раза пятак его в миллиметре от столбика стукнул ребром по земле. И оба раза после того, как он промахивался, в напряженной тишине раздавался тихий смех какого-то мальчика.

Чик чувствовал, как неприятно покалывает его этот смех, но из самолюбия и поглощенности неудачей он не обращал внимания на то, кто именно смеялся.

И вот когда третий раз он получил право первым расшибать столбик монет и, страшно волнуясь и думая все время о том, что ему, после того как промахнулся два раза, теперь промахи-

ваться в третий раз никак нельзя, он прицелился дрожащей рукой, как бы предчувствуя, что обязательно промахнется, ударил изо всех сил и в самом деле промахнулся. Даже еще хуже. Пятак, ударившись рядом, задел столбик монет, и он мягко, гармошкой повалился набок, так и не перевернувшись ни одной монетой.

И тут в третий раз раздался тихий презрительный смех. У Чика в глазах что-то поплыло. Почему-то всегда это называют кругами, но Чик не уверен, что это были именно круги. Скорее это были какие-то остроугольные фигуры.

Теперь Чик разглядел смеющегося. Это был рыжик. Он сидел на корточках совсем близко. Чик, не разгибаясь, со всей силой дал ему по стриженой голове бреющий удар. По боли, ошпарившей ладонь, Чик почувствовал, что он его очень крепко ударил.

Рыжий схватился за голову и стал медленно подыматься, не сводя с Чика ненавидящих глаз. Чик почувствовал тревогу и на всякий случай тоже встал на ноги.

Чик не собирался с ним драться. Чик был чуть ли не на голову выше, старше его и сильней. Это было ясно всем, в том числе и рыжему. Все еще держась за голову, он смотрел на Чика горящими

глазами волчонка. Потом он слегка покосился в сторону своей горы, но она была далековато, и помощи ждать оттуда было бессмысленно. Здесь он был один.

И все-таки он ринулся на Чика. Несколько смущенный, Чик отбросил его, и по легкости, с которой рыжий отлетел, он еще раз почувствовал, насколько сам он сильней его.

Но не тут-то было. Рыжий с еще большей яростью набросился на него, и Чику ничего не оставалось, как вступить в драку.

Чик дрался, все время чувствуя какую-то неловкость, потому что это была очень неравная драка. Он каждый раз, когда они сцеплялись, пытался отбросить его, но тот со свирепостью, свойственной всей рыжей команде, лез, и лез, и лез на него. В общем, получилась какая-то кошмарная драка. Все время чувствуя неравенство сил, Чик сдерживал себя и от этого действовал как-то нерешительно, неуклюже. Он все время думал о зрителях и старался им показать, что он дерется не в полную силу.

Но рыжий этого не замечал. Он только чувствовал, что раз противник не побеждает, значит, должен победить он. Покряхтывая и урча от кровожадного упоения, он вновь и вновь бросался

на Чика, не сводя с него желтых ненавидящих глаз. Чику даже как-то стало не по себе. Он даже почувствовал некоторые панические признаки еще отдаленной усталости. Он как-то слишком упустил его вперед, как-то слишком развил в нем волчий аппетит к драке, покамест сам ковырялся в обороне.

В это время один из ребят постарше, игравших в парке на детском бильярде, подбежал к ним и, схватив рыжего в охапку, приподнял над землей.

Рыжий стал яростно барахтаться у него в руках, стараясь вырваться, а парень этот, посмеиваясь, продолжал держать его в воздухе, а Чик стоял рядом и не знал, что ему делать.

— Иди-ка ты отсюда, — сказал он Чику, чувствуя, что даже ему не так-то просто удержать рыжего волчонка.

Чик, понурясь, пошел. Не успел он пройти и десяти шагов, как услышал за спиной какие-то крики. Чик быстро обернулся, решив, что рыжий вырвался и мчится за ним.

Рыжий и в самом деле вырвался, но бежал совсем в другую сторону, а за ним мчался паренек, который держал его. Оказывается, рыжий укусил его и убежал.

Тем и закончилась драка. Но почему-то с этого

дня началось падение его авторитета. На следующий день в школе разнеслась весть, что один из рыжиков, да не старший и не следующий, а тот, что поменьше Чика, излупцевал его в парке да еще укусил взрослого парня, который якобы пытался Чику помочь.

Старший рыжик на одной из перемен, поглаживая своего братца по голове, кивнул на проходящего Чика и стал что-то рассказывать ребятам, окружавшим его. Чик мог представить, что он там рассказывал, тем более что маленький рыжик в это время нагло и весело посматривал в сторону Чика и все время кивал головой: дескать, все так и было, как мой брат рассказывает.

Чик мрачно, с деланной независимостью ходил по школьному двору. Он считал унизительным доказывать, что этот маленький наглец не мог его победить. Также он считал постыдным требовать свидетельских показаний от очевидцев драки.

Главное, всем так хотелось, чтобы победил маленький рыжик, что тут ничего нельзя было доказать. По глазам маленького рыжика было видно, что он и сам поверил в свою победу. В ближайшие дни он уже без старшего брата показывал на Чика и, по-видимому, рассказывал о своей победе.

Некоторые ребята из других классов приходили посмотреть на Чика, побежденного маленьким рыжиком. Один даже принял за Чика самого большого мальчика из их класса, до того ему хотелось порадоваться разнице между Чиком и маленьким рыжиком.

Чик чувствовал, что людей, охваченных жаждой сотворения мифа, невозможно остановить. Он это точно чувствовал, хотя и не знал, что это так называется. Зато он знал, что очутился в глупейшем положении. Пошатнулось стройное здание годами отработанных оценок. Начался сложный и утомительный процесс переоценки ценностей. Шурик стал дерзить, а Бочо при встрече с ним как-то двусмысленно улыбаться.

Шурик и раньше несколько раз бунтовал, но Чик сравнительно легко ставил его на место. Шурик вместе с матерью жил в одной из школьных полуподвальных комнат. У них над головой весь день звенел школьный звонок. Чик считал, что Шурик от этого нервный и даже слегка психованный.

Чик относил Шурика к числу тех ребят, которые знают, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем другое. Как это ни странно, Чик чувствовал, что эта общая черта их не сближает,

а, наоборот, отдаляет друг от друга. Чик чувствовал, что именно из-за этого они недолюбливают друг друга.

Хотя Шурик не был сильным мальчиком, связываться с ним никто не любил.

Во-первых, он поторговывал чистыми тетрадями, даже глянцевые тетради, в то время великая редкость, у него бывали. В трудную минуту к нему можно было обратиться. Разумеется, продавал он их гораздо дороже, чем они стоили.

А во-вторых, и это главное, из-за его нервности. Распсиховавшись, он в драке мог огреть противника чем попало. Но это-то как раз Чика и не страшило. По домашнему опыту обращения с дядей Колей Чик знал, как с такими людьми надо себя вести.

«Ах, ты психованный? Так я еще психованней!» — вот как надо было с такими людьми себя вести. По этому правилу взрослые мужчины в доме Чика не раз смиряли дядю Колю, когда он, чаще всего в жару, начинал бузить. Шурик прекрасно знал, что Чик не даст ему спуску из-за его психованности, и поэтому сдерживал свою психованность.

Но авторитет Чика начал падать, и было похоже, что Шурик собирается снова помериться

силами с Чиком. Ясно было, что при этом он не будет сдерживать свою психованность, а прямо спустит ее с цепи.

В мае этого года, когда ребята большой компанией купались в море, случилось страшное — у Чика пропали трусы. Так как девчонок поблизости не было, а в мокрых, хотя и выжатых трусах ходить еще было холодно, все купались голые. И вот, когда Чик вышел из воды, обнаружилось, что у него исчезли трусы.

Чик сначала решил, что кто-то подшутил и вскоре трусы возвратят. Но никто трусы не возвращал, и Чик стал волноваться. Сначала он перекопал весь берег, думая, что их зарыли в прибрежную гальку, но трусов нигде не оказалось.

Чик не на шутку разволновался. Он подозревал, что это дело рук Шурика, но ничего доказать не мог. Шурик сидел тут же и, холодно сочувствуя, делал различные предположения. Трусы могли украсть какие-нибудь хулиганы. Чик страшно растерялся и, что скрывать, разревелся. Путь к дому был отрезан.

Сейчас все разойдутся, а он голый останется на берегу.

К счастью, Оник оказался преданным и сообразительным другом.

— Ты посиди тут, — сказал он, — а я сбегаю домой и возьму у твоей мамы трусы.

— Нет, — сказал Чик, чувствуя, что сама мысль плодотворна, — она подумает, что я утонул. Лучше ты дай мне твои трусы, я их дома сменю и принесу.

— А если отец тебя заметит в моих трусах и решит, что я утонул, знаешь, какой шухер будет? — сказал Оник, уже заранее зная, что Чик его все равно уговорит.

Тут Чик уверил Оника, что отец его никак не может заметить Чика, потому что домой он возвратится не через калитку, а через речку и огород.

Чик так и сделал. Он бежал всю дорогу, немного стесняясь слишком ярких трусов Оника. За квартал от дома он спустился в речку, добрался до огорода и уже стремглав, как ошпаренный, перелетел через двор, вбежал домой, вытащил из шкафа чистые трусы, переоделся в них и тут почувствовал полное счастье безопасности. Никто ничего не заметил. Чик свернул трусы Оника и, сжав их жгутом, выскочил на улицу.

— Оника не видел? — окликнул его Богатый Портной.

Чик на радостях забыл, что он вечно торчит

на балконе. От неожиданности Чик спрятал за спину руку со свернутыми трусами. По-видимому, знакомый цвет того, что Чик сжимал в руке, чем-то смутно напомнил ему Оника.

— А это что прячешь? — кивнул головой Богатый Портной.

— Ничего, — сказал Чик и тут уже по-настоящему испугался. Чик представил гнев Богатого Портного, если б тот узнал в руке у Чика трусы Оника, каким-то таинственным образом отделившиеся от хозяина.

В это время со двора вышел Алихан и уселся на крыльце Богатого Портного. Богатый Портной посмотрел на Алихана. Алихан посмотрел на Богатого Портного, а потом на Чика, не понимая, что их соединяет.

— Значит, не видел Оника? — снова спросил Богатый Портной и пытливо заглянул в глаза Чика.

— Не видел, — ответил Чик, стараясь твердо глядеть на Богатого Портного. Руки он продолжал держать сзади.

— Что-то хитришь, но что — не пойму, — сказал Богатый Портной.

— Ничего не хитрю, — ответил Чик.

— А что такое, — сказал Алихан и поднял голову, — я видел Оника.

— Ты иди, иди, — сказал Богатый Портной и сделал вид, что перестал интересоваться Чиком.

Чик сразу же понял его хитрость. Он подумал, что сейчас Чик повернется спиной и он увидит, что у Чика в руке. Чик не стал поворачиваться, тем более ему интересно было узнать, как и где Алихан мог видеть Оника.

— Где он? — спросил Богатый Портной у Алихана, делая вид, что совсем не следит за Чиком.

— Только что во дворе пробегал, — сказал Алихан.

Чик быстро повернулся и, прижав руку с трусами Оника к груди, побежал.

Как он мог видеть Оника, когда Оник сейчас сидит на берегу, думал Чик радостно, мчась по улице. И, только завернув за угол, Чик вдруг догадался: так это он меня принял за Оника! Чику стало еще веселее, и он бежал до самого моря, напевая песенку вроде дяди Коли и шлепая трусами Оника по своим голым ногам.

Тогда все обошлось прекрасно, и Чик позже, вспоминая этот случай, с благодарностью думал про Оника и с затаенной обидой про Шурика.

Чик так и не узнал, куда делись его трусы. Но одно то, что он мог подумать на Шурика, а мог подумать потому, что Шурик к этому времени так

себя вел, что было вообразимо, что он мог это сделать, говорило о степени падения его престижа.

Да, теперь надо было обязательно подраться с Бочо, несмотря на невыгодные условия.

Чик никогда с Бочо не дрался. Бочо ему всегда нравился. Бочо был такой добродушный, такой лупоглазый коренастик. За эту коренастость да еще сиплый-пресиплый голос Чик его уважал. У него был такой сиплый голос, что те, кто слышал его в первый раз, думали, что он так говорит, потому что никого на свете не боится, а никого на свете не боится, потому что у него старший брат самый сильный парень в городе. На самом деле у него никакого старшего брата не было, просто у него был такой голос от природы.

По какому-то необъяснимому чутью Бочо без драки признал, что Чик его несколько превосходит в силе. Чик это признание чувствовал и в благодарность за то, что тот избавил его от довольно утомительного доказательства, так же молча обещал не пользоваться этим превосходством и уважать его независимость.

Но с тех пор как Чик перенес эту несчастную драку с рыжиком да еще потерял на берегу трусы, все пошатнулось. Бочо при встрече с ним стал блудливо улыбаться, и значение этой улыбки

Чик прекрасно понимал. А означала она одно — что, собственно говоря, превосходство Чика ничем не доказано и Бочо готов посмотреть, как Чик его еще будет доказывать.

Ребята подошли к железным решетчатым воротам, почему-то всегда закрытым на замок. Там, за воротами и каменной стеной, на склоне горы рос огромный фруктовый сад с яблоками, грушами, мушмулой, маслинами.

По слухам, до революции здесь жил какой-то важный князь. Но во время революции его свергли, и он куда-то исчез. Чик почему-то представлял, что после того, как его свергли, он покатился вниз по склону горы.

Чик слыхал, что после того, как исчез князь, маслины в его бывшем саду перестали плодоносить, хотя расти продолжали. Остальные фрукты продолжали плодоносить, а маслины перестали. Они остались преданными князю.

Чик вообще никогда не любил маслины из-за того, что они какие-то горькие да еще соленые. Он считал это каким-то уродством. Если ты фрукт — ты должен быть сочным и сладким. А если ты не сочный и не сладкий, какой же ты фрукт!

Чик чувствовал какую-то связь между тем, что он не любил маслины, и тем, что они остались

преданными князю и не хотели плодоносить, хотя совсем засохнуть почему-то тоже отказывались. Тогда высыхайте совсем, если вы такие, сердито думал о них Чик, очистите место для наших фруктов!

Чик про эти маслины часто думал. Иногда он считал, что их надо вырубить или сжечь, раз они такие упрямые. Да, сжечь, как сожгли дом князя во время революции.

Эти маслины смущали его душу своей бессмысленной преданностью. Чик считал, что преданность может быть только среди наших, что для врагов это слишком красивое занятие — быть преданным. Но такими уж они уродились, и с этим ничего нельзя было сделать. Главное, что князь никогда не вернется. Чик это точно знал, а они продолжают быть преданными, и от этого их обреченная преданность как бы делается еще преданней и еще трогательней.

Чик никак не мог взять всего этого в толк и не любил вспоминать о маслинах. Но все равно иногда это само лезло в голову, и Чик ничего с этим не мог поделать.

Но сейчас Чик об этом не думал. Он просто вспомнил мимоходом про маслины, которые растут за стеной в саду, и тут же забыл. Сейчас

ему было все равно, кому там они преданы или не преданы. Сейчас его занимали более близкие вещи, а главное, предстоящая драка с Бочо в невыгодных для него условиях.

Недалеко от ворот, возле стены, возвышался зеленый холмик, взобравшись на который можно было легко перейти на стену. Ребята влезли на зеленый холмик.

— Всем разуться! — приказал Чик и сам первым разулся.

Чик положил сандалии на гребень стены и быстро влез на нее. Стена была горячей от солнца и с непривычки слегка обжигала подошвы ног.

— Оник, — сказал Чик, — будешь подсаживать Лёсика, а я буду его сверху тянуть.

Лёсик наклонился и грудью уперся в стену. Он снизу смотрел на Чика виноватым взглядом, как бы прося прощения за свою неловкость. Чик взял его за шиворот, покрепче уперся ногами, чтобы ступни почувствовали неровности кромки стены и вцепились в них. Оник подсел под Лёсика, уперся головой ему в зад, и они одновременно потянули его наверх и плашмя взгромоздили на стену.

После этого Лёсик сам постепенно собрался и встал.

— Ну как? — спросил Чик.

— Ничего, — ответил Лёсик, смущенно улыбаясь, и кивнул на ноги, — только жжет.

— Это пройдет, — сказал Чик, — меня и то жгло.

Оник одним прыжком, упершись руками в кромку стены, поднялся на нее. Он вообще был очень ловким, и Чик это в нем ценил. Девочки тоже быстро взобрались на стену, а Ника даже не сняла своих тапочек. Правда, резиновые тапочки цепко держали ее на гребне стены, но Чик считал, что она нарочно не сняла, чтобы не подчиняться его приказу.

Чик решил, что он будет боком идти впереди и придерживать Лёсика одной рукой, а за Лёсиком будет идти Оник и подстраховывать его.

— Ника, возьмешь Лёсикины сандалии, — сказал Чик, обернувшись.

— Фи, — сморщила Ника свой маленький нос, — мне неприятно, пусть Соня несет.

Чику обычно нравилось, как она морщит свой нос. Она так забавно его морщила, что Чику каждый раз, когда она его морщила, хотелось слегка щелкнуть его. Но сейчас ему это не нравилось.

— Сонька и так банку несет, — сказал Чик, раздражаясь на себя за то, что ему нравится, как она

морщит нос, — а из-за твоей походки над нами смеются.

— Смеются дураки, — ответила Ника, — а мой папа считает, что у меня красивая походка.

Она стояла на стене в своем желтом сарафане и белых тапочках, легкая, независимая, а главное, нисколько не благодарная за то, что ее взяли в поход.

— Знаешь как ты надоела со своим папой, — сказал Оник, обернувшись.

Он ничего не знал о судьбе ее отца. Никто из ребят, кроме Чика, ничего не знал о судьбе ее отца.

— А ты знаешь, как надоел со своим Богатым Портным, — ответила Ника.

— Сейчас ка-ак сандалией заеду, — сказал Оник, — сразу очутишься в саду.

— Только попробуй, — сказала Ника и нагло посмотрела на Оника своими хотя и синими, но темными от густоты цвета глазами. Глядя ей в глаза и прислушиваясь к ссоре, Чик вдруг подумал: оказывается, богатые не так уж любят друг друга. Чику почему-то было приятно, что богатые не выступают единым фронтом. Но сейчас, на стене, эта ссора была ни к чему.

— Не надо спорить, — сказала Сонька, — я возьму.

Она протянула руку и взяла у Лёсика его сандалии.

— Хорошо, пошли, — сказал Чик. Он считал, что сейчас спорить здесь, на стене, неуместно. Они стали медленно подниматься вверх. Боком идти было неудобно, и Лёсик как-то не в лад время от времени с какой-то опасной силой неуклюжего человека дергал Чика за руку. Не успели они пройти и десяти шагов, как вдруг с полянки раздался голос Шурика.

— Лёсик, а-ста-рож-на, упадешь! — пропел он гнусаво.

Лёсик, как всегда, обернулся на голос и так дернул Чика за руку, что Чик чуть не слетел со стены.

— Чего ты смотришь, когда они дразнят! — заорал он не своим голосом.

Чик даже вспотел от страха. Он страшно разозлился на Шурика за его подлое напоминание, а заодно разозлился и на Лёсика.

— П-привычка, — сказал Лёсик и улыбнулся от смущения.

— Дурацкая привычка, — бормотал Чик, постепенно успокаиваясь.

Они двинулись дальше, и тогда с полянки раздался еще раз голос Шурика.

— Идите, — крикнул он, — там вам рыжие покажут!

В это мгновение Чик окончательно и бесповоротно решил на обратном пути подраться с Бочо. Другого выхода нет, отрезал Чик всякие сомнения, а то совсем на голову сядут. Окончательность решения вдруг успокоила Чика, и он сосредоточил внимание на дороге.

Идти боком по стене, придерживая одной рукой Лёсика, даже Чику было неудобно, а Лёсику и подавно. В конце концов Лёсик засопел и остановился.

— Я сам, — сказал он Чику, заглядывая ему в глаза и стараясь понять, не оскорбил ли его этим решением.

— Хорошо, — сказал Чик, — я тебя буду страховать.

Чик, осторожно обняв Лёсика — при этом он почувствовал, как напряжено его тело, — отошел назад. Теперь Лёсик шел впереди. Сделав шаг одной ногой, он слегка подволакивал другую.

— Вниз не смотри, — сказал Чик, — смотри только вперед.

Слева от стены шел каменистый косогор, а справа росли деревья мушмулы, из-за которых почти не видно было склона. Иногда ветки муш-

мулы нависали над стеной, и Чик просто так, для разнообразия дороги, нагибал какую-нибудь ветку и потом отпускал. Ветка шуршала своими большими ушастыми листьями.

Урожай мушмулы давно собрали, но Чик иногда встречал на некоторых ветках желтые, сморщенные плоды, которые не заметили сборщики. Теперь, среди лета, они переспели и подсохли, и Чик знал, что они сейчас сладкие как сахар. Но они висели слишком высоко, чтобы достать до них. Все же смотреть на них было приятно, и Чик не забывал хотя бы мельком оглядеть каждое дерево.

— Если хочешь, я понесу банку, — неожиданно предложила Ника.

Казалось, все это время она раздумывала, не унизит ли ее такое предложение, и теперь решила, что можно.

— Ничего, — вздохнула Сонька, — я уж донесу.

Вдруг Чик заметил впереди ветку, усеянную свежей, только что поспевшей мушмулой. Ветка эта проходила слишком высоко, хотя и нависала над стеной.

Чику очень хотелось достать до нее, и он стал вглядываться, как бы это сделать. Он заметил, что эта плодоносная ветка скрещивается с другой

веткой, которая проходит над ней. А эта другая ветка сама имеет маленькую ветку, которая не идет вверх, как основная, а тянется к стене, хотя и не дотягивается.

Чик сообразил, что если дотянуться до нее и раскачать, то она передаст свои качания большой ветке, от которой она ответвляется, а та, большая, постепенно передаст качания ветке с мушмулой, потому что они перекрещиваются, и она сверху будет давить на нее.

Чик вытянулся в сторону сада и с трудом дотянулся до самого крайнего листика этой ветки. Чик только двумя пальцами сумел дотянуться до него. Но все-таки он его ухватил этими двумя пальцами и стал осторожно и сильно тянуть листик и вместе с ним ветку на себя. Чик знал, что у мушмулы крепкие листья, но все-таки он мог оборваться, и Чик тянул его осторожно. Он старался так его тянуть, чтобы между тем местом листика, за который он держался, и тем местом ветки, за которое держался сам листок, как бы проходила прямая линия. Чик давно заметил, что, если так тянуть листик или тоненькую ветку, они делаются достаточно прочными. Почувствовав мгновение, когда он сможет дотянуться до ветки другой рукой, Чик вытянул ее и, одновременно

бросив листик, цапнул ветку. Все получилось так, как и ожидал Чик. Он раскачал эту ветку, а она постепенно раскачала плодоносную, и, когда та достаточно низко опустилась, Чик схватил ее.

Здесь было еще больше плодов, чем он ожидал. И главное, все они, парные и одиночки, были свежие и сочные, как в начале лета. Чик догадался, что тогда эту ветку пропустили, потому что плоды на ней были совсем зеленые.

— Ой, Чик! — восторженно завопила Сонька, увидев, какое богатство им привалило.

— Рвите, — хозяйственно сказал Чик, пригибая ветку как можно ниже.

Лёсик неуверенно взялся одной рукой за ветку, а другой потянулся к мушмуле. Оник тоже схватился за ветку и сильно дернул ее в свою сторону.

Чику это показалось похоже на то, как телок, дотянувшись до вымени коровы, нетерпеливо дергает за сосцы. Чик отчасти сам почувствовал себя этой коровой, которую дергают за сосцы.

— Чик, а у меня руки заняты! — крикнула Сонька и от нетерпения даже слегка подпрыгнула.

— Давай банку, — сказала Ника, протягивая руку.

— Спасибо, Ника, — сказала Сонька и передала

ей банку. Заодно она положила у ее ног и свои и Лёсикины сандалии. Все трое держались руками за ветку и сами живой гроздью повисли на ней, срывая мушмулу, чмокая нежными водянистыми плодами и далеко выплевывая большие, вроде каштанов, и скользкие, как у арбузов, косточки. Несколько минут только и слышен был шорох разгребаемых листьев, чмоканье и кряхтенье.

Вдруг Лёсик посмотрел на Чика и показал глазами на Нику. Чик совсем забыл о ней. Сейчас на лице у нее было то задумчивое и смешное выражение, какое бывает у женщин, которые делают вид, что только что вышли из открытой, быстро мчащейся машины. В крайнем случае — из коляски мотоцикла.

Голова слегка закинута, а ресницы помаргивают, словно продолжают сбивать потоки встречного воздуха, режущего глаза. Сейчас это было особенно смешно, потому что она держала в оттопыренной руке старую консервную банку.

— А ты что? — спросил Чик.

Ника вздрогнула и посмотрела на него.

— Я не люблю, — сказала она, вздохнув.

Чику показалось, что она сейчас вспомнила своего папу.

Ветка быстро пустела. Чик изо всех сил ее со-

гнул и достал хорошую, спелую двойчатку.

— На, — протянул он ее Нике.

— Я не люблю, — повторила она и замотала головой, хотя глаза с любопытством оглядели ярко-желтые плоды.

— Раз Чик дает, значит, бери, — вразумительно сказала Сонька и, взяв у Чика двойчатку мушмулы на коротенькой ветке, передала ее Нике. Та взяла двойчатку, как цветок, и даже слегка примерила ее к своему желтому сарафану.

— Двойняшки, как Лёсикины братья, — сказал Оник, мельком взглянув на подарок и снова берясь за ветку.

Лёсик расплылся в улыбке и засопел. Чик с любопытством посмотрел на Нику, чтобы узнать, как она восприняла эту остроту. Но Ника никак не восприняла эту остроту. Скорее всего она ей даже не понравилась, потому что она слегка пожала плечами: мол, ничего похожего или смешного.

Когда один богатый острит, оказывается, другой его не обязательно поддерживает, подумал Чик, как всегда стараясь сделать вывод из своих наблюдений над жизнью богатых.

— Бросаю ветку, — предупредил Чик и, дождавшись, чтобы Лёсик ее отпустил, сам разжал пальцы. С облегченным шелестом ветка маха-

нула вверх.

Чик почувствовал, что рука его ноет от долгого держания сопротивлявшейся ветки.

Ребята пошли дальше. Теперь солнце прикрывалось дубовыми деревьями, росшими слева от стены, и прохлада ее приятно холодила подошвы ног. В одном месте колючие плети диких роз перекинулись через стену, и проходить здесь было очень трудно — можно было уколоться.

Чик с Оником с трудом перетащили Лёсика через это коварное место.

Каждый раз, когда Лёсик собирался ступить, Чик показывал ему, куда ставить ногу, а иногда, наклонившись, раздвигал плети, потому что неловким ногам Лёсика нужно было побольше свободного места.

Ника, наклонившись в середине этого колючего ковра, усеянного по обе стороны от стены розоватыми цветами, сорвала один цветок, не останавливаясь, вдела его в волосы и пошла дальше. Она так наклонилась и так сорвала розу, словно вся эта заросль нарочно, дожидаясь ее, наползла на стену и расстелилась у ее ног. И розу она сорвала так, как будто всем розам сделала одолжение: мол, раз уж все вы меня просите, я, пожалуй, одну сорву.

«Вот богатые! — подумал Чик, изумляясь. — Им кажется, что все вокруг только и думают, как бы им получше угодить». И не такой уж глупой оказалась привычка узко переставлять ноги, как раз с такой привычкой легко по стенам ходить.

Стена подошла к домику на горе. Здесь надо было слезать, переходить через дворик, а там сразу начинался гребень горы, где росли сосны, богатые мастикой.

Это был маленький деревянный домик с чистенькими окнами, с открытой верандой, с палисадничком, в котором росли на высоких кустах садовые розы — красные, белые и желтые, до того похожие на масло, что хотелось их намазать на хлеб.

Снизу к зеленому дворику подымалась настоящая каменная лестница с широкими площадками и каменными скамейками. Лестница была неимоверной длины и, как догадывался Чик, доходила до самых железных ворот, откуда они начинали свой подъем по стене.

Самое удивительное было то, что Чик здесь ни разу не встретил ни одного живого человека. Так что домик этот можно было считать заколдованным.

Единственным живым существом, которое

здесь всегда встречало Чика, был щенок волкодава.

Чик открыл этот путь к сосновой роще этой весной. С тех пор он здесь бывал пять или шесть раз. И каждый раз щенок волкодава набрасывался на Чика, требуя, чтобы Чик с ним поиграл.

То ли оттого, что он скучал по людям, то ли оттого, что он все-таки был щенком волкодава, играя, он увлекался и начинал очень больно кусать Чика.

Чик понимал, что он играет, но щенок не понимал, что, играя, надо кусать послабее, а если Чик пытался показать ему, что он на него злится, щенок начинал кусать еще сильней, думая, что Чик нарочно предлагает ему более дерзкую игру. Хотя Чик привыкал к этой боли, но все равно было очень больно.

К тому же за эти два-три месяца щенок здорово вырос, и, как замечал Чик при каждой встрече, его играющая челюсть все крепче хватала Чика. Может, он думал, что Чик с такой же быстротой растет или привыкает к боли? Но Чик рос куда медленнее щенка волкодава, а привыкать к боли ему было неохота. Так или иначе, выхода не было. Приходилось терпеть его игры до самой калитки, ведущей в сосновую рощу.

То, что во дворе этого дома жил щенок волкодава, не мешало Чику думать, что домик волшебный или заколдованный. Мешала думать бельевая веревка, протянутая вдоль веранды, на которой висели прищепки, похожие на птичек, сидящих на проводе. Чик, конечно, понимал, что здесь живут люди, но он никак не мог понять, почему их никогда не бывает дома.

Рядом со стеной росло дерево инжира-скороспелки, или, как его еще называют, птичий инжир. Одна ветка этого инжира подходила к самой стене.

Если ухватиться за нее и несколько раз перебрать руками, можно смело спрыгивать во двор.

Но сейчас Чик не спешил спрыгивать во двор, потому что дерево было усеяно мелкими черными плодами инжира. Чик еще не спешил потому, что оттягивал встречу со щенком волкодава. Но сам себе Чик в этом не признавался.

— Сбрасывайте обувь, — сказал Чик, оглядывая дерево, — а мы с Оником полезем за инжиром.

Сандалии посыпались вниз.

— А банку можно? — спросила Сонька.

— Можно, — разрешил Чик и, ухватившись за ветку, повис на ней.

Он несколько раз перебрал руками, дошел

до ствола, закинул ногу на ветку, за которую держался, зацепился за нее коленом и, слегка раскачавшись в таком положении, ухватился рукой за другую ветку, после чего, подтянувшись, выполз на первую ветку.

— Чик, может, лучше пойдем, пока нет волкодава? — сказала Сонька.

— Ха, — усмехнулся Чик, тяжело переводя дыхание, — от щенка волкодава никуда не уйдешь!

Сам Чик много раз надеялся, пока не видно щенка волкодава, незаметно перейти двор, но ему это никогда не удавалось. Чик пришел к выводу, что щенок нарочно не показывается, покамест кто-нибудь не очутится во дворе.

Потому что, если щенок покажется, когда человек стоит на стене, тот еще, чего доброго, раздумает спрыгивать во двор. А если уж спрыгнул, то тебе ничего не остается, как поиграть со щенком.

Оник вслед за Чиком залез на дерево, но сделал это гораздо легче Чика.

Чик знал, что он ловчее его, и уж с этим ничего нельзя было поделать.

Они заняли две ветки, нависавшие прямо над стеной. Здесь было полным-полно инжира. Птичий инжир не такой крупный и сочный, как

садовый, но зато гораздо слаще.

Чик дотянулся до очень спелого темно-лилового инжира со слегка одрябшей от спелости кожицей, нежно крутанул его на ветке, чтобы не раздавить плод.

Издав тукающий звук, инжир очутился у него в ладони.

Сонька, Лёсик и Ника снизу, со стены, следили за ним. Чик осторожно поднес инжир ко рту.

— Ну как? — облизнувшись, спросила Сонька. Чик еще и не донес инжир до рта, когда она это спросила. Чик отодвинул руку ото рта недоумевающим жестом, показывая на смехотворную поспешность ее вопроса. Все рассмеялись, а Сонька, застыдившись, опустила голову.

— Мировой, — сказал Чик, пожевывая хрусткую, сахаристую мякоть инжира.

Плодов на дереве было много, и Чик с Оником успевали сами есть и бросать товарищам. Лёсик чуть не свалился со стены, пытаясь поймать брошенный инжир, и Чик строго запретил ему ловить инжир. Инжир шлепался в широко растопыренный Сонькин подол. Ника сначала отказывалась его есть, но потом, попробовав, так разохотилась, что Чик даже не успевал бросать.

— Чик, я уже съела! — кричала она, словно

собиралась обрадовать его этим.

Вот они, богатые, думал Чик, слегка раздражаясь, сперва они отказываются есть птичий инжир, а потом кидать не успеваешь, да еще они требуют, чтобы ты радовался их аппетиту.

Чику сначала было приятно, что ей понравился птичий инжир, но потом, когда она стала просить, не соразмеряя возможности Чика срывать инжир со своими возможностями отправлять его в рот, он стал злиться на нее.

Все же инжира на дереве было так много, что все наелись, и уже даже Сонька стала очищать с него кожуру. Чик предупредил, чтобы кожуру бросали только на ту сторону, а то хозяева узнают, что они здесь делали.

— Чик, а где хозяева? — поинтересовалась Сонька, наевшись, как бы благодарная хозяевам за их долгое отсутствие.

— Я их не видел, но они есть, — сказал Чик и, мгновенно повиснув на ветке, спрыгнул вниз. Чик почувствовал, как у него тяжело бултыхнулся живот, когда он спрыгнул, до того он наелся инжиру. За Чиком спрыгнул Оник. Сонька и Ника повисли на ветке и, перебрав несколько раз руками, чтобы быть поближе к земле, благополучно спрыгнули на землю.

Щенок волкодава нигде не показывался, и Чик стал надеяться, что на этот раз, может, и в самом деле обойдется. Теперь оставался Лёсик. Чик и Оник должны были его поддержать, когда он повиснет на ветке.

— Как только я скажу: раз! два! три! — бросай ветку! — приказал ему Чик.

Лёсик уныло слушал его, стоя на стене, и губы его уже начинали расплываться от смущения. Чику это не понравилось. Раз Лёсик улыбается, значит, не верит в благополучный исход.

— Давай, — взбадривал его Чик, — у тебя же руки сильные.

Лёсик ухватился обеими руками за ветку, но оторвать ноги от стены никак не решался. Главное, он слишком близко от стены ухватился руками, а надо было как можно дальше, где ветка потолще. Чик знал, что инжир очень слабое, ненадежное дерево.

— Подальше! Подальше! — крикнул Чик, но Лёсик неожиданно опустил ноги и как-то грузно и ненадежно закачался на ветке.

— Перехватывай! Перехватывай! — крикнули все в один голос. Ветка угрожающе заскрипела, и Лёсик продолжал качаться, словно оглох. Чик и Оник стояли под опасно раскачивающимся

телом Лёсика, и Чик видел его лицо с выпученными глазами, с дурацкой улыбкой до ушей. Чик вытянул руку, чтобы, ухватившись за его ступню, хотя бы остановить это дурацкое покачивание.

Только он его схватил за пятку, как Лёсик — видно, ему стало щекотно — рухнул на них всем своим беспомощным и потому грузным телом.

Чик только успел почувствовать неимоверную тяжесть, и они все втроем покатились под косогор. Не успели они остановиться, как Чик услышал вопль девочек и радостный визг щенка волкодава, бросившегося на Чика. Он ухватился зубами за его штаны и, мотая мордой и радостно повизгивая, стал тянуть его с невероятной энергией. Чик даже не мог понять, чего он хочет: то ли с Чика стянуть штаны, то ли самого Чика стащить с Оника и Лёсика, на которых он лежал. Кстати, Лёсик и тут, лежа под Чиком и Оником, продолжал смущенно улыбаться.

Чик удивился, с какой мощью тянет его щенок волкодава, как он быстро взрослеет и как хорошо, подумал Чик, что сам я пошел в поход не в трусах, а в этих крепких, хотя и коротких штанах.

— Бегите к выходу! — героическим голосом крикнул Чик, давая щенку стащить себя с Оника и Лёсика и тем самым показывая, какая свирепая

борьба ему предстоит. — Не забудьте сандалии! — крикнул Чик, давая щенку уволакивать себя вниз по косогору. Отталкиваясь руками от земли, Чик слегка помогал ему.

— Не забудем! — крикнула Сонька и стала собирать обувь.

Лёсик и Оник уже вскарабкались до подножия инжира. Им оставалось перебежать ровную травянистую площадку двора.

— Не бойтесь, я его задержу! — крикнул Чик голосом, преодолевающим неимоверную боль. Оник и ковыляющий за ним Лёсик уже пробегали мимо дома. — Не забудьте банку! — крикнул Чик предсмертным голосом.

Оник остановился, понимая, что ему придется возвращаться.

— А где она? — спросил он у Чика.

Это прозвучало довольно глупо. Можно было подумать, что Чик валяется себе на траве, а не сопротивляется свирепому натиску щенка волкодава. Чик успел бросить на Оника такой взгляд, что тот быстро отыскал банку и побежал в сторону калитки.

«Ах, ты не столько играешь со мной, сколько с ним разговариваешь?!» — прорычал щенок и, бросив штаны, с кровожадной радостью ухватил

Чика за щиколотку.

Чик давно этого ожидал. И то хорошо, что столько времени успел у него выиграть. Теперь надо было, продолжая схватку и этим отвлекая щенка волкодава, неуклонно двигаться в сторону калитки.

Сжав зубы от боли, Чик слегка подтянул ногу, которую держал юный волкодав. Щенок зарычал, делая вид, что ему мешают грызть вкусную кость. Чик осторожно встал на ноги, чувствуя теплую тяжесть его головы на своей ступне.

В самом деле, это был рослый щенок пепельного цвета, с большой мордой и тяжелыми лапами. Чик слегка двинул ногой, чтобы почувствовать меру сопротивления, когда придется бежать.

Сейчас главное было одолеть подъем и выбежать на ровную площадку двора.

Двинув ногой, Чик почувствовал, до чего тяжел щенок и как ему трудно будет бежать от него.

«Добычу отбирают, надо крепче за нее держаться!» — прорычал щенок, как только он двинул ногой, и, перехватив челюсть, удобней взялся за щиколотку.

Одновременно с этим он одним глазом хитро посмотрел на Чика, давая знать, что это он нарочно так прорычал, чтобы играть было инте-

ресней. Он предлагал Чику делать вид, что Чик у него отбирает добычу. Ничего себе, делать вид, подумал Чик, когда ты так больно держишься за мою ногу.

Чик наклонился и слегка щелкнул его по уху ладонью.

«Не отвлекай меня, — прорычал щенок, — знаешь, какую вкусную кость я грызу».

Еще бы не знать, подумал Чик с раздражением. Он наклонился и теперь посильнее щелкнул его по уху.

«Ах так», — тявкнул щенок и прыгнул, пытаясь схватить Чика за руку.

Чик успел отдернуть руку и изо всех сил побежал вверх по косогору. Он успел выбежать на лужайку двора, когда щенок его догнал.

— Чик, беги сюда! — закричали в один голос ребята и замахали руками.

Они стояли по ту сторону штакетника и оттуда в полной безопасности следили за ним.

— Вам хорошо! — успел крикнуть Чик, когда щенок догнал ею и снова ухватился за ногу. Сгоряча, превозмогая боль, Чик проволочил его несколько шагов, но боль стала до того нестерпимой, что Чик упал.

Все-таки, несмотря на боль, он мог бы и не

упасть, но так выглядело героичней, а Чик это любил. К тому же он надеялся, что щенок отпустит ногу и схватится за штаны и тогда можно будет без всякой боли проволочиться с ним до калитки. Но щенок за штаны не ухватился, и Чику пришлось, чтобы дать отдохнуть ноге, сунуть ему в пасть кисть руки.

Все-таки щенок был не очень умный. Как он ни кусал Чика, как ни терзал его своей свирепой игрой, одного он никак не мог понять, что Чик при всем при этом движется к своей цели. И когда Чик, хлопнув калиткой, очутился по ту сторону забора и, протянув руку между планками штакетника, прикрыл калитку щеколдой, щенок вдруг обо всем догадался и заскулил. С него сразу слетела вся свирепость.

«Ну, Чик, ну, пожалуйста, ну поиграй еще немного», — жалобно скулил щенок и вилял хвостом. Чик отряхнулся и, посмотрев на щенка, укоризненно покачал головой. Он ему дал знать, что если щенок будет еще так кусаться, то Чик вообще прекратит с ним всякие игры.

Щенок жалобно смотрел на Чика, но тут у самой его морды заструилась большая усатая бабочка с красными в черных пятнах крыльями.

«Ну и не надо!» — мотнул щенок головой и,

одновременно щелкнув зубами, хотел поймать бабочку, но та мягко отпрянула в воздухе, и страшная пасть захлопнулась возле нее. Щенок от удивления вытаращил глаза и даже облизнулся, чтобы убедиться, что это летает не другая бабочка, а та же самая: до того он был уверен, что защелкнул ее пастью. Раздраженный сплошными неудачами (то Чик не захотел с ним поиграть, то эта бабочка не захотела попадать ему в пасть), он бросился за ней. Бабочка не спеша струилась в воздухе, и щенок, догоняя ее, несколько раз щелкал зубами, но та каждый раз слегка сдувалась в сторону и лениво мерцала над лужайкой двора.

Наконец щенок ей надоел, и она залетела за косогор. Щенок добежал до края лужайки и остановился. Больше он в сторону ребят не оборачивался. Он сделал вид, что залюбовался открывшимся ему пейзажем. На самом деле, как догадывался Чик, он стыдился своей неловкости и не хотел показывать своего смущения.

Ребята вышли на гребень горы. Весь гребень и склон были покрыты сосновыми и более редкими кедровыми деревьями. Под ногами пружинила скользкая прошлогодняя хвоя. Отводы сосен прозрачно краснели, словно какой-то пламень просвечивал изнутри. Пахло разогретой смолой,

земляной сухостью и далеким морем.

Город, рыжея ржавыми крышами, красиво вытянулся вдоль дуги залива.

Большой пароход с красной каймой на трубе подходил к пристани, оставляя за собой длинный, почему-то не расходящийся след.

— Корабель! Корабель! — закричал Оник.

— Не корабель, а корабль, — поправил его Чик. Чик не любил, когда какие-нибудь знакомые слова неправильно, непривычно произносили. Сейчас Чику показалось, что красивый, стройный корабль как-то скособочился оттого, что Оник его неправильно назвал.

— А мы с папой и с мамой на пароходе в Батум ездили, — сказала Ника.

Никто ее не поддержал, и она замолкла.

— Чик, — спросил Лёсик, — отчего в городе столько ржавых крыш?

— Не знаю, — сказал Чик, — наверно, от дождя.

— Красиво? — спросил он у Лёсика через несколько мгновений, не дождавшись его восторгов. В сущности, если как следует вдуматься, может быть, Чик для того и тащил сюда Лёсика, чтобы через его восхищение снова порадоваться самому. Так всегда бывало интересно. Когда ты к чему-нибудь хорошему уже привык, а другой

только что это видит или узнает и начинает изумляться, тогда и тебе становится как-то приятно.

— Здорово, — сказал Лёсик и, благодарно взглянув на Чика, засопел.

— Это еще что, — сказал Чик, раскрывая несметность своих сокровищ, — здесь начинается первое селение.

— Здесь, где стоим? — переспросил Лёсик и стал наивно осматриваться, словно ища пограничный знак между городом и деревней. Он никогда не был в деревне.

— Вообще на этой горе, — пояснил Чик.

Лёсик еще более благодарно засопел и уважительно оглядел гору, хотя никакого селения здесь не было.

Они снова залюбовались своим городом. Отсюда все было видно как на ладони: и зеленое поле стадиона, и базар, и школу, в которой они учились, и их собственный дом с торчащим над крышей зеленым копьем кипариса.

Соньке даже показалось, что она видит на балконе Богатого Портного с утюгом. Но это, пожалуй, было преувеличением. Сам балкон можно было заметить, но увидеть на нем Богатого Портного, да еще с утюгом, было невозможно, потому что все сливалось со стеной.

— Я и то не вижу, а ты видишь, — обиженно сказал Оник.

Чика всегда охватывала какая-то странная грусть, когда он издалека, с горы, смотрел на свой дом. Чик никак не мог понять, отчего ему становится грустно, и даже пытался думать об этом.

Ему чудилось, что он когда-нибудь навсегда расстанется со своим городом, и то, что он на него сейчас смотрит как бы со стороны, было похоже на то, как он его будет вспоминать издалека, совсем из другого города, откуда он не сможет, как сейчас, спуститься к нему. От всего этого Чику становилось немножко грустно и немножко важно.

Были видны прямые улицы города, по которым быстрыми жучками проползали машины и совсем медленно плелись фаэтоны. Вдруг Чику показалось, что на одной улице промелькнула колымага собачника. Может, Чик и ошибся, но в груди у него что-то екнуло, и сразу же перестало быть немножко грустно и немножко важно, а стало как-то тоскливо. А вдруг Белочка сейчас на улице?

Чик понял, что никогда-никогда он не будет себя чувствовать полностью счастливым, пока этот собаколов существует в городе.

— Пора собирать мастику, — сказал Чик, чтобы

делом перебить тоскливое состояние.

Было решено, что он и Оник залезут на сосны, а остальные будут искать мастику у подножия других деревьев. Чик предупредил, чтобы они далеко не разбредались и громко не разговаривали, чтобы не привлекать внимания рыжих.

Кроме того, Чик показал на четыре самых толстых сосны, считавшихся личной принадлежностью рыжих, и приказал даже не подходить к ним, чтобы не давать им повода к придиркам.

Чик ходил под соснами и, оглядывая стволы от подножия до самых вершин, старался определить, есть ли выход хорошей смолы. Иногда его можно было просто увидеть, а иногда о его существовании можно было догадаться по тоненькой струйке засохшей смолы, стекающей откуда-то сверху. И если ручеек достаточно свежий, можно было надеяться, что наверху выход смолы еще никем не тронут.

Чаще всего смола выступала на трещинах ствола или на местах с ободранной корой. Получалось так, что если на дереве ранка, то почти обязательно там есть скопление смолы. Может быть, думал Чик, дерево этой смолой лечится от ран?

Чик остановился возле сосны, которая показалась ему подходящей. Во всяком случае, на

верхней развилке ствола Чик заметил желтоватую высохшую полоску, похожую на след, который остается на поверхности кастрюли, когда молоко перебежит через край.

Здесь росли сосны какой-то особой породы, в отличие от тех, которые Чик видел в других местах. Они были очень ветвисты, и ветки начинались довольно близко от земли.

Все же добраться до первой ветки не так-то просто! Чик снял сандалии и, не видя поблизости никаких кустов, зарыл их в прошлогоднюю хвою подальше от своего дерева. Он подошел к своему дереву и оглянулся на холмик, куда зарыл сандалии, при этом он старался смотреть на него с той степенью проницательности, на которую способен посторонний взгляд. Ничего, получилось не очень заметно.

Чик решительно плюнул на ладони и, обхватив ногами и руками скользкий, шелушащийся ствол, стал карабкаться по нему. До первой ветки надо было пройти всего метра три, но, пока Чик взобрался на нее, он весь вспотел, а грудь, и живот, и ладони, и ступни нестерпимо горели от трения о скользкий шелушащийся ствол. Кто думает, что влезть на сосну легкое дело, пусть сначала попробует, а потом говорит.

Чик, тяжело дыша, уселся на ветку, осторожно снял майку и вытряхнул из нее набившиеся туда чешуйки коры. Те, которые прилипли к потной коже живота и груди, он отковырял руками, а те, которые прилипли к спине, стряхнул майкой, шлепая ею, как полотенцем. Чик знал, что, если сейчас не отодрать эти чешуйки, тело будет здорово чесаться.

Передохнув и снова надев майку, Чик полез выше. Он дошел до развилки и заглянул в нее. Там был довольно широкий, но небогатый выход мастики.

Мастика была желтая и покрывала дно развилки, как корочка сливок дно кастрюльки, если уж от сравнения с этой кастрюлькой некуда деться. Вообще-то Чик очень любил сливки, и те, которые бывают на поверхности кастрюли с молоком, и особенно те, которые можно ложкой соскребать со дна. К тому же он уже не прочь был поесть чего-нибудь, вот ему и мерещились сливки из кастрюли с молоком.

Чик уселся на ветке возле развилки. Прежде чем приступить к делу, посмотрел вниз и по сторонам. Соньки и Оника нигде не было видно. Зато он увидел Нику. Ярко выделяясь своим желтым сарафаном, она стояла возле толстого багрового

ствола сосны и соскребывала с него смолу. А может, просто любовалась снующими по стволу муравьями. Сверху трудно было разглядеть.

Чик подумал, что это довольно красиво получается, если кто-то в желтом сарафане стоит возле толстого красного ствола сосны. Но тут он вспомнил, что это как раз один из тех запретных стволов, на которые он им показывал. А она теперь, может, назло подошла к этому стволу. Вот богатые, подумал Чик, для них любой запрет нипочем, они даже с рыжими не считаются.

По дрожащей в разлад с ветерком вершине одной из сосен Чик догадался, что на ней сидит Оник. Высоко взобрался Оник, этого у него не отнимешь. То, что есть, — есть.

Открыв перочинный ножик и упершись грудью в одну из веток развилки, Чик выскребал из нее смолу и клал в маленький газетный кулек. С приятным шелестом сухие кусочки смолы сыпались в бумагу. Там, где были свежие выходы, смола была вязкая, и Чик, отодрав ее лезвием, счищал ее в кулек, с наружной стороны для упора подставив ладонь.

Чик выскреб углубление в развилке, смял кулек, чтобы из него ничего не высыпалось, и положил его в карман. Потом он почистил лез-

вие перочинного ножа о ствол, защелкнул его и ножичек сунул в карман. Чик решил, прежде чем слезать с дерева, воспользовавшись высотой, как следует оглядеть соседние деревья.

Оглядывая соседние деревья, Чик подымался все выше и выше. На самой вершине, уже опасно покачиваясь, Чик снова оглядел окружающие сосны, но нигде ни одного стоящего выхода смолы не обнаружил. И вдруг он случайно бросил взгляд на тоненькую ветку возле себя и обмер.

Белый с желтыми прожилками самородок величиной с кулак висел на ней как сказочный плод. Чик даже и не слыхал никогда, чтобы на такой тоненькой ветке образовался такой мощный самородок.

Ветка покачивалась под тяжестью Чика, и вместе с ней покачивался самородок. Чик испугался, что самородок может сорваться и, рухнув, разбиться на мелкие кусочки. Больше не раздумывая, он потянулся к нему и, почти не веря, что все это происходит наяву, оторвал его от ветки. Самородок целиком, чисто оторвался от ветки. Он был сух и приятно увесист.

Сильно волнуясь, Чик перенес его в левую руку, правой залез в карман, вытащил кулек и осторожно вложил его туда. Сразу наполнившийся

кулек Чик снова положил в карман.

Продолжая волноваться, Чик стал слезать с дерева. Слезая, он все время думал, что раз ему так повезло, обязательно что-нибудь случится. Не может быть, чтобы ничего не случилось, раз ему так повезло. От волнения у него дрожали руки и ноги. Один раз нога соскользнула с ветки, на которую он стал, но Чик все еще крепко держался руками, так что он сумел найти ноге более устойчивое положение.

Начинает случаться, подумал Чик, но все-таки решил не сдаваться судьбе.

Он решил ее перехитрить. Он слезал очень быстро и очень осторожно. Быстро — чтобы судьба не успела придумать что-нибудь очень коварное, а осторожно — чтобы она не могла использовать его быстроту.

Дойдя до последней ветки, он повис на ней, потом обхватил ногами ствол, потом отпустил одну руку и обхватил ею ствол, потом, быстро отпустив вторую руку, ухватился за ствол с другой стороны и, шурша шелухой ствола, обжигая живот и ноги, полетел вниз.

Очутившись на земле, Чик очень удивился и обрадовался, что еще ничего не случилось. Но тут он вспомнил про сандалии и испугался, что

их незаметно унес кто-нибудь из рыжих. Ведь сверху он не мог следить за этим холмиком.

Ну да, подумал Чик уныло, потому-то, наверное, ничего не случилось.

Было обидно, что, оказывается, не он перехитрил судьбу, а просто она изменила способ мести. Все же он подбежал к месту, где он закопал сандалии, и быстро ногой разметал хвою.

Вот это да! Сандалии целехонькие лежали там, где их положил Чик. Чик теперь окончательно поверил, что с ним ничего не случится.

Чик вытряхнул сандалии и огляделся. Ему было очень хорошо, так легко, весело. Лёсик и Сонька вместе стояли возле одной сосны и собирали мастику прямо в банку. Чик махнул им рукой, чтобы они подошли к нему.

— Что случилось, Чик? — закричала Сонька издали. Чик хлопнул себя ладонью по лбу, показывая, что раз она так громко кричит в роще, где их могут услышать рыжие, значит, она идиотка. Бедные тоже бывают с придурью, подумал Чик мельком.

Сонька и Лёсик подошли к нему.

— Их нигде не видно, Чик, — уже преувеличенным шепотом сказала Сонька.

— Так ты их и увидишь, — сказал Чик, вынимая

из кармана кулек.

— Ой, Чик, какая здоровенная! — воскликнула Сонька восхищенно.

— Тише, тише, — сказал Чик миролюбиво, хотя на этот раз голос ее был такой же громкий, как и раньше. Но если человек в первый раз в жизни видит такое чудо, как ему удержаться?!

— Можно понюхать, Чик? — спросила она.

— Конечно, — сказал Чик и поднес кулек к ее носу.

— Пахнет, как роза, — сказала Сонька, внюхавшись, и даже чмокнула языком.

Возможно, она имела в виду самую пышность запаха, а не его качество.

— При чем тут роза? — сказал Чик, несколько оскорбленный нелепостью сравнения.

Чик сразу же стал думать, почему ей пришел в голову запах розы, а не какой-нибудь другой. Наверное, решил Чик, она хотела сказать, что мой самородок имеет самый лучший запах, а так как самый лучший запах считается у розы (Чик считал это предрассудком), вот она и сравнила.

— Чик, можно, я переложу его в банку? — не угоманивалась Сонька.

— Подожди, — сказал Чик, к ним подходили Оник и Ника.

Лёсик долго сопел над самородком, нюхая его.

— Пахнет мастикой, — наконец сказал он.

— А ты хотел, чтобы чем? — язвительно спросил Чик. Простота Лёсика, как и слишком пышное сравнение с розой, не понравилась Чику. — Дело не в запахе, а в породе, — спокойным голосом владельца счастья объяснил Чик, — такой большой кусок белой мастики очень редко попадается.

— Давай запомним место, — сказала Сонька, — а в следующий раз ты снова сорвешь его здесь.

Чик не стал ей отвечать, потому что это было слишком глупо. Ждать самородка на этом же месте было все равно что ждать самое красное яблоко или самую крупную грушу на той самой веточке, на которой они висели с прошлом году.

— Посмотрите, что Чик нашел! — крикнула Сонька, увидев приближающихся Оника и Нику. Гордясь за Чика, она присоединилась к нему, она как бы сказала им: смотрите, чего добилась наша пара, а чего добились вы?

Оник и Ника шли рядом, и Чик, оглядев их, подумал, рассеянно ревнуя: уж не целовались ли они? За Оника-то он был спокоен, но черт-те что Нике могло взбрести в голову. Может, она вспомнила того мальчика из санатория.

Интересно, сколько бы она теперь пальцев

оттопырила?

— Где нашел? — спросил Оник и, взяв в руки самородок, понюхал его.

Ника тоже, наклонившись, понюхала. Всем казалось, что самородок должен пахнуть чем-то особенным.

— На этом дереве, — сказал Чик и с удовольствием рассказал, как все было.

— Чик, можно, я буду его нести? — сказала Ника и высыпала свою добычу с ладони в банку. Она мастику собирала прямо в ладонь.

— Как хочешь, — сказал Чик и пожал плечами.

— Я первая хотела нести, Чик, — жалобно сказала Сонька и посмотрела на Чика.

— Он будет в банке, — решил Чик.

Все высыпали свою добычу в банку, а сверху положили самородок. Теперь все хотели нести банку с мастикой, но Чик решил, что правильней всего, если ее будет нести Сонька.

— Кто ее тащил из дому, тот и будет нести, — сказал Чик. — А теперь к роднику.

Вспомнив о роднике, все почувствовали жажду и стали быстро к нему спускаться. Родник был расположен ниже по косогору, там, где кончалась роща и начинался открытый склон, местами поросший зарослями папоротника, кустами сас-

сапариля и ежевики.

На этом же склоне, только ниже и левее, в одной из сталактитовых пещер жили рыжие волчата вместе со своими родителями и осликом, которого они на ночь загоняли в пещеру.

— Этот самородок знаете на что похож? — неожиданно сказала Ника.

— На что? — спросила Сонька.

— На горный хрусталь, — сказала Ника задумчиво.

Чик почувствовал, что у нее начинаются воспоминания.

— Это что еще за горный хрусталь?! — спросила Сонька, понимая, что Ника как-то пытается умалить ее победу. Чик тоже ничего не слышал про горный хрусталь. Он только знал одно: как только начинают говорить про богатых, то обязательно вспоминают, что у них хрусталь и драгоценности.

— Когда папа танцевал в Батуме, то мы ходили в музей и видели там горный хрусталь и другие полудрагоценные камни, — сказала Ника.

— Фу-ты! — сплюнул Оник. — А я думал, что это она так долго не вспоминает про своего полудрагоценного папу.

Все рассмеялись, потому что это было смешно,

учитывая, что никто из них ничего не знал о ее папе. Всем казалось, что она все время хвастается своим папой. Чик хоть и не рассмеялся, но почувствовал какую-то приятность, услышав слова Оника. Сначала он даже не мог понять, откуда эта приятность.

Ах да, потом догадался Чик, раз он так сказал, значит, они не целовались.

— У нее папа — великий танцор, — напомнил Чик, — мне дядя говорил…

Оник хмыкнул. Сонька незаметно пожала плечами, но возразить никто не посмел. Если уж Чик призывал в свидетели дядю, возражать ему было трудно и даже опасно.

Родник был расположен в маленькой ложбинке под маленьким каменистым обрывчиком. Кто-то давным-давно обложил его камнями, чтобы он не осыпался и не мелел.

Ребята набросились на родник — кто став на колени, кто лежа на животе и опираясь грудью и руками о мокрые камни, тянули и тянули ледяную воду. И только бедняга Лёсик почему-то не мог дотянуться ртом до воды и стал пить, набирая ее в ковшик ладони. Но и ладонь у него протекала, такой уж он был неловкий.

— Сонька, ты будешь на вассере стоять, — ска-

зал Чик, утираясь и тяжело передыхая после вкусного водопоя. Он чувствовал, что этим скучным занятием сейчас никого не займешь, кроме нее. Всем хотелось смотреть, как будет вариться мастика.

— Почему всегда я? — захныкала Сонька. — Я и банку несла всю дорогу.

— А кто нес самородок? — напомнил Чик.

Сонька опустила голову.

— Если рыжие нас здесь застанут, все пропало, — сказал Чик, давая знать Соньке, что теперь от нее зависит вся их судьба.

Сонька молча повернулась и вышла из ложбинки на косогор.

— Не стой там, — крикнул Чик вполголоса, — а то увидят! Смотри из-за куста.

Сонька неохотно присела за куст. Когда кто-нибудь что-то делает недобровольно, подумал Чик, он всегда пытается небрежностью отомстить тем, кто его заставил это делать. Чик это и по себе знал.

— Несите сухие ветки, — сказал Чик и стал сооружать из камней очаг.

Через несколько минут ребята нанесли столько сухих веток, что можно было не то что мастику сварить, а целого баранчика зажарить. Чик

подсунул сухую хвою между камнями, сверху наломал тонких веточек, а потом наложил ветки покрупнее.

Он поставил на камни банку с мастикой, проверил, крепко ли она держится на камнях, а потом, вынув из кармана спичечный коробок, чиркнул спичкой и поднес огонь к сухой хвое. Она вспыхнула и затрещала. Поднялся клуб дыма, сильно запахло смолой. Ребята сидели вокруг огня и следили за тем, что происходит. Ника и Лёсик вообще впервые видели, как варится мастика. На дне коробки зашипела подтаивающая смола, как масло на сковородке.

— Начинается, — сказал Оник.

— Пусть меня сменит кто-нибудь, — напомнила о себе Сонька.

Чик ничего не ответил ей, даже не оглянулся. Он стал помешивать прутиком в банке.

— Чик, она все время сюда смотрит, — сказал Лёсик.

Он понимал, что только им и захотят заменить Соньку, если придется. Он хотел, чтобы удлинили время ее дежурства за счет его плохого качества.

Смола в банке постепенно расплавлялась и закипала. Самородок Чика подтаивал и оседал. С каждой секундой он делался все меньше и

меньше. Чик беспрерывно помешивал прутиком в банке, чтобы там поменьше комочков оставалось.

Продолжая помешивать, он сорвал несколько стеблей папоротника, росшего у ручья, смял их, чтобы потом можно было ухватиться за горячую крышку консервной банки.

— Приготовиться, — сказал Чик Онику и Нике.

Теперь Чик, щурясь от едкого дыма, все быстрее и быстрее помешивал кипящую массу, чтобы не подгорало на дне и не осталось ни одного нерастаявшего комочка. От самородка ничего не осталось, но Чик не жалел об этом, он знал, что его находка придаст всей мастике серебристый оттенок.

— Уже и то как вкусно пахнет, — сказал Лёсик, с удовольствием внюхиваясь в запах кипящей смолы.

Ника и Оник, присев на корточки над самым ручейком, растянули платок, держа его за углы.

— Чик, пора, — сказал Лёсик, боясь, что кипящая масса мастики перебежит через край.

— Должна три раза взойти, — сказал Чик важно, слегка приподымая банку и снова ее опуская на огонь. — Учись, как варить мастику.

— Хорошо, — сказал Лёсик и польщенно за-

сопел.

После третьего всхода розовой кипящей и пузырящейся массы Чик, покрепче обхватив крышку комком папоротника, осторожно приподнял банку, поднес ее к растянутому над ручьем платку и постепенно вылил содержимое в платок, стараясь попасть в середину. Платок грузно осел.

— Крутите быстрей, — сказал Чик.

Оник и Ника приподняли и свели края платка так, чтобы мастика никуда не выливалась.

— Чик, жжется, — сказала Ника.

— Подожди, — сказал Чик и, отбросив банку, осторожно взял у нее края платка.

Чик и Оник одновременно в разные стороны закручивали свои концы платка, стараясь, чтобы пылающая, расплавленная масса смолы оставалась в середине, а не затекала за края. Наконец они сжали ее в тугой аппетитный узел.

— Теперь все, — сказал Оник.

— Никуда не денется, — добавил Чик.

Чик и Оник, изо всей силы докручивая концы платка, сжимали и сжимали тугой комок с мастикой, пока золотистая, как мед, струйка не просочилась сквозь платок и не стала стекать на дно ручья.

— Идет! Идет! — крикнул Лёсик, пораженный

впервые увиденным сотворением мастики.

Чик и Оник продолжали крутить платок, чтобы не дать остыть расплавленной смоле. Золотистый холмик, закручиваясь, поднимался со дна ручья.

— Рыжий! — неожиданно вскрикнула Сонька. Все обернулись к ней. — Правда, правда, — повторила Сонька, испуганно закивав головой.

— Ничего, — сказал Чик, докручивая. Дело было сделано, и теперь одна минута ничего не решала. Они докрутили платок, и Чик, с трудом разодрав слипшийся платок, посмотрел внутрь. Там оставался комок выжимки с кусочками древесины и хвои. Этот грязный комок ненужных веществ сам по себе радовал его взгляд как свидетельство чисто сделанного дела. Чик бросил платок в огонь. Теперь он ни на что не годился. Платок пыхнул и в несколько секунд сгорел. Оник странно посмотрел на свой исчезающий платок.

— Пойду посмотрю, — сказал Чик и поднялся на край ложбинки. Он улегся рядом с Сонькой и стал выглядывать из-под куста.

— Вон там, — кивнула Сонька на кусты сассапариля и ежевики. Это было метрах в пятидесяти от родника.

Чик всмотрелся в кусты, но ничего подозрительного не заметил.

— Может, показалось? — спросил Чик.

Рядом с ним шмякнулся Лёсик. Оник и Ника тоже залегли за кустом.

— Честное слово, — сказала Сонька, — два раза голова выглянула.

— Хоть бы я увидела этих рыжих, — шепнула Нина. Она училась совсем в другой школе и ни разу рыжих не видела.

— На вид они обыкновенные рыжие, — сказал Лёсик.

— Ха, на вид! — усмехнулся Чик, показывая, что ничто не может быть столь обманчивым, как внешность рыжих.

Несколько минут ребята всматривались в кусты сассапариля и ежевики, но так ничего и не увидели. Вдруг вершина одного из кустов шевельнулась.

— Вон! Вон! — шепнула Сонька.

— Ну и что? Ветер, — сказал Оник, все же вполголоса.

И вдруг сразу из-за кустов появилась рыжая голова. Она со звериной осторожностью посмотрела вокруг себя и на несколько мгновений задержалась, повернувшись в сторону родника.

— Учуял, — не то удивленно, не то испуганно выдохнул Лёсик.

Голова рыжего отвернулась. Теперь она не скрывалась в кустах. Он протянул руку и, сорвав молодой побег сассапариля, отправил его в рот.

Вернее, отправил в рот кончик побега и, жуя, постепенно втягивал в рот весь стебель. Потом он снова обернулся в сторону родника и, перестав жевать, замер, прислушиваясь, Стебель продолжал торчать у него изо рта.

— У них нюх, как у волков, — сказал Оник шепотом.

— Их так и называют — рыжими волчатами, — пояснила Сонька для Ники, гордясь этой хоть и опасной, но все же необычайной достопримечательностью своего края города.

Рыжий все еще смотрел в сторону родника. Но вот стебелек, торчавший у него изо рта, шевельнулся, потом задвигалась челюсть, и он, не меняя позы, вобрал в рот весь побег. Видно, что он совсем успокоился, потому что снова повернул голову, выискивая глазами свежие побеги сассапариля.

— Я не знала, что их едят, — сказала Ника.

— Еще как, — сказала Сонька, — мама даже на базаре их покупает и готовит с орехами.

Теперь рыжий больше не оборачивался. Он стоял и мирно пасся в кустах.

Иногда, фыркнув, громко выплевывал косточки от ягод. Видно, ягоды он поглощал вместе с побегами, когда они ему попадались. Даже не отделяет ягоды от листьев, с восхищением подумал Чик.

— Потихоньку назад, — сказал Чик. Ребята немного отползли от куста и, встав на ноги, вернулись в ложбину.

— Они что, дикие, что ли? — спросила Ника.

— Полудикие, — сказал Чик, окуная руки в ручей и вынимая оттуда уже остывшую и почти затвердевшую массу мастики. Чик помял ее в ладонях, вытянул колбаской, разделил, отметив ногтем пять равных частей, и сказал Онику: — Кусай!

Оник откусил первым, а потом все остальные. Теперь все с удовольствием жевали мастику, сплевывали накапливающуюся слюну, вынимали изо рта, мяли в руках, и, когда сгибали ее упругую массу, она на сгибе делалась золотистой и нестерпимо блестела.

— Чик, а ты говорил, она белая будет? — спросила Ника.

— Потом побелеет, — сказал Чик, жуя.

— Теперь за ягодами, чтобы пузыри пускать, — сказал Оник.

Ребята загасили костер, поливая его водой из банки. Закинули банку в кусты, разбросали камни самодельного очага, чтобы поменьше следов оставалось для рыжих. Потом углубились в рощу, так и не замеченные рыжими. Там, в начале рощи, тоже было одно место, где росли кусты сассапариля. Чик и Оник хорошо знали это место.

— Неужели из-за этих ягод мастика будет делать пузыри? — спросила Ника, когда они подошли к зарослям сассапариля.

— Еще как! — в один голос сказали Оник и Чик. Они стали рвать красные и зеленые ягоды сассапариля величиной с чернику. Расколов ягоду зубами, они выплевывали плодик, а потом соскребали зубами тончайшую пленочку вокруг косточки. После этого косточка тоже выплевывалась, а пленочка вжевывалась в мастику. Достаточно было вжевать десяток пленочек, как мастика делалась даже на прикус упругой, как резина.

— Какая нежная, — сказала Ника, сняв пальцем с кончика языка зеленовато-прозрачную пленку.

Первым выдул пузырь Оник. Чик не спешил. Чик продолжал жевать. Надо ее как следует разжевать, чтобы пузыри делались крупными и достаточно громко лопались.

— Я одного не пойму, — сказала Ника, — кто первым догадался, что надо сдирать пленочку, чтобы пузыри получались?

Чик даже перестал жевать, до того он поразился этому вопросу. Ему самому это не раз приходило в голову. Он никак не думал, что это и ей может прийти в голову, да еще с первого раза.

— Сам не знаю, — сказал Чик.

Это в самом деле невозможно было понять, кто догадался первым соединить мастику с этой пленочкой.

— Так делают все с незапамятных времен, — сказала Сонька.

— Тогда кто догадался первым до незапамятных времен? — спросила Ника.

— Первобытные люди, — сказал Оник и выдул пузырь. Все посмотрели, какой у него получится пузырь. Пузырь у него получился хороший, величиной с персик.

— Первобытные люди мастику не жевали, — сказал Чик, дождавшись, когда лопнет пузырь.

— Тогда кто? — спросил Оник, слизывая языком кусочки мастичной пленки, оставшейся на губах от лопнувшего пузыря. Он посмотрел на Чика с выражением тусклого любопытства к вечности.

— Не знаю кто, но только не первобытные лю-

ди, — сказал Чик.

Он был уверен, что первобытные люди мастику никогда не жевали. Тем более пузырей не пускали. Вообще лучше было об этом не думать. Это могло навести на мысли о началах и концах вообще. Чик не любил этих мыслей, но они иногда сами приходили, и от них некуда было деться.

Чаще всего они приходили на закате, в хорошую погоду, в теплое время года. Кроме того, Чик заметил, что в городе они приходили к нему гораздо реже, чем в деревне. Но и в городе приходили, если вдруг на улице встречалась похоронная процессия, или вечером возле моря, или днем где-нибудь в таком месте, как сейчас.

В таких случаях Чик с нежной печалью думал о непонятности строения Вселенной. Вот, например, наша планета, думал Чик, с ее горами, зелеными долинами, теплыми морями — это понятно, это хорошо. А вот дальше идут звезды, а за этими звездами другие звезды, а за другими звездами еще другие неведомые звезды. Ну а дальше что? То, что некоторые звезды на самом деле планеты, на которых, может быть, есть жизнь, служило очень слабым утешением.

А что дальше, дальше что? Вот что было непостижимо. Если Вселенная имеет конец, то что

за этим концом? А если она его не имеет, то как это представить? Да и как это может быть, чтобы какое-то расстояние длилось, длилось, длилось и никогда, никогда не кончалось?

Душа Чика ни конца Вселенной не могла принять, ни отсутствия этого конца. Вот что было удивительно. И Чик, когда об этом думал, заранее понимал, что ни один из взрослых ему не ответит на этот вопрос. Ведь ответ взрослого мог бы означать одно из двух: или есть бесконечность, или есть конец. Но Чик никак не мог принять такую бессмысленность. Может быть, есть что-то третье, но что?

И еще вот что было удивительно. Сначала об этом думалось с нежной печалью, даже как-то сладко-сладко становилось. Так бывало, когда в школе решаешь задачу и чувствуешь, что идешь по правильному пути. Значит, думая об этом, вспоминал Чик, я решаю какую-то нужную задачу и иду по правильному пути, поэтому сначала хоть грустно, по грусть приятная. Но потом я чувствую, что решение уходит куда-то и я не могу найти ответа, и тогда становится тоскливо.

В такие минуты Чик ругал себя за то, что стал думать об этом, до того ему делалось тоскливо. Но не думать он уже не мог. Он и думал и тос-

ковал по бездумью. Если это было в деревне, он тосковал по беззаботной городской суете, где ни дети, ни тем более взрослые об этом не думают. Хорошо им там не вспоминать об этом, с завистью думал Чик и хотел туда, в город, в родной двор, в забвение суеты. Тоска эта доводила Чика до ощущения какого-то космического сиротства, особенно если его не прерывали или тем более не звали на ужин.

Если же звали на ужин, в первые минуты Чик, входя в кухню, никак не мог взять в толк, как это все эти мужчины и женщины, его родственники, могут говорить о каких-то шнурометрах табака, о каких-то там бригадирах, которые вечно чего-то там недоприписывают? Как это можно обо всем этом говорить, когда еще не решен вопрос, где конец Вселенной и как он может быть вообще?

Но потом постепенно у веселого очажного огня, кусая пахучий кусок вяленого мяса, дуя на горячую мамалыгу, Чик чувствовал с некоторым легким смущением, как его тоска быстро улетучивается куда-то и он теперь с удовольствием вслушивается во взрослые разговоры. А думал он в такие минуты, вспоминая о началах и концах, но не чувствуя их, что потом когда-нибудь додумает это.

Поэтому Чик и сейчас, чтобы случайно не задуматься об этом, решил приняться за пузыри. Он как следует помял в руках мастику, сунул обеими руками расплющенный комок в рот, вытянул его языком, стараясь нигде не придавить, убрал язык и дунул в образовавшийся мешочек. Пузырь получился неплохой, но все-таки у Оника он был гораздо крупней.

Теперь все делали пузыри, и они то и дело лопались. Ника сразу же научилась делать пузыри, у нее был длинный, ловкий язык. У бедняжки Лёсика и пузыри получались кривобокими, потому что у него язык плохо ворочался. Но за этот день он столько увидел и столького достиг, что можно было им гордиться.

Так думал Чик, с удовольствием гордясь им и тем самым гордясь собой.

Все-таки кто бы взял такую обузу, как Лёсик, думал Чик, мысленно пробегая по рядам знакомых ребят с их улицы или из школы, и все они малодушно или презрительно отворачивались от Лёсика. А вот я взял, думал Чик, поглядывая на Лёсика с отцовским умилением. Взял, хотя будет очень трудно на обратном пути громоздить его на стену. Ничего, думал Чик, как-нибудь взгромоздим, зато он всю жизнь будет помнить этот

поход за мастикой.

Ребята пошли обратно и снова вышли к таинственному домику, во дворе которого жил щенок волкодава. Щенок сидел посреди двора и грыз кожаную тапку. Он не обратил на них внимания, хотя они подошли к самому забору.

Знаем, знаем, подумал Чик, это твой старый трюк.

— Я его отвлеку, а вы проходите к инжиру, — сказал он остальным, просовывая руку между планками штакетника и отодвигая щеколду калитки.

Пожевывая мастику, он вошел во двор и направился к щенку. Тот на мгновение оторвался от тапки, посмотрел на Чика и мотнул головой.

«Не хочу играть!» — сказал он Чику этим движением головы и снова взялся за тапку.

«Что за черт, — подумал Чик, — ничего не понимаю». И в это мгновение в доме скрипнула дверь и на веранде появилась женщина. Чик даже испугался — до того это было неожиданно, а главное, что женщина была Чику хорошо знакома. Звали ее тетя Лариса. Она довольно часто приходила к тетушке в гости. Они обе были горбоносенькие, и у обеих брови срастались на переносице. Чик считал, что это сходство помогло им сдружить-

ся. Им легко было хвалить и считать друг друга красавицами. Потому что, если одна называла другую красавицей, получалось, что это она про себя говорит. Во всяком случае, тетушка считала, что вся ее цветущая юность прошла в боях с легионами женихов, которые штурмовали ее как крепость. Но взять крепость сперва почему-то удалось какому-то старенькому персидскому консулу, а уж второй раз дядя Чика, как считал Чик, и крепость одолел, и консула прогнал, и сам засел в этой крепости. На самом деле тетушка сама прогнала консула, а уж потом вышла замуж за дядю, но этого Чик тогда не знал. И вот вдруг он оказался во дворе тетушкиной подруги.

— Чик, — страшно удивилась эта женщина, — что-нибудь случилось?

— Ничего, — сказал Чик, — мы мастику собирали.

Тут тетя Лариса увидела и остальных ребят, все еще стоявших за забором.

— Ах, мастику, — сказала она, улыбнувшись, потому что обрадовалась, что ничего не случилось. — Проходите, детки. А дома знают? — с тревогой спросила она у Чика.

Чик ожидал этого вопроса.

— Конечно, — сказал он. Чик считался правди-

вым мальчиком, потому что врал очень скупо, только по необходимости.

Из домика, дожевывая хлеб, вышел подросток. Это был ее сын Омар. Он несколько раз приходил со своей мамой, когда надо было тащить фрукты, которые они приносили тетке в подарок. Но Чику с ним не удавалось поговорить, потому что он сразу же уходил или играл на улице со своими сверстниками.

Иногда тетя Лариса приходила одна, с большим букетом цветов. В таких случаях тетушка преувеличенно суетилась вокруг цветов, чтобы незаметно было, что на самом деле ей гораздо больше нравится, когда приносят фрукты.

— А где наш Омарчик, я скучаю по нашему золотому Омарчику, — говорила тетушка, сажая тетю Ларису за свои бесконечные чаи. Чик не только понимал, что она говорит одно, а думает другое, он прямо-таки чуть ли не над каждым сказанным словом мог поставить подразумеваемое.

«А где ваши фрукты? Я соскучилась по вашим персикам, яблокам, хурме!» — вот что на самом деле означали тетушкины слова.

Тетя Лариса уставилась на детей, смутно узнавая их.

— А эта синеглазка не дочь Патарая? — спроси-

ла она у Чика, кивнув на Нику.

Ребята стояли за Чиком, сдержанно, через два-три положенных такта, пожевывая мастику.

— А вы знаете моего папу? — расцвела Ника и потянулась к тете Ларисе с благодарным вниманием.

— Конечно, знала, — вздохнула тетя Лариса, — бедный Пата…

Она еще что-то хотела сказать, но Чик сделал самые страшные глаза из всех, какие мог, показывая, что об этом нельзя говорить.

— Что с тобой, Чик? — глупо удивилась тетя Лариса и сделала круглые глаза. Все-таки, видно, она что-то почувствовала, потому что больше ничего не стала говорить.

— Вот Чик дает! — засмеялся Омар, увидев, что Чик сделал страшную морду. Он, конечно, и вовсе ничего не понимал.

— Ребята, может, поедите инжиру? Вон там скороспелка растет, — кивнула она в сторону стены.

— Нет, — сказал Чик за всех, — нам не хочется…

— Тогда открой им ворота, Омар, — сказала тетя Лариса, лучезарно улыбаясь. — Скажи тете, что в субботу приду.

Раз уж вам ничего не хочется поесть, вы хоть

возьмите мою прекрасную улыбку, казалось, хотела она сказать, глядя им вслед.

— Хорошо, — сказал Чик и пошел к лестнице. У него немного отлегло на душе. Он очень боялся, что тетя Лариса скажет еще что-нибудь про отца Ники.

С этими взрослыми трудно дело иметь, думал Чик, они ничего не понимают.

— Чик, Чик, — вдруг окликнула его тетя Лариса, что-то вспомнив.

Чик остановился. Вся его команда тоже остановилась.

— Я сейчас тебе роз нарежу, подожди! — крикнула она.

— Что вы, тетя Лариса! — закричал Чик, страшно испугавшись. — Мы сейчас не домой идем… Мы идем в гости…

— Вот и хорошо, — согласилась тетя Лариса, — придете в гости с розами.

— Я хотел сказать, мы не в гости, мы в парк кататься на гигантских шагах, — лихорадочно поправился Чик, злясь на тетю Ларису, что она его вынуждает врать и при этом довольно глупо.

— Жаль, — сказала тетя Лариса, — такие розы пропадают.

— Мне тоже жалко, — согласился Чик, — но что

поделаешь.

Тетя Лариса повернула к дому, а Омар вприпрыжку через одну-две ступени стал спускаться к ним.

У нее розы пропадают, а я должен позориться, подумал Чик. Сейчас появиться на полянке с охапкой роз все равно что навеки себя похоронить.

Проще принести их на свою могилу, чем ходить с ними по улицам.

— Какие гости, какой парк? — спросила Сонька, разводя руками. — Нас и так уже ищут, наверное…

— Это он с понтом, — сказал Оник, понимая, почему Чик отказался от роз.

— Так я бы понесла, — добавила Ника, пожав плечами.

Чик ничего не ответил. Он посмотрел на Нику. Она как-то скучно притихла, как будто отделилась от всех. Хуже нет, подумал Чик, чем хранить чужую тайну. Он решил не обращать на нее внимания, чтобы она успокоилась, если что-то заподозрила. А может, и не заподозрила, подумал Чик, успокаивая самого себя. Может, она просто так притихла.

Лестница была длинная и крутая. Время от

времени она расширялась до размеров площадки, на которой с обеих сторон стояли каменные скамейки.

По обе стороны от лестницы, за каменным барьером, росли розы, георгины, карликовые пальмы и всевозможные кактусы, один уродливее другого. Чик знал, что эти площадки сделаны для того, чтобы князь со своей свитой, поднимаясь по лестнице, отдыхал на каждой площадке и нюхал цветы.

Чем ниже они спускались, тем больше волновался Чик, думая о предстоящей драке. Если бы этот Омар хоть бы постоял рядом, когда они будут драться, Чик считал бы, что ему повезло. Но сам говорить ему об этом Чик не хотел. Это было бы очень стыдно. Если бы само собой в разговоре случайно он узнал о предстоящей драке в невыгодных для Чика условиях, тогда другое дело.

— А вы давно здесь живете? — начал Чик издалека.

— Всегда, — ответил Омар, останавливаясь и оглядываясь на Лёсика. Он все никак не мог понять, почему Лёсик отстает, хотя понять это было проще простого. Такая непонятливость ничего хорошего не сулила, и Чик пожалел, что начал разговор очень уж издалека. — ...Здесь же

государственный сад, — продолжал Омар, — а мой папа работает садовником.

Слова о государственном саде прозвучали со странной внушительностью, как если бы эти фрукты предназначались не для еды, а для какой-то символической цели, например для сельскохозяйственной выставки или для какого-нибудь праздничного парада, чтобы проносить их.

— Я знаю, — сказал Чик и, показывая свою осведомленность, добавил: — До революции здесь жил князь…

— Точно, — сказал Омар, — отец его помнит, он у него садовником работал…

«Вот это да, — подумал Чик, — и у князя садовником работал, и у нас».

Он очень удивился этому, но постарался скрыть свое удивление, чтобы не огорчать Омара.

Они уже подходили к воротам, и Чик почувствовал, что никак не сумеет случайно намекнуть Омару о предстоящей драке. Сквозь узоры решетчатых ворот Чик успел заметить, что ребята все еще на полянке, хотя уже и не играют в футбол. Он понимал, что Бочо среди них, хотя его и не было видно.

Сгрудившись, они сидели посреди полянки. Хозяин мяча сидел на своем мяче, как на три-

бунке, вполне законно возвышающей его над остальными.

Скрежеща ключом, Омар открывал ворота, и Чику теперь хотелось хотя бы задержать его у ворот, чтобы ребята на полянке заметили его в обществе этого внушительного подростка.

— Омар, а почему маслины у вас не родятся? — спросил Чик в отчаянии, пытаясь его задержать.

— Ну их к чертовой матери, эти маслины! — неожиданно вспылил Омар и, открыв скрипучие ворота и нетерпеливо придерживая их, пропустил ребят наружу. — Из-за них у отца знаешь какие неприятности?!

— Да, я знаю, — подтвердил Чик тоскливо, чувствуя, что разговор не получился.

Омар, видно, тоже почувствовал, что слишком резко обошелся с Чиком, хотя и не знал, что Чику надо.

— Заходи, — кивнул он уже из-за ворот, — у нас есть кое-что повкуснее этих вонючих маслин.

Громыхнув закрытым замком, чтобы проверить его надежность, Омар исчез, и ребята остались одни. Главное, что на полянке так ничего и не заметили.

Ребята пошли через полянку. Чик старался шагать как можно независимей.

Он даже решил, как только поравняется со всей этой компанией, пустить пузырь.

Через несколько секунд их заметили. Чик не смотрел на них, но он это понял по тишине, которая воцарилась на поляне. Это была неприятная, насмешливо-ожидающая тишина. Пора пускать пузырь, подумал Чик, почувствовав, что поравнялся с ними. Он сунул язык в расплющенную мастику и выдул довольно приличный пузырь. Пузырь лопнул ему в лицо.

— Чик! — крикнул Шурик, дождавшись, чтобы пузырь лопнул. Все-таки ему было интересно посмотреть, какой получится пузырь.

Чик обернулся, словно только что всех их заметил.

— Или ты дерешься с Бочо, — сказал Шурик, — или ты честно говоришь, что сдрейфил.

Чик оглядел всех сидевших и лежавших на траве и успел заметить, как Бочо глупо и горделиво улыбается. Он сделал вид, что только что вспомнил об обещанной драке. Он медленно слизнул в рот пленочки мастики, оставшиеся под носом и на подбородке, и, продолжая жевать, спокойно сказал:

— Всегда готов!

Глаза у ребят загорелись от любопытства. Бочо

не в силах был сдержать блудливой улыбки, до того выгодные условия драки предстояли ему.

— Чик, не дерись, их много, а ты один! — бесстрашно крикнула Сонька.

— Глупости, — сказал Чик и подошел к ребятам.

Он считал, что пока он очень здорово держится и дай бог держаться так до конца.

Все встали, предвкушая удовольствие поглазеть на драку. Только хозяин мяча продолжал, покачиваясь, сидеть на своем мяче.

Широкоплечий и большеголовый Бочо, глядя на Чика, как-то снисходительно улыбался, словно ясно видел побежденного и опозоренного Чика. Переносить эту улыбку было ужасно неприятно.

— Здесь будем? — спросил он своим сиплым голосом.

— Где хочешь, — сказал Чик, чувствуя, как челюсть его, жующая мастику, сама остановилась. Чик усилием воли снова принялся жевать, стараясь ничем не выдать своего волнения.

— Так давай! — просипел Бочо и стал подходить к Чику, внимательно всматриваясь в него, чтобы не пропустить признаки робости или нерешительности.

«Неужели так сразу, так быстро?!» — содрогнул-

ся Чик внутренне, в то же время ни на секунду не забывая, что никак нельзя показывать своего страха.

— Оник, держи. — Чик вынул мастику изо рта и, не спуская глаз с надвигающегося Бочо, протянул назад руку.

Раньше Оника подбежала к нему Сонька и выхватила мастику.

— Чик, их много, а ты один! — опять бесстрашно крикнула Сонька.

— Ничего, — сказал Чик, продолжая внимательно смотреть на Бочо. Чик был уверен, что никто не вмешается в драку, потому что это были ребята с соседней улицы, и они знали Чика. Но все-таки, когда все «болеют» за твоего противника, до чего же неприятно драться. Вдруг Бочо остановился в нескольких шагах от Чика.

— Если хочешь, отойдем, — кивнул Бочо на край поляны, где начиналась стена. Сейчас, когда у него было столько болельщиков, он хотел показать, что он в них не нуждается. Наверное, ему и в самом деле так казалось.

— Как хочешь, — сказал Чик, радуясь передышке, но показывая, что не боится никаких болельщиков.

— Ребя! — заорал Бочо изо всех сил. — Вы стойте

здесь, а мы пойдем подеремся!

Он мог это сказать гораздо тише, но он хотел своим волосом напугать Чика. Голос у него в самом деле был внушительный. Главное, он здорово хрипел и даже сипел. Чик его отчасти за этот голос уважал, но не сейчас, когда он его пугал этим голосом.

— Давай! — радостно отозвались ребята. — Мы будем отсюда смотреть, как ты его отколошматишь!

Чик и Бочо решительно направились в сторону стены.

— Чтоб не фасонил со своей москвичкой! — крикнул вслед один из ребят.

В его голосе прозвучала вечная слободская ненависть вот к таким чистеньким, хорошо одетым девчонкам, как Ника.

Чику совершенно неуместно полезла в голову какая-то мысль насчет бедных и богатых. Но он ее не успел додумать, да и не хотел додумывать, это она сама полезла ему в голову, когда он услышал голос этого мальчишки.

— Она не москвичка, — услышал Чик просящий мира голос Оника, — она в нашем дворе живет…

— А фасонит, как москвичка, — уверенно сказал тот же голос, и Чику показалось, что он услышал,

как тот презрительно цвиркнул сквозь зубы слюной, хотя услышать это было никак невозможно.

— Чик, не бойся, мы здесь! — вдруг пронзительно крикнула Сонька, и голос ее обдал Чика какой-то великолепной волной бодрости, хотя он и понимал, что помощи от своей компании ждать бессмысленно.

Услышав Сонькин крик, ребята с улицы Бочо захохотали, до того им это показалось смешным.

— Лёсик, а-а-сто-рожна, у-па-дешь! — гадливым голосом пропел Шурик и фальшиво захохотал, показывая хохотом, чего стоит Чик и вся его команда.

Чик и Бочо стояли в двух шагах друг от друга. Они еще как-то недостаточно подогрелись для драки. Бочо угрюмо, исподлобья глядел на Чика, стараясь припомнить какую-нибудь старую обиду. Но, видно, обида не припоминалась, и Бочо начинал злиться на Чика за то, что он никак не может припомнить какую-нибудь стоящую обиду. Чик это чувствовал.

— Ха! — вдруг хрипло усмехнулся Бочо, глядя на Чика. Что-то унизительное было в его усмешке.

— Чего смеешься? — спросил Чик и бегло оглядел себя.

— Ха! — усмехнулся Бочо еще более хрипло и

добавил: — Посмотри на мои плечи и на свои.

Это была правда. Бочо был куда шире Чика, зато у Чика грудь была намного здоровее, чем у Бочо, и Чик это знал.

— А грудь? — сказал Чик и, набрав воздуху, изо всех сил растопырил ее.

— Что ты мне суешь свою грудь! — страшным голосом захрипел Бочо.

— А что ты мне суешь свои плечи! — ответил ему Чик, собрав все свое мужество. Все-таки Бочо здорово его подавлял своим голосом.

Вдруг Бочо протянул руку и молча приложил ладонь к его груди. Чик прямо растерялся, до того это был страшный и непонятный жест.

— Ты чего меня лапаешь? — в ужасе крикнул Чик. — Хочешь драться — дерись!

— У тебя сердце дрожит, я слышу! — закричал Бочо радостно. — Вот до чего ты меня дрейфишь!

Сердце Чика и в самом деле страшно колотилось. Но какое он имел право дотрагиваться до Чика и слушать, как стучит его сердце?!

«Ах, ты так!» — подумал Чик, и в это же мгновение его осенила военная хитрость.

Он приподнял голову и как бы украдкой бросил многозначительный взгляд наверх, в сторону домика, где жила тетя Лариса. Бочо сразу же

клюнул. Он тоже поднял голову и, посмотрев туда, снова уставился на Чика, теперь уже подозрительно.

— Ты чего туда смотрел? — спросил он не так уж хрипло, как раньше.

— Никуда я не смотрел, — сказал Чик, успокаиваясь оттого, что Бочо начинал волноваться.

— Нет, смотрел.

— Нет, не смотрел.

— Может, скажешь, что ты с Омаром знаком? — спросил Бочо.

Чик промолчал. Надо было, чтобы рыба получше села на крючок.

— Чего молчишь? Скажи, скажи, — насмешливо торопил его Бочо. На самом деле он начал тревожиться.

— Он мой троюродный брат, — нахально отчеканил Чик.

— Ха! — хрипло усмехнулся Бочо, думая, что поймал Чика. — Тогда почему по стене лезли?

— Потому что их дома не было, — сказал Чик, чувствуя, что Бочо сам себя загоняет в ловушку.

— А сейчас? — раздраженно просипел Бочо.

— А сейчас они дома, — сказал Чик, чувствуя, как тело его освобождается от страха, легчает.

— Ребя! — крикнул Бочо, как бы отчасти жа-

луясь и раздражаясь из-за того, что они его подвели. — Он говорит, что Омар его брат?!

— Не верь, не верь, — крикнул Шурик, как человек, больше всех заинтересованный в победе Бочо, — он все придумал!

— Пусть скажет, как зовут его маханю! — крикнул тот мальчик, который назвал Нику москвичкой.

— Да, — снова оживившись, прохрипел Бочо, — скажи, как зовут его маханю?

— Тетя Лариса, — сказал Чик презрительно.

— Ребя, — крикнул Бочо с отчаянной надеждой, — он говорит, тетя Лариса!

— Правильно, — мрачно подтвердили ребята.

— Правильно! — крикнула Сонька и даже подпрыгнула от радости. — Она к ним часто в гости ходит.

— Ненавижу ехидину! — крикнул Бочо и ринулся на Чика. Другого выхода у него не было.

Чик почувствовал страшный удар в скулу, голова его загудела, и он бросился в драку, как в воду. Чик слышал за спиной топанье бегущих ребят. Он и так знал, что, как только начнется драка, все прибегут. Но теперь ему ничего не было страшно. Он изо всех сил махал руками, стараясь попасть в раздваивающееся и мелькающее лицо Бочо, не

чувствуя ударов, которые тот ему наносил.

Главное — стараться попасть в лицо, в которое почему-то до удивления, какое бывает во сне, трудно попасть, и оно все время расплывается, и только отовсюду смотрят темные глазищи Бочо и мелькает его лобастая стриженая голова. Иногда они сцепляются, потом расцепляются, изредка обмениваясь яростными словами.

— Получай на закуску!

— Ах, ты плашмя?!

— Вот тебе, вот тебе, головой!

Сопение, кряхтенье, тяжелое дыхание, обмен ударами и обмен впечатлениями от ударов. Но время идет, и Чик чувствует, как тяжело наливаются руки и тело, как они слабеют с какой-то непонятной быстротой, как все трудней и трудней дышать. Неужели, думает Чик, чувствуя, что начинает теряться, неужели только я так устал? И почему у меня дыхание кончается, как же моя широкая грудь?

И вдруг Бочо хватается за лоб и мгновенно выходит из круга, образованного прибежавшими ребятами. Чик ничего не понимает, у него перед глазами все покачивается, но он чувствует, что случилось что-то радостное, неожиданное.

Бочо некоторое время стоит, пригнувшись, и

ладонью щупает лоб.

— Фонарь? — вдруг спрашивает он, опустив руку и удивленно оглядывая всех.

— Фонарь! — подтверждает тот, что назвал Нику москвичкой, и переводит взгляд на Чика, словно только сейчас заметив какие-то интересные подробности в его облике, которых он раньше не замечал.

Чик смотрит на Бочо. Все смотрят на Бочо. У Бочо над глазом появилась огромная шишка.

— Фонарь? — спрашивает Бочо и оглядывает друзей с какой-то трогательной надеждой, что они его разуверят в этом.

— Фонарь, фонарь, — подтверждают все удивленно и с посвежевшим интересом к его личности смотрят на Чика.

— Ой-ой-ой! — неожиданно запричитал Бочо, снова схватившись за лоб. — Что я дома скажу? Что я дома скажу?!

— Ничего, — сказал Чик, — надо холодное… Оник, дай свой пятак…

Оник неохотно вынул из кармана тяжелый царский пятак и протянул Чику.

Чик взял пятак и, подойдя к Бочо, приложил его к шишке. Чик чувствовал, что каждое его движение сейчас уверенно и свободно и никому

не может прийти в голову, что он подлизывается или как-то слишком расчувствовался. И Бочо с такой трогательной надеждой и доверчивостью смотрел на Чика, так безропотно надеялся на его помощь, так глубоко был поглощен возможностью предстоящего наказания родителями, что Чик чувствовал, как внутри у него все переворачивается от нежности и благодарности к Бочо за эту прекрасную победу.

— Смачивай в воде и прикладывай, — говорит Чик, — а пятак потом когда-нибудь отдашь…

Оник с молчаливым упреком посмотрел на Чика в том смысле, что ему хорошо быть щедрым за счет других. Чик ответил ему на это восторженным взглядом, показывая, что в часы великих побед нельзя считаться с такими мелочами. Чик краем глаза заметил, что Шурик старается не попадаться ему на глаза, прячется за спинами ребят, как предатель Мазепа.

Уходя со своей командой, Чик напряг слух. Он чувствовал, что он должен что-то очень приятное услышать за спиной. И он в самом деле услышал. Он услышал целую фразу, которая потрясла его своей былинной красотой.

— Ребята, ну и колотушка у этого Чика, — сказал кто-то.

Зарево славы подымалось за его спиной. Чик ощущал в своем теле необыкновенную легкость. Он почти не чувствовал земли. Он почти ничего не видел и не слышал. Что-то радостно лопочут друзья, Сонька ему сует мастику, но он ее почему-то положил не в рот, а в карман. Потом появились какие-то волнения, стали говорить, что нас, наверное, ищут, что нам, наверное, попадет. Кого ищут, чего ищут? Он только чувствовал какую-то легкость, легкость и музыку. Будто слышится какой-то оркестр, вроде тех предпраздничных оркестров, которые за несколько дней до праздника начинали шагать по городу, как бы пробуя будущее веселье. Чик страшно любил эти пробы будущего веселья и, бывало, как только услышит такой оркестр, вместе с Белочкой выбегал на улицу и долго-долго провожал его.

— Чик, — вдруг донеслось до него сквозь музыку оркестра, — я тебе что-то хочу сказать.

Они уже шлепали по тротуару, вот-вот свернут на свою улицу. Это был голос Ники.

— Ага, — сказал Чик, не останавливаясь и не оборачиваясь, потому что никак не хотел упускать музыки, которую он слышал, — говори…

— Только один на один, — сказала Ника, а Чик по ее голосу почувствовал, что она остановилась.

Ему стало тревожно.

— Что? — спросил Чик, останавливаясь и с легкой досадой чувствуя, что музыка уходит вперед; ну ничего, догоню, подумал он. — Вы идите, — кивнул он остальным.

— Чик, — тихо сказала Ника и прямо посмотрела ему в глаза своими темными от густоты синевы глазами, — почему эта женщина сказала про папу «бедный»?

Чик сразу все вспомнил.

Он вспомнил, что все это время, пока они спускались с лестницы и пока он готовился к драке, она как-то замкнулась и съежилась. Теперь он понял, что она все время думала о словах тети Ларисы…

— Просто так, — сказал Чик, — женщины всегда так говорят.

— Нет, — сказала Ника и с какой-то упрямой силой посмотрела ему в глаза, — разве мой папа никогда не вернется?

Чик вдруг почувствовал, что музыка, все еще игравшая вдалеке, вдруг смутилась и смолкла. У Чика мурашки побежали по спине. «Неужели она все знает?» — подумал он.

— А разве он вам не пишет? — осторожно спросил Чик.

— Редко, и мне отдельно, и маме отдельно, — тихо сказала она, — а раньше, когда ездил в командировки, он всегда нам вместе писал…

— Что тут такого, — сказал Чик и радостно, оттого, что это было в самом деле так, вспомнил, — мой дядя, когда ездит в командировки, иногда пишет всем отдельно…

Чик почувствовал, что она поддается. Глаза ее потеплели, в них уже не было той упрямой твердости, с которой она смотрела на него вначале. Но его это почему-то не обрадовало. Он почувствовал, хотя и не осознавал, что она не убедилась в правильности того, что он говорил, а снова покорилась неизвестности. Чик это почувствовал.

— Но почему так долго, Чик? Уже девять месяцев прошло, — сказала она.

— Покамест все выяснят, — начал Чик и впервые с раздражением подумал о тех, кто и в самом деле так долго выясняет: знал отец Ники, что начальник, перед которым он танцевал, вредитель, или не знал? То, что сам начальник мог и не быть вредителем, Чику и в голову не приходило.

— Что выяснят? — спросила Ника и удивленно посмотрела ему в глаза.

— Чик, — крикнула Сонька, — нас, может, ищут, а вы там шепчетесь!

Чик обернулся. Сонька на него смотрела взглядом женщины, устающей от бесплодной любви. Чик удивился этому взгляду, потом вспомнил о его неуместности и раздраженно отмахнулся. Он и так чуть не проговорился, а тут еще Сонька пристает со своей дурацкой ревностью.

— Как что выяснят! — ответил он Нике. — В командировке всегда что-нибудь выясняют.

— Я его люблю больше всех, — сказала Ника, — я его буду ждать до гроба.

Чик почувствовал, что она повторила чьи-то слова, наверное, собственной мамы.

— Еще бы! — с жаром подхватил Чик, напав на благодарную тему, где можно ничего не выдумывать. — Еще бы такого не любить. Мой дядя говорит, что он великий танцор, что он мог танцевать на рюмке… Представляешь, такая маленькая рюмочка и на ней взрослый человек танцует?! Я на перевернутом ведре и то бы не смог танцевать, а он на рюмке…

— Ну, вы идете или мы пошли! — со злостью крикнула Сонька.

Глупая, подумал Чик, обернувшись, тут совсем другое дело.

— Пошли, — сказал он Нике таким тоном, словно теперь уже все стало ясно.

Но он понимал, что далеко не все ясно, и это его все-таки смущало. Он попробовал прислушаться к той музыке, которую слышал до разговора с Никой, но не услышал ее. Оркестр куда-то скрылся.

Только они дошли до угла своей улицы, как лоб в лоб столкнулись с соседским мальчишкой Абу.

— Чик, вас ищут, — радостно крикнул он, — думают, вы утонули!

— Я же говорила, я же говорила, — затараторила Сонька, гневно поглядывая на Нику. Лёсик от волнения расплылся в улыбке. У Чика тоже что-то неприятно кольнуло в груди.

Абу стоял перед ними, любуясь их растерянностью и смущением.

— Чик, это правда, что ты фонарь поставил Бочо? — вдруг спросил он, перестав любоваться их растерянностью.

Чик непроизвольно улыбнулся. Слава обгоняла его и выходила навстречу.

— Да, — сказал Чик, не в силах сдвинуть расползающиеся в улыбке губы, — но откуда ты узнал?

— Да тут один проезжал на велике и сказал, — ответил Абу и с посвежевшим уважением, как те на поляне, взглянул на Чика. — За мастикой ходили?

— Да, — сказал Чик доброжелательно, — а прав-

да, что нас здорово ищут, или треплешься?

— А-а-а! — махнул Абу рукой. — Немножко поискали и бросили… Пойду посмотрю, какой ты фонарь поставил Бочо.

— Он, наверно, уже домой ушел, — сказал Чик.

— Ну тогда поиграю в футбол, — ответил Абу и пошел дальше.

Ребята радостно заработали челюстями и пошли своей дорогой. Все-таки хорошо, что Абу их успокоил. Когда они зашли за угол, Чик сразу же увидел на балконе сутулую спину Алихана, склоненную над игральной доской. Он играл в нарды с Богатым Портным. Ясно, что Богатому Портному сейчас не до Оника.

Оник сразу же повеселел.

В сущности, Богатый Портной и тетушка были главными паникерами. Но тетушка тоже, как и Богатый Портной, если увлечется чем-нибудь, могла и не вспомнить о его существовании…

Чик заметил, что Белочка сидит у калитки и смотрит в их сторону. Видно, она их еще не узнала, но почувствовала что-то знакомое. Чик не хотел подавать голоса, чтобы с балкона на них не обратили внимания. Он только всплеснул руками и ударил ими по ногам, как если б сидел на скамейке и приглашал ее на колени. Белочка

мгновенно склонила набок голову, и, когда Чик повторил этот жест, она сорвалась с места и помчалась навстречу. Она бежала своей боковой побежкой, которую Чик так любил, и она его всегда так смешила.

Белочка с разгону налетела на Чика и в прыжке несколько раз лизнула ему лицо. Потом она для приличия лизнула Оника и Соньку, не слишком скрывая, что больше всего обрадовалась Чику. Она бегала вокруг них, визжала и прыгала…

Она очень соскучилась и совсем не помнила, что Чик ее обидел. Ну, где можно еще отыскать такую веселую, добрую собаку? Нет, подумал Чик, с этим собаколовом надо что-то делать, иначе не будет спокойной жизни.

Ребята приближались к дому. С каждым шагом Чик чувствовал, что слабеет и слабеет их походный уют, вот-вот совсем распадется, потому что каждый сейчас занят собственной тревогой встречи со своими родителями.

Чику всегда бывало немножко грустно в такие часы. Но ничего не поделаешь, он и сам сейчас занят этой тревогой. Поэтому ему было приятно, что рядом кружится Белка, словно он с ней особенно и не расставался, словно так: вышли немного погулять, а теперь возвращаются домой.

Одомашненный тем, что Белочка была рядом, Чик подходил к дому с плутоватой и, может, потому тайно веселящей надеждой на безнаказанность.

Защита Чика

Чик сидел на вершине груши, росшей у них в огороде. Он сидел на своем любимом месте. Здесь несколько виноградных плетей, вытянутых между двумя ветками груши, образовывали пружинистое ложе, на котором можно было сидеть или возлежать в зависимости от того, что тебе сейчас охота. Охота сидеть — сиди и поклевывай виноградины, охота лежать — лежи и только вытягивай руки, чтобы срывать виноградные кисти или груши.

Чик очень любил это место. Оно было во всех отношениях удобное и приятное. Во-первых, оно было хорошим, потому что прямо с этого места можно было рвать виноград, груши и даже инжир. Он рос в соседнем дворе, и между огородом, где росла груша, и инжировым деревом высилась стена. Но одна ветка инжира вытянулась в сторону груши и прямо упиралась в нее. Так что при желании инжир можно было достать отсюда. Ин-

жир был особенно вкусным именно потому, что дерево было чужим. Чик об этом сам догадался. Поедая чужие плоды, он удивленно думал над этой загадкой природы. Инжир, который рос в их огороде, был того же сорта, но плоды чужого инжира были гораздо вкусней.

Кроме всего прочего, это место Чику нравилось и тем, что он отсюда всех видел, а его никто не видел. Вообще Чику взрослые не разрешали лазить по деревьям не потому, что жалели фрукты, а потому, что боялись, что он упадет с дерева. Но самое смешное заключалось в том, что, когда дома у него или у тетушки нужны были фрукты, ему давали корзину и просили нарвать винограду, груш или инжира.

— Только смотри, Чик, не упади, — предупреждали они.

— Да не бойтесь, не упаду, — отвечал Чик и с корзинкой проходил в огород.

По мнению взрослых, получалось, что раз они предупредили его, чтобы он не падал, значит, он будет крепче держаться за ветки. По этому же нелепому мнению взрослых получалось, что если он сам залез на дерево, то он обязательно будет проявлять стремление падать с него. Это было тем более глупо, что как раз с корзиной

перелезать на дереве с ветки на ветку гораздо трудней и опасней, чем лазить по деревьям без всякой корзины.

Да, Чик любил это место. Кроме всего, это место имело еще одно достоинство, которое заключалось в том, что Чик здесь мог от всех отъединиться. Можно точно сказать: Чик любил людей. Но иногда они ему здорово надоедали. И тогда Чик замечал, что люди сами же мешают себя любить. Ему надоедала тетушка со своими вечными рассказами о своей якобы изумительной молодости, надоедала бабушка, надоедали друзья. Даже сумасшедший дядюшка и то надоедал.

И когда они ему все надоедали, ему негде было от них укрыться, кроме как на вершине этой груши. И он потихоньку залезал на грушу и сидел там до тех пор, пока люди ему не переставали надоедать. Бывало, час сидит на груше или два сидит на груше, а потом слезает и сам чувствует, что люди ему больше не надоедают. И он посвежевшими глазами смотрит на них, разговаривает, играет, слушает их рассказы.

Но сегодня Чика не радовало ни его любимое место, ни ласковое солнце, которое просвечивало сквозь листья груши и винограда. Дело в том, что в школе у Чика случилась ужасная неприятность.

Учитель русского языка, Акакий Македонович, или, как его называли, Закидонович, сказал ему, чтобы он на следующий день пришел в школу с кем-нибудь из родителей.

И это было ужасно. Чик хорошо учился, и все домашние гордились его учебой. Мало того, что они гордились его учебой, они постоянно ставили его в пример старшему брату, который плохо учился и плохо вел себя в школе. Родителей постоянно вызывали в школу из-за его старшего брата. Иногда учителя сами приходили домой жаловаться на него. И вдруг Чик, гордость тетушки, сделал такое, что его родителей вызывают в школу! Чик понимал, какой это будет для тетушки невероятный удар. Вернее, какой это будет великолепный повод сыграть невероятный удар, который нанес ей Чик исподтишка.

В последние годы тетушка, как бы махнув рукой на старшего брата Чика, перестала говорить, что он загубил своей дурной учебой и плохим поведением ее лучшие, золотые годы. Она стала придерживаться версии, что старший брат Чика получился таким, потому что не она его воспитывала, а мать Чика. А Чик получился таким хорошим в учебе и поведении потому, что его воспитанием занималась она.

Чик с содроганием представлял, что будет говорить его тетушка. Она начнет с того, что бросила персидского консула, с которым жила как сыр в масле, ради своих инвалидов. Имелась в виду бабушка, которая была вполне здорова, и дядюшка, который не был инвалидом, хотя и был сумасшедшим. Она будет снова говорить, что загубила молодость на брата Чика, хотя из него ничего не получилось. Но у нее оставалась последняя надежда на Чика, и вот, оказывается, именно Чик нанес ей последний, смертельный удар, от которого она навряд ли выживет.

Нет, нет, Чик никак не мог сказать дома, что в школу вызывают родителей. Но, с другой стороны, прийти в школу без кого-нибудь из взрослых нельзя было, потому что Акакий Македонович никогда ничего не забывал. Он бы его просто не допустил до уроков.

«Что же делать?» — с отчаянием думал Чик и ничего не мог придумать. Хорошо бы вообще остаться на дереве и никогда с него не слезать. В тайном убежище Чика можно было даже спать без особого риска, а от голода спасали бы груши, виноград и соседский инжир.

Чик снова и снова вспоминал случившееся в школе. Был урок русского языка, который прово-

дил Акакий Македонович. У него была привычка в стихотворной форме писать правила русской грамматики на доске, а потом эти стихотворные правила ученики должны были переписать в свои тетради и заучить наизусть. Эти правила в стихах Акакий Македонович сам придумывал и тихо гордился этой своей способностью. Другим учителям и в голову не приходило арифметические или физические законы представлять в стихотворной форме. Это умел только Акакий Македонович. И он этим тихо гордился, хотя ученики часто посмеивались над его грамматическими стихами. Но они никогда не смеялись при нем, обычно на перемене. А тут Чик не утерпел. Сегодня Акакий Македонович своим красивым наклонным почерком написал на доске стихи на тему «Как пишется частица «не» с наречиями».

Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране?
То ли вместе, то ли врозь?!
Не надеясь на авось,

Вы поймете из примера,
Нужного для пионера.
НЕКРАСИВО жить без цели,

Это так, но в самом деле

НЕ КРАСИВО, а ужасно
Жить без цели, жить напрасно.
И теперь любому ясно,
Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране.

Это были обычные для Акакия Македоновича гладкие стихи, ласково всовывающие в головы учеников правила русской грамматики. Якобы всовывающие. Все равно ученики запоминали правила грамматики по учебнику, а стихи приходилось заучивать наизусть в угоду Акакию Македоновичу.

Чика всегда раздражали и смешили эти стихи. Они раздражали и смешили его своей вкрадчивой и наивной хитростью. Они как бы говорили: «А теперь, ребята, соберемся в кружок и поиграем в стихотворение. Это будет и приятно и полезно».

На самом деле Чик ничего в них ни приятного, ни полезного не находил. И другие ученики тоже не находили. Но всем приходилось смиряться и учить наизусть эти стихи.

На этот раз Чику особенно смешными показались строчки про солнечную страну. Чик,

конечно, понимал, что, когда говорят так, имеют в виду не выпадение осадков в их республике, а то, что в солнечной Абхазии люди живут хорошо. И Чик был согласен, когда его страну называли солнечной. Но он никак не понимал, какое это отношение имеет к грамматическому правилу.

И потому эта дважды повторенная строка про солнечную страну показалась Чику особенно смешной. Он переглянулся с учеником Севастьяновым, и они закивали друг другу и заулыбались. Севастьянов вместе с Чиком всегда первым чувствовал что-нибудь смешное или нелепое, происходящее в классе. И они всегда в таких случаях переглядывались и начинали улыбаться или смеяться. И им было приятно, что они так хорошо друг друга понимают, и от того им становилось еще веселее.

Чик почувствовал, что Акакий Македонович заметил его улыбку и понял, что эта улыбка относится к стихотворению. Но Чик не придал этому значения, он тогда еще не знал, что на свете существует авторское самомнение.

— А теперь, ребята, — сказал Акакий Македонович, — хором прочтем стихи. Читайте с выражением и следите за моими руками.

Как писать частицу «не»

В нашей солнечной стране?! —

грянул класс тридцатью глотками.

Высокий, со смиренно-покатыми плечами, с детским чубчиком на лбу, Акакий Македонович стоял у стола. Выражением лица, а также дирижерскими движениями рук он подсказывал ребятам правильную интонацию и скорость, с которой надо читать стихи. Когда ребята читали строчку:

То ли вместе, то ли врозь? —

Акакий Македонович развел руками, и лицо его выразило полное недоумение по поводу этого страшно запутанного вопроса. Зато потом, когда ребята прочитали строчки:

Вы поймете из примера,
Нужного для пионера... —

лицо Акакия Македоновича просветлело, оно выразило надежду, что смекалистые пионеры во главе с опытным Акакием Македоновичем выберутся из этого дремучего леса, куда заводит детей коварная частица.

Некрасиво жить без цели... —

читали ребята, и Акакий Македонович, удрученно склонив голову со своим детским чубчиком на лбу, как бы упрекал живущих без цели: «Некрасиво, нехорошо».

Не красиво, а ужасно
Жить без цели, жить напрасно.

Тут лицо Акакия Македоновича выразило высшую степень отвращения к такому образу жизни. Зато после этой строчки уже до самого конца стихотворения лицо его светлело и светлело, показывая, как он радуется тому, что теперь все пионеры знают, как писать с наречиями эту хитрую частицу.

И теперь любому ясно,
Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране.

Все это время Чик переглядывался с Севастьяновым, и они тряслись от сдержанного смеха в самых забавных местах внешнего поведения Акакия Македоновича. Но, оказывается, все это время, изображая на лице то блаженство, то ужас, Акакий Македонович потихоньку следил за Чиком. А Чик этого не знал.

Когда стихотворение было прочитано, Акакий Македонович, сложив ладони и смиренно прижав их к груди, сказал:

— Мы сейчас с вами, ребята, хором прочитали стихотворение, чтобы лучше усвоить новое правило. А что делал все это время Чик? Чик все это время смеялся. Давайте, ребята, всем классом попросим Чика рассказать, над чем он смеялся, и, если это действительно смешно, посмеемся вместе с Чиком. Встань, Чик, и расскажи нам, над чем ты смеялся.

Чик встал. Ему совсем не хотелось говорить, что он смеялся над стихотворением. Тем более ему не хотелось говорить, что он смеялся и над поведением самого Акакия Македоновича.

— Я смеялся просто так, — сказал Чик.

— Нет, Чик, ты скромничаешь, — сказал Акакий Македонович, — по-моему, ты нашел что-то смешное в нашем стихотворении. Может быть, мы все ошибаемся, так поправь нас, Чик.

Все это он сказал очень спокойным, доброжелательным голосом, но хотя Чику и не нравилась его поза со смиренно сложенными у подбородка ладонями, он как-то поверил его голосу. Чик тогда не имел представления о существовании авторского самолюбия. Также не вполне исклю-

чено, что Чику захотелось покрасоваться перед всем классом, показать перед всеми, что он нашел ошибку у Акакия Македоновича. И он решил сказать свое мнение про строчку о солнечной стране.

— По-моему, — сказал Чик, — одна строчка неправильная.

— Очень интересно, — заметил Акакий Македонович, продолжая держать руки у подбородка сложенными ладонями, и, как бы кланяясь, слегка нагнулся вперед, — какая строчка?

— У вас сказано, — бодро начал Чик, —

Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране?

— Удивительно, как ты это заметил, — сказал Акакий Македонович.

— Но ведь получается, — пояснил Чик, — что правильно это только для нашей солнечной страны, а для дождливой страны не годится?

Класс засмеялся. Чик с некоторой тревогой заметил, что Акакий Македонович слегка побледнел.

— Глупый смех, — сказал Акакий Македонович, — нелепое замечание. Мы живем в солнечной стране, и, естественно, правила нашей

грамматики рассчитаны на нашу страну.

— А если кто-то пишет частицу «не» в другой стране, — продолжал Чик, не давая себя сбить, — разве правило для него не годится?

Но тут прозвенел звонок, и Акакий Македонович решил, что Чика надо крепко наказать. Может быть, если бы не прозвенел звонок, он постарался бы доказать, что Чик не прав. Но теперь у него для этого не было времени, и он решил Чика наказать.

— Мы всегда за критику, — сказал Акакий Македонович, — но мы против критиканства. Завтра придешь с кем-нибудь из родителей, придется с ними серьезно поговорить…

И класс снова рассмеялся. На этот раз он рассмеялся неожиданному повороту в судьбе Чика. Чику хотелось крикнуть Акакию Македоновичу, что это несправедливо, что ему никак нельзя приводить родителей в школу, но Акакий Македонович взял в руки журнал и со свойственной ему фальшивой смиренностью удалился из класса.

И вот теперь Чик сидит на вершине груши на пружинистом ложе из плетей виноградной лозы и думает, что же ему завтра делать.

Как писать частицу «не»

«Проклятые стихи! Зачем, зачем, — думал Чик, — я ввязался в этот дурацкий спор! Все равно Закидонович не прав! Страна тут ни при чем! И никакого значения не имеет, солнечная она или дождливая! Но как быть завтра? Ведь без родителей не пустят в школу».

Чик дотронулся до небольшой виноградной кисти, сорвал ее и стал машинально есть виноград, сплевывая шкурки, которые падали вниз, иногда шлепаясь на листья груши. Чик был в таком тоскливом состоянии, что виноград ему казался не сладким, а каким-то пресным, водянистым.

Он оглядел двор. Сонька и Ника играли в «классики». Лёсик покачивал в коляске своих братьев-двойняшек. Оника во дворе не было. Чик знал, что он пошел на стадион. Белочка, любимая собака Чика, лежала посреди двора и, наверное, скучала по Чику, не зная, куда он делся. На верхней лестничной площадке второго этажа сидела бабушка и грелась на солнце, перебирая в руках четки. Рядом стоял сумасшедший дядюшка Чика и напевал себе бессмысленные песенки собственного сочинения. Изредка он поглядывал вниз на кухонную пристройку, где возилась Сонькина мать, тетя Фаина. Он ее любил с незапамятных

времен безответной, упорной любовью. Об этом все знали. «Хорошо ему живется, — подумал Чик, — поет себе песенки, ни о чем не думает, никто его родителей не вызывает в школу».

Чик оглядел крышу флигеля, в котором жил Лёсик. В желобе, ведущем к водосточной трубе, все еще лежал теннисный мяч. Уже целых два года Чик ожидал, когда струя дождевой воды загонит его в водосточную трубу и он вывалится в бочку, стоящую под ней. Но уже несколько месяцев, как мяч остановился в двух метрах от трубы и не хотел двигаться дальше. Видно, там его что-то сильно задерживало. Но Чик упрямо надеялся, что пойдет сильный ливень и поток в конце концов загонит мяч в трубу.

В распахнутых окнах веранды второго этажа была видна тетушка Чика в своей классической позе со стаканом крепкого чая в руке и с папиросой, дымящейся в пепельнице. Она что-то оживленно рассказывала невидимой собеседнице, и Чик совершенно не исключал, что она хвастается его учебой. Подумав об этом, Чик вспомнил о завтрашнем дне и затосковал с новой силой.

Вдруг в воздухе грохнул восторженный вопль толпы. За два квартала отсюда был расположен

стадион. Там сегодня местная команда играла с городом Армавиром. Судя по взрыву восторга, наша команда забила мяч. Обычно, если мяч забивала приезжая команда, на стадионе устанавливалась обидчивая тишина.

Чик знал, что сегодня на стадионе игра, но из-за своего плохого настроения туда не пошел. Что за охота идти на стадион, когда у тебя на душе скребут кошки? Несколько мужчин, сидя на крыше соседского дома, издали наблюдали за игрой. Чик не любил таких крохоборов. Когда мальчишки смотрят с крыши или с дерева, это понятно: значит, у них нет денег, а пройти зайцем они не решаются. Но когда взрослые, жалея деньги, следят за игрой с крыши своего дома — это как-то противно.

— Костя! — крикнул один из мужчин, обернувшись в колодец своего двора.

— Костя спит, — ответил ему женский голос.

— Разбуди его, Тамара, разбуди!

— Зачем его будить? — ответила женщина.

— Интерес имею что-то сказать ему! — крикнул мужчина.

— Он ругаться будет, — ответила женщина.

— Не будет, клянусь детьми! — крикнул мужчина. — Я ему скажу такое, что он радоваться

будет, а не ругаться!

— Чего тебе? — раздался через минуту сиплый мужской голос. Видно, женщина разбудила мужа.

— Костя, — восторженно закричал человек с крыши, — наши хамают их, как пончик! Уже два мяча забили!

— Зачем разбудила, — раздраженно сказал мужчина, — я еще полчаса поспал бы…

— Он поклялся детьми, — визгливо сказала женщина, — я думала, что-то по работе!

— Ладно, — сказал мужчина, — арбуз под кран поставила?

— Поставила, — ответила женщина.

— Тогда принеси, — сказал мужчина, — хоть арбуз покушаем, раз ты меня разбудила.

Некоторое время во дворе было тихо, а на крыше следили за тем, что происходит на стадионе.

— Слушай, в игре забили или со штрафного? — крикнул мужчина со двора, и Чик почувствовал, что голос его посвежел от первого ломтя арбуза.

— Клянусь детьми, оба мяча забили в игре, Костя! — восторженно крикнул мужчина с крыши.

— Ладно, — примирительно сказал тот, что кушал арбуз, — если что-нибудь будет интересное — крикнешь!

— Обязательно, Костя! — крикнул человек с крыши и снова повернулся в сторону стадиона. Во дворе было тихо, и Чик подумал, что разбуженный сейчас ест второй ломоть арбуза.

Вообще Чик любил бывать на стадионе. Недавно дядя Чика, разумеется, не сумасшедший, а, наоборот, самый умный дядя Риза водил его на стадион. И надо было, чтобы так повезло. Наша местная команда обыграла тбилисское «Динамо». Единственный раз в жизни Чик видел, что наша местная команда обыграла тбилисское «Динамо». Все болельщики города вместе с Чиком мечтали о таком дне. И вот этот день наступил, и восторгам болельщиков не было конца. Они беспрерывно рукоплескали финтам наших нападающих, с преувеличенным весельем хохотали над каждой неудачной подачей мяча противником и взрывом восторга встречали каждый гол, забитый нашей командой.

Правда, Чик от дяди знал, что на этот раз тбилисцы прислали молодежный состав команды и потому она играла слабее, чем обычно. И Чик чувствовал, что радость его по поводу победной игры нашей команды от этого несколько ущемлена. Но он также чувствовал, что радость болельщиков от этого никак не уменьшается. Главное, что

тбилисцы проигрывали, а остальное никого совершенно не трогало. Чик чувствовал в глубине души некоторую зависть к такому упрощенному восприятию радостей жизни. Он понимал, что он сам на это не способен.

А самое интересное, что после каждой удачной обводки нашим игроком их игрока или после каждого неудачного паса их игроков, а уж тем более после каждого забитого гола нашими игроками весь стадион оборачивался и смотрел куда-то, а куда они все смотрят, Чик никак не мог понять.

— Куда они смотрят, дядя? — спросил Чик.

— Они считают, что на стадионе есть один болельщик из Тбилиси, вот они все и пытаются его разглядеть.

— Они его знают? — удивленно спросил Чик.

— Не больше, чем нас с тобой, — ответил дядя.

— Куда же они все смотрят? — спросил Чик, удивляясь, как это можно на переполненных трибунах разглядеть одного человека.

— Им кажется, — сказал дядя, — что они его могут разглядеть. Может, они меня принимают за него или еще кого-нибудь…

Чика тогда очень удивило это безумие толпы. Ну как можно на трибунах огромного стадиона

разглядеть одного человека, даже если он и в самом деле здесь? Каждый раз после удачи наших футболистов или неудачи их футболистов сотни людей оборачивались, многие вскакивали с мест и старались разглядеть этого невидимого тбилисца, чтобы насладиться выражением растерянности, подавленности на его лице. Чик тогда хорошо почувствовал многостороннюю, как бы уходящую в бесконечность глупость толпы.

Ну до чего же смешные эти люди! Во-первых, явно не зная, где именно сидит этот неведомый тбилисец, они все-таки все смотрели куда-то наверх и в сторону центральной трибуны. Можно было подумать, что этот тбилисец заранее дал всем слово сидеть на таком месте, где его легче всего будет разглядеть. Но, разумеется, он никому никакого слова не давал, если он вообще был на стадионе. Просто всем удобнее было таращиться наверх, и они его искали там, куда им удобней было смотреть.

И еще смешно было, что все, вскакивая с мест и уставившись вдаль с торжествующей улыбкой и явно никого не разглядев и нисколько этим не разочаровавшись, через минуту успокаивались и начинали следить за игрой, словно они достигли своей цели. Их успокаивающие лица с выраже-

нием дурацкого торжества как бы говорили: «Ну, может быть, я его на этот раз и не разглядел, но уж он-то никак не мог не разглядеть моей торжествующей улыбки, а это — главное». И еще смешно было, что толпа, десятки раз вскакивая, чтобы разглядеть удрученного тбилисца, совершенно забывала опыт своих предыдущих бесцельных вскакиваний, и на лицах вскакивающих и оборачивающихся людей не было ни малейшего следа мысли о возможности повторения неудачи. Каждый раз они верили, что именно на этот раз они увидят злосчастного тбилисца.

— Чик, кинь кисточку винограда, — услышал он чей-то голос.

Чик оглянулся. Из окна дома, высящегося рядом с грушей, торчала голова толстого мальчика. Он учился с Чиком в одной школе, только был из другого класса. Он жил на третьем этаже, и окно его находилось на одном уровне с Чиком. Сейчас он вынес на подоконник тетрадь, задачник, чернильницу и ручку. Вообще этот мальчик считался маменькиным сыночком и невысоко ценился Чиком и другими ребятами.

Тем не менее Чик сорвал большую гроздь винограда и небрежно швырнул ее в окно. Толстый мальчик поймал кисть на грудь и стал есть ви-

ноград. Он быстро прикончил гроздь и снова попросил Чика:

— Чик, кинь теперь мне грушу!

Чик неохотно потянулся за грушей.

— Не ту, Чик, во-о-он ту! — сказал мальчик и, вытянув из окна толстую руку, показал на грушу, висевшую на конце ветки далеко от Чика.

— Бери, пока дают! — сказал Чик и, сорвав грушу, висевшую близко от него, кинул ее в окно.

Мальчик опять на грудь поймал грушу и стал уплетать ее. Он ел ее, так сочно вонзая зубы в плод, что Чику самому захотелось, и он, сорвав грушу, стал ее есть.

— Чик, отчего ты все время на дереве сидишь? — спросил мальчик, шумно жуя и причмокивая.

Чик сразу все вспомнил, и кусок груши, который он жевал, сделался водянистым и невкусным.

— Чтобы бросать тебе груши и виноград! — ответил Чик сердито.

— Нет, правда, Чик, — сказал мальчик, доедая свою грушу, — я уже давно заметил, что ты сидишь на дереве… Кинь теперь виноград!

— На твое пузо не напасешься, — сказал Чик, но сорвал еще одну кисточку и бросил ее в окно.

Хотя этот мальчик его рассердил, Чик чувствовал, что не может не бросить ему кисть

винограда. Он подумал, что, когда человеку уже сделал что-то хорошее, трудно не сделать ему еще раз что-то хорошее. Это потому так получается, думал Чик, что если ты ему откажешься делать что-то хорошее, то пропадет то хорошее, что ты ему сделал раньше. А тебе не хочется, чтобы оно пропадало.

— Кроме шуток, Чик, — снова спросил мальчик, — почему ты так давно на дереве сидишь?

— Я теперь отсюда никогда не слезу, — сказал Чик.

— Мама, — обернулся мальчик в комнату, — Чик говорит, что он никогда с дерева не слезет.

Мать ему что-то ответила, но Чик не расслышал ее голоса.

— Чик, но ты же умрешь с голоду, — сказал мальчик, явно повторяя слова матери.

— Нет, — сказал Чик, — я буду есть груши, виноград, инжир, а хлеб ты мне будешь из окна кидать.

— Мама, — обернулся мальчик в комнату, — Чик говорит, что он будет кушать фрукты, а хлеб я ему из окна буду кидать.

Мать ему что-то ответила.

— Чик, — сказал мальчик, явно повторяя слова матери, — но ведь хлеб нельзя из окна кидать?

— Значит, груши и виноград в окно можно кидать, — язвительно проговорил Чик, — а хлеб из окна нельзя?!

Приоткрыв рот, мальчик задумался на несколько секунд. По-видимому, он почувствовал в словах Чика какую-то справедливость. Не в силах сам разрешить этого противоречия, он обратился к матери.

— Мама, — сказал он, — а Чик говорит: почему груши и виноград в окно можно кидать, а хлеб из окна нельзя?

Чик с большим интересом ожидал, что ему скажет его мама. Но она ничего не ответила сыну, а подойдя к окну, выглянула в него и сказала Чику:

— Чик, ты его отвлекаешь от уроков.

— Он сам первый начал, — ответил Чик.

Мать мальчика закрыла окно и ушла в глубину комнаты. Мальчик некоторое время с недоумением глядел на Чика из-за стекла, по-видимому стараясь осмыслить его слова, и, скорее всего, так и не осмыслив их, занялся своими уроками. Время от времени, подымая голову над задачником, он снова глядел на Чика, явно вспоминая его слова, но Чик уже на него не смотрел. Он смотрел во двор.

Девочки продолжали играть в «классики». Лёсик, сидя возле коляски со своими двойняшками, читал книгу. Тетушка продолжала пить чай на веранде. Бабушка, сидевшая на верхней лестничной площадке, ушла оттуда на веранду, а сумасшедший дядюшка Чика, воспользовавшись тем, что бабушка за ним не следила, спустился вниз и сейчас, сосредоточенно склонившись к стене кухонной пристройки, подглядывал за тетей Фаиной. Одна сторона кухонной пристройки была обращена к огороду, и дядя как раз стоял с этой стороны, потому что здесь его со двора никто не видел. Но Чик с груши хорошо видел его склоненную спину и голову, прильнувшую к фанерной стене.

Чик знал, что дядя Коля любит тетю Фаину, но он никак не мог понять, какое таинственное удовольствие доставляет ему следить за тем, как грязнуха тетя Фаина возится в своей захламленной кухоньке. Эта кухонная стена пестрела кожаными латками, при помощи которых муж тети Фаины, по профессии сапожник, латал дырочки в кухонной стене. Эти дырочки в стене довольно умело пробуравливал гвоздиком дядя Коля, чтобы следить за тетей Фаиной. Кстати, вдосталь насладившись зрелищем тети Фаины,

дядя вставлял в дырочку маленький колышек, специально состругaнный им, чтобы дырочку не было заметно со стороны. Об этом знали все, и все смеялись над наивной хитростью дяди Коли. Но Чик в отличие от всех догадался (во всяком случае, он так думал) еще об одном предназначении этого колышка. Чик решил, что этим колышком дядя не только скрывает дырочку от постороннего глаза, но как бы пресекает возможность для других подглядывать за тетей Фаиной.

Кстати, дырочку эту все равно рано или поздно обнаруживала тетя Фаина или ее муж, и во дворе подымался небольшой скандал. Дядя Коля в результате получал от бабушки несколько подзатыльников, которые он, как виновный, переносил с безропотной застенчивостью, а тетушка в зависимости от настроения ругала или дядю Колю, или тетю Фаину, доказывая, что она нарочно совращает дядюшку.

Муж тети Фаины, ворча, что его жена — честная женщина, ставил на стене кухни очередную латку, и дядя Коля несколько дней воздерживался от подглядываний за тетей Фаиной. Но потом он или забывал о случившемся, или под влиянием своей неутихающей страсти снова просверливал дырочку в стене и снова сосредоточенно замирал

над щелочкой, подглядывая за тетей Фаиной, готовившей обед.

Чик с дерева следил за дядей Колей, как вдруг из кухни выскочила тетя Фаина, обогнула ее и очутилась за спиной дяди Коли, продолжавшего смотреть в щелочку.

Она хлопнула его по спине, дядя Коля разогнулся и, страшно сконфуженный, развел руками, видимо, показывая, что страсть, владеющая им, сильнее его воли.

Чик решил, что она сейчас подымет крик, обращаясь к тетушке, все еще пившей чай на веранде, но она неожиданно сделала совсем другое. Она сунула дяде Коле кошелку и, показывая на дерево, на котором сидел Чик, сказала:

— Груши, груши…

Дядя посмотрел на дерево, потом на тетю Фаину, потом опять на дерево и, наконец уразумев ее просьбу, закивал головой и радостно улыбнулся, благодарный ей за то, что она не ругает его. Он тряхнул в руке кошелку и быстро направился к груше.

Чик никак не ожидал такого оборота дела. Дяде Коле строго-настрого запрещали лазить по деревьям, да он и не пытался никогда залезть на дерево. А тут, оказывается, вон что!

Дядя Коля быстро разулся и с необыкновенной энергией, которую Чик определил как следствие его ненормальности, влез на грушу. Сумасшедший дядя и племянник, тайно залезшие на одно дерево, — это было слишком! Если он долезет до вершины, подумал Чик, то он обнаружит, что Чик без разрешения влез на дерево, и поймет, что Чик его самого застукал за тайным сбором груш для тети Фаины. Интересно, сообразит ли он все это?

Но дядя Коля до вершины не долез, а долез только до середины дерева, повесил кошелку на сучок и стал дотягиваться до груш, срывая их и перекладывая в кошелку. Действовал он быстро, но и достаточно осмотрительно, чтобы не упасть с дерева. Оказывается, сумасшедшие тоже чувствуют, как надо держаться на дереве, чтобы с него не упасть. Чик понял, что дядя Коля все это проделывает не в первый раз. Человек, который первый раз влез на дерево, не может действовать столь уверенно и четко.

До чего же хитрая, оказывается, тетя Фаина! Оказывается, она использует любовь дяди Коли, чтобы получать задарма фрукты. Покамест дядя Коля собирал груши, тетя Фаина несколько раз выскакивала из своей кухоньки и глядела на дерево. Чик понял, почему она это делает. Она не

хотела, чтобы дядя Коля сам принес ей на кухню кошелку. Тетушка в этом случае его могла заметить с веранды.

У Чика был большой соблазн срывать виноградины и сверху бросать их на голову дяди Коли. Сидя в густой листве своего укрытия, он мог оставаться для него незамеченным. Но Чик все-таки не решился тронуть его. Все-таки он же никогда не пробовал дразнить дядю Колю на дереве. Вдруг он от неожиданности сорвется с дерева и упадет? Лучше не пробовать.

Набрав груш, дядя Коля слез с дерева, а тетя Фаина подбежала к нему, отобрала у него кошелку, и, пока дядя Коля обувался, она с кошелкой, незаметно прижав ее к бочку, шмыгнула к себе на кухню.

Ну и дела, подумал Чик. Вот как она, оказывается, использует любовь дяди Коли. Дядя Коля обулся и снова подошел к кухонной пристройке и стал глядеть на тетю Фаину в щелочку, по-видимому, решив, что теперь он вполне заслужил это удовольствие. Но недолго пришлось ему смотреть в щелочку. Тетя Фаина выскочила из кухни, подошла к дяде Коле и, ткнув его в бок, сказала, показывая во двор:

— Хватит, иди, иди!

Дядя Коля посмотрел на нее растроганным взглядом и виновато пожал плечами. Он как бы робко намекал на то, что на этот раз заслужил благодарность. Но тетя Фаина оставила этот намек без внимания и, снова ткнув его в бок, показала рукой, чтобы он убирался отсюда. После этого тетя Фаина быстро удалилась, метнув взгляд в сторону веранды, где тетушка Чика продолжала, сидя у окна, пить чай. Дядя, как показалось Чику, тяжело вздохнул, вынул из кармана колышек, воткнул его в дырочку и ушел во двор.

Во двор вошел дядя Алихан, катя перед собой свой лоток с восточными сладостями. Он остановил лоток у порожка своей комнаты, вынес из комнаты большую тарелку и, переложив в нее непроданные сласти, внес в комнату. Потом зажег керосинку, стоявшую у порога дома, и поставил на нее кувшин с водой. Подогрев воду, он вынес из комнаты таз, налил в него воду из кувшина, уселся на маленькой скамейке, разулся и окунул ноги в таз с водой. Распаривать ноги в горячей воде было его любимым занятием. Обычно, распаривая ноги, он скреб подошвы особой ложечкой, при этом постанывая от удовольствия.

Но на этот раз до ложечки не дошло, потому что во двор вышел Богатый Портной с нардами

под мышкой. Жена Алихана вынесла два стульчика. На один из них они поставили нарды, а на другой уселся Богатый Портной. Они раскрыли доску, расставили фишки и стали метать кости. Дядя Алихан, играя в нарды, время от времени подливал из кувшинчика в таз горячую воду, с удовольствием замирая и прислушиваясь к действию воды на его покрытые мозолями ноги. При этом Богатый Портной с раздражением смотрел на него и нетерпеливыми восклицаниями тормошил его и заставлял браться за кости. Так было всегда. Богатый Портной ни за что не хотел верить, что такое пустячное занятие, как распаривание ног и поскребывание подошв ложечкой, может человеку доставлять какое-то удовольствие.

Снова со стороны стадиона раздался взрыв восторга толпы. Видно, наши забили гол.

— Разве это футбол! — воскликнул Богатый Портной. — Это не футбол, Алихан!

— Почему не футбол? — миролюбиво возразил Алихан, подымая свои круглые брови над глазами.

— Потому что футбол кончился, — сказал Богатый Портной. — Кто слышал, чтобы Армавир играл в футбол? В Армавире всегда только се-

мечки кушали. Футбольные годы — это тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой! Это золотые годы футбола!

Чик понял, что сейчас он начнет хвастаться, как он играл в футбол.

— В тридцать пятом году, как сейчас помню, — начал Богатый Портной, — играем с Батумом на нашем поле. Никак не можем забить гол. Тут мне Арчая подает, и я с ходу иду на прорыв. А трибуны волнуются: «Браво, браво, правый инсайд!» А кто правый инсайд? Я правый инсайд! Одного хавбека обвожу! Второго хавбека обвожу и врезаю в девятку! Трибуны с ума сходят: «Браво, браво, правый инсайд!» А сейчас Армавир бросил семечки и начал играть в футбол.

— Значит, научились, — мирно возразил Алихан и подлил в таз воду из кувшинчика.

— Что ты говоришь, Алихан, — крикнул Богатый Портной, — где Армавир, где футбол?!

— Ладно, играй, — сказал Алихан и метнул кости.

Богатый Портной продолжил игру, ворча и постепенно успокаиваясь.

Тут во двор вошел какой-то человек и подошел к дяде Коле. Дядя Коля сидел на одном из камней, огораживающих клумбу со сливой посредине,

и, помахивая веточкой шелковицы, отгонял от себя мух.

Человек что-то стал спрашивать у дяди Коли, но дядя Коля явно его не понял и стал отмахиваться от него веткой шелковицы. Тот продолжал свои расспросы, и дядя Коля несколько более раздраженно отмахнулся от него веткой.

Тут Богатый Портной и Алихан заметили этого человека, и Алихан раскрыл было рот, чтобы объяснить ему, что он имеет дело с сумасшедшим. Но Богатый Портной движением руки остановил его, чтобы позабавиться этим недоразумением. Человек снова обратился к дяде Коле, и Богатый Портной затрясся от сдерживаемого смеха. Дядя Коля уже довольно резко отмахнулся от него своей веточкой шелковицы.

— Отстань, — сказал он ему по-турецки и добавил по-русски: — Иди, иди!

Небольшой словарь дяди Коли, по подсчетам Чика, около восьмидесяти слов, состоял из абхазских, турецких и русских слов. На этих языках говорили дома, и он составил себе небогатый, но затейливый язык из смеси трех языков.

— Что вам надо, товарищ? — наконец обратился к этому человеку Богатый Портной, словно только что заметив его.

— Я у него спрашиваю, не живет ли в этом дворе Габуния, — сказал человек, недоумевая, — а он мне ничего не отвечает.

— Так он же сумасшедший, — ответил Богатый Портной восторженно, — разве вы не знаете?

— Нет, конечно, — ответил человек и опасливо отстранился от дяди Коли.

— Да, — восторженно подтвердил свои слова Богатый Портной, — он самый настоящий сумасшедший!

— Я же не знал, — сказал человек, опасливо косясь на дядю Колю, который, обернувшись к Алихану и Богатому Портному, стал им, смеясь и делая рукой всякие знаки, объяснять нелепость поведения этого человека, обращающегося к нему с праздными вопросами.

— Если вас что-нибудь интересует, — продолжал Богатый Портной с важностью, — вы можете спросить у меня. У Алихана тоже можете спросить, но у него нельзя спрашивать, потому что это будет пустой номер. А если вас интересует Габуния, работающий сторожем в школе, он живет в следующем дворе направо.

— Спасибо, — сказал человек и, как показалось Чику, с облегчением покинул их двор.

— Вот люди, — сказал Богатый Портной, — мы

здесь сидим и играем, но он у нас не спрашивает, а спрашивает у бедного Коли.

Богатый Портной разговорился, и, видно, ему еще хотелось поговорить.

— Ладно, играй, — прервал его Алихан, и Богатый Портной метнул кости.

И тут внезапно Чика осенила гениальная мысль: он приведет в школу дядю Колю! Ведь его там никто не знает. А если учителю что-нибудь покажется странным, то Чик объяснит это тем, что дядя Коля плохо слышит. Он ведь и в самом деле плохо слышит.

Осчастливленный своей удивительной догадкой, Чик быстро слез с дерева и вошел во двор. Белочка подбежала к нему и стала прыгать вокруг него, показывая, до чего она по нему соскучилась. Поглаживая прыгающую Белку, Чик с удовольствием обошел дядю Колю, деловито вглядываясь в него и стараясь почувствовать, какое впечатление он произведет завтра на Акакия Македоновича. Дядя тоже насторожился, следя глазами за Чиком. Ему казалось, что Чик присматривается к нему, чтобы начать его дразнить.

— Собака, — по-абхазски прикрикнул он на прыгающую Белку, тем самым предупреждая, что готов дать отпор любому злому умыслу Чика.

Но Чик и не думал его дразнить. Он готов был броситься на шею дяде Коле и восторженно прижать его к груди. К сожалению, дядя Коля такие вещи не понимал. Чик отошел от него и стал ходить по двору, обдумывая план завтрашних своих действий.

Как дядю Колю выманить со двора и привести его в школу? Конечно, лучший способ — пообещать ему лимонад. Дядя Коля больше всего на свете обожал лимонад. Магазин, где продавали лимонад и всякие другие продукты, был расположен рядом со школой. Надо привести туда дядю Колю, опоить его лимонадом и потом, когда благодушие его достигнет предела, завести его в школу.

Но где взять деньги на лимонад? У Чика денег не было, а дома с деньгами было трудновато. Дома денег не дадут. Где же их взять? Конечно, у Оника, сына Богатого Портного. У него копилка, в которую он опускает монеты почти каждый день.

Чик имел большое влияние на своих товарищей по двору. Он мог уговорить Оника одолжить ему эти деньги. Но он знал, что от этого у Оника испортится настроение. Чик не хотел, чтобы у Оника портилось настроение. Он решил что-нибудь обменять на деньги, которые даст ему Оник.

Что же ему дать? У Чика не было ничего такого, что бы могло понравиться Онику.

Но, видно, гениальный замысел не приходит один, он приводит с собой другие гениальные догадки, чтобы выполнить этот замысел. Чик понял, что он предложит Онику. Он ему продаст теннисный мяч, который застрял в желобе крыши. Хотя формально мяч этот Чику не принадлежал, но Чик его первый заметил, и это означало, что он будет принадлежать Чику.

Чик посмотрел на небо. Ему хотелось, чтобы на небе были тучи и собиралась гроза. Тогда легче было бы уговорить Оника, потому что во время грозы поток воды в желобе может подхватить мяч — и он, пройдя водосточную трубу, бултыхнется в бочку.

Небо, к сожалению, было синее, и никаких признаков ухудшения погоды Чик не заметил. Но ничего, все равно теперь он уговорит Оника. Надо взять у него денег на две бутылки лимонада. Такой мячик стоит гораздо больше, чем две бутылки лимонада.

— Наши выиграли четыре — ноль! — восторженно закричал Оник, вбегая во двор.

— Армавир — это не команда, — сказал Богатый Портной, уже обращаясь к Онику, — в Армавире

только семечки кушают!

Чик взял Оника под руку и отвел его подальше от всех к подножию кипариса. Оник еще был пронизан восторгом победы наших футболистов. Чик чувствовал, что очень скоро восторг его угаснет, но ничего нельзя было сделать, решалась судьба.

— Оник, — сказал Чик, — мне позарез нужно сорок копеек для одного дела.

— Но у меня нет, — сказал Оник, постепенно тускнея.

— Знаю, — сказал Чик, — но ты их должен вынуть из своей копилки.

— Из копилки папа не разрешает, — сказал Оник, окончательно загрустив.

— Знаю, — сказал Чик, — но мне позарез нужно сорок копеек. Я тебе продаю свой теннисный мяч за сорок копеек.

— А он что, уже выкатился? — оживился Оник и даже удивленно посмотрел на небо.

— Нет, — сказал Чик, как человек, придерживающийся суровой правды, — но скоро начнутся ливни, и он выкатится...

— Выкатится, — уныло повторил Оник, опять потускнев, — он целых два года не выкатывается...

— Обязательно выкатится, — сказал Чик уве-

ренно, — ведь больше ему некуда деться.

Оник уныло посмотрел на синее небо.

— На небе ни одной тучки, — сказал Оник.

— Правильно, — сказал Чик, — но что это значит?

— Это значит, — сказал Оник, — что погода хорошая и дождя не будет.

— Нет, — сказал Чик, — это значит, что скоро будет дождь.

— Почему? — удивился Оник.

— Как же ты не понимаешь, — сказал Чик, — раз уже столько дней погода хорошая, значит, скоро должен пойти дождь. Не может же быть все время хорошая погода?

— Все-таки неизвестно, выкатится мяч или нет, — сказал Оник.

— Выкатится, — повторил Чик убежденно, — ему больше некуда деться… И вот что… Если тебе жалко денег, так я у тебя потом выкуплю мяч, и получится, что ты все это время бесплатно пользовался моим мячом…

— А когда выкупишь? — оживился Оник.

— Не знаю, — сказал Чик честно, — но ведь чем дольше я не буду у тебя выкупать мяч, тем больше ты будешь им бесплатно пользоваться.

— Ладно, сейчас принесу, — сказал Оник, за-

думавшись над двусмысленным предложением Чика. С одной стороны, вроде лучше бы Чик его быстрее выкупил, а с другой стороны, чем дольше он не будет выкупать, тем дольше можно им бесплатно пользоваться.

Оник бежал домой и чувствовал, что он сделал выгодную сделку. Он вытряхнул из копилки сорок копеек, поставил копилку на место и вернулся во двор. Он передал деньги Чику, и Чик положил их в карман. Тут Оник вспомнил, что мяча еще нет и погода не портится. Он опять загрустил, и Чик это почувствовал.

— Не унывай, — сказал Чик, щупая в кармане две двадцатикопеечные монеты, — скоро у тебя будет прекрасный теннисный мяч.

— Нет, — вздохнул Оник, — я ничего.

Остаток дня и весь вечер Чик думал о предстоящем походе с дядей Колей в школу. Он испытывал необычайный прилив нежности к дяде Коле, но не знал, как его проявить. Он бросал на него долгие взгляды, особенно когда оставался с ним наедине или когда на них никто не смотрел. Раньше обычно Чик эти мгновения использовал для того, что подразнить его. И когда сейчас Чик смотрел на дядю Колю, дядя Коля тоже смело устремлял на него свой взгляд в ожидании, что

Чик его сейчас начнет дразнить. Но Чик ему взглядами старался сказать, что он его любит и никогда, никогда его больше не будет дразнить. Он также пытался объяснить дяде Коле взглядами, к какому большому и важному делу он приставлен Чиком.

Но дядя Коля его взглядов не понимал. Он только знал, что раз Чик стал на него глазеть, то, значит, Чик собирается его дразнить. И он готовился к обороне, слегка подобравшись и глядя на Чика твердым, почти не мигающим взглядом. В конце концов кроткий взгляд Чика дяде надоел, и он, решив, что этот кроткий взгляд — новый способ издевательства, упрощенно пожаловался бабушке:

— Мальчик смотрит.

— Уж и посмотреть на тебя нельзя, — сказала бабушка и слегка хлопнула дядю по спине.

На следующий день перед началом занятий Чик воспользовался моментом, когда дядюшка был вне поля зрения взрослых, подошел к нему и показал свои деньги. Дядюшка очень заинтересовался деньгами и, наклонившись, внимательно их рассмотрел.

— Лимонад, лимонад, — громко сказал Чик и, махнув рукой, дал ему знать, что он может пойти

с ним в магазин и выпить лимонаду.

— Лимонад? — обрадованно переспросил дядюшка.

— Лимонад, — подтвердил Чик и положил деньги в карман.

— Пошли, — сказал бодро дядюшка по-турецки и добавил по-русски: — Мальчик хороший.

Они спустились со второго этажа во двор, и Чик, знаком остановив дядюшку, забежал домой за портфелем и пиджаком отца. Чик заранее завернул в газету этот пиджак и собирался по дороге напялить его на дядю. Чик считал, что в пиджаке у дяди будет более солидный, интеллигентный вид. А так он выглядел как-то несолидно — то ли деревенский пасечник, то ли сторож какого-то сада.

Чик схватил портфель и сверток с пиджаком и выскочил во двор. Он очень боялся, что мама, или тетушка, или бабушка остановят их, пока они выходят со двора. Но их никто не заметил, и они, выйдя на улицу, быстрыми шагами дошли до угла. У дядюшки был тот целенаправленный вид, какой у него бывал, когда они шли на море, на базар или в баню.

На углу Чик развернул сверток и подал пиджак дяде. Дядюшка с удивлением оглядел пиджак.

— Черим-баба? — догадался дядюшка, что пиджак принадлежит отцу Чика. Так он его называл.

— Надевай, надевай, — кивнул Чик.

— Колю ругать? — спросил дядюшка, имея в виду, что без спросу надевать чужие вещи не положено, хотя он очень любил всякую обновку.

— Нет, нет, — замотал головой Чик, а потом утвердительно закивал: можно.

— Можно? — спросил дядюшка, склоняясь надеть пиджак и радостно глядя на него.

— Да, да, — сказал Чик и подал ему пиджак.

Дядюшка надел пиджак и взволнованно оглядел его. Он сунул руки в карманы и вынул из одного из них платок. Тут взыграла его обычная брезгливость; пиджаку он был рад, но грязный платок ему был ни к чему.

— Гадкий, — сказал он по-турецки и, держа платок двумя пальцами, вручил его Чику.

Чик молча положил платок в карман, и они подошли к магазину, где торговал толстый продавец Месроп.

— Дядя Месроп, две бутылки лимонада, — сказал Чик и, стукнув монетами, положил их на прилавок.

Дядюшку распирала гордость и от предстояще-

го лимонада, и от нового пиджака.

— Черим-баба, Черим-баба, — сказал он продавцу, хлопая себя ладонями по груди и показывая, что отец Чика подарил ему новый пиджак.

— Хороший, хороший, — сказал Месроп, знавший дядю Колю, и показал ему большой палец в знак высокой оценки пиджака.

— Хороший, — согласился дядя Коля и поощрительно похлопал Чика по плечу в знак одобрения всех его действий. Он был взволнован и возбужден.

Месроп открыл две бутылки лимонада, вымыл стакан и поставил его перед дядей. Дядя быстро налил себе в стакан желтый бурлящий лимонад, и, продолжая держать одной рукой бутылку, поднес другую ко рту и, блаженствуя и судорожно двигая горлом, вылил туда весь стакан. Потом он быстро, словно боясь, что лимонад испарится, налил второй стакан, и не успели пузырьки в нем успокоиться, как он с такой же быстротой вылил его себе в горло. После третьего стакана, опорожнив бутылку, он сделал небольшую передышку.

Пока он пил, толстый, тяжело дышащий Месроп добродушно следил за ним, радуясь за него, что он может так наслаждаться такими простыми вещами, и одновременно радуясь за себя, за

то, что он в отличие от дяди Коли нормальный человек, а не сумасшедший.

Дядя Коля, слегка опьянев от выпитого лимонада, стал знаками и восклицаниями рассказывать Месропу свою запутанную историю взаимоотношений с Чиком. Он ему пытался объяснить, что вот Чик по своему недомыслию иногда его дразнит, а на самом деле довольно добрый мальчик, потому что подарил ему пиджак и еще угостил лимонадом.

После второй бутылки дядя был в полном восторге. Как только они отошли от прилавка, Чик повернулся в сторону школы, которая находилась рядом, и, показывая на нее, сказал:

— Пойдем в школу.

— Школа, школа, — согласился дядя, взглянув на нее, но еще не понимая, что Чик его туда приглашает.

О предназначении школы дядя, как понимал Чик, догадывался. Но в таких мелких подробностях, как учителя, директор, вызов родителей, он, конечно, не разбирался.

Чик, взяв его за рукав, слегка потянул в сторону школы.

— Школа, школа, — повторил Чик, стараясь голосом довести до его сознания свое намерение

и внушить, что это намерение ничего опасного для него не содержит в себе.

— Школа? — переспросил дядя.

— Да, школа, школа, — повторил Чик и снова потянул его за рукав.

— Пошли, — сказал дядя по-турецки и отправился вместе с Чиком в сторону школы.

Чика несколько встревожило, что дядя, общаясь с учителем русского языка, может употреблять нерусские слова. В крайнем случае, решил Чик, он скажет учителю, что дядя хорошо понимает по-русски, но плохо говорит.

Как раз прозвенел звонок на большую перемену, и Чику вдруг пришла в голову возможность нового препятствия. Он боялся, что кто-нибудь из его друзей, встретив его в школе с дядей и не понимая, для чего он его привел, невольно выдаст, что дядя сумасшедший.

В самом деле, как только они вошли в школьный двор, навстречу им бросилась Сонька.

— Чик, зачем ты дядю привел? — крикнула она.

— Молчи, — сказал Чик, — потом все узнаешь.

— Что узнаю, Чик? — спросила Сонька, но Чик, сделав страшные глаза, прошел мимо Соньки.

Перед учительской была большая открытая ве-

ранда, где на переменах прогуливались учителя. Чик заметил среди них Акакия Македоновича. Чтобы дойти до лестницы, ведущей на веранду, надо было пройти мимо скульптуры трубача, трубящего в трубу. Чик очень боялся, что дядя, увидев эту скульптуру, остановится и будет, показывая на нее рукой, говорить: «Я, я, я…»

У него была привычка принимать за себя всякое изображение понравившегося ему человека, будь то скульптура, плакат, фотокарточка или газетный снимок.

Стараясь прикрывать трубача, Чик дошел с дядей до лестницы и поднялся с ним на веранду. Чик чувствовал вдохновение. Он понимал, что решается его судьба.

Акакий Македонович стоял один у балюстрады. Чик с дядей подошли к нему.

— Акакий Македонович, здравствуйте, — сказал Чик, первым поздоровавшись, чтобы незаметно было, что дядя не отвечает на приветствие.

Обычно дядя не здоровался и не прощался. Для него это были слишком мелкие подробности жизни. Но руку подавать он умел, хотя и не любил из брезгливости.

— Здравствуйте, — обернулся Акакий Македо-

нович, смотревший в другую сторону.

Оглядев Чика и дядю, он подал дяде руку. Дядя пожал протянутую руку. Для начала было неплохо.

— Это мой дядя, — сказал Чик и, как бы откровенно признаваясь, добавил: — Он плохо слышит.

Акакий Македонович, взяв дядю под руку, стал прогуливаться с ним по веранде. Чик правильно сделал, что предупредил Акакия Македоновича о том, что дядя плохо слышит. Дядя и в самом деле плохо слышал. Но Чик заботился не о том, чтобы Акакий Македонович приспособился к его слуху. Нет, его хитрость состояла в том, что, предупредив, что дядя плохо слышит, он тем самым оправдывал некоторые странности, которые Акакий Македонович мог заметить за дядей.

Чик точно не знал, о чем говорит Акакий Македонович с дядей. Он только услышал, когда они проходили мимо него, что Акакий Македонович читает ему свои последние грамматические стихи:

…И теперь любому ясно,
Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране.

— Спрашивается, что тут странного? — сказал Акакий Македонович, и они прошли мимо. Неизвестно, ждал ли Акакий Македонович на свой вопрос какого-то ответа. Чик ничего не слышал. Но он надеялся на характер Акакия Македоновича. Ему было важнее всего самому говорить, а не слушать, что ему говорят.

По виду дяди было заметно, что он польщен разговором, который затеял с ним этот важный человек. А то, что человек этот важный, дядя мог понять потому, что тот был в галстуке и в шляпе. Акакий Македонович очень редко и неохотно расставался со своей зеленой велюровой шляпой.

Вдруг в конце веранды появилась Сонька. Она никак не могла понять, почему Чик пришел в школу со своим сумасшедшим дядей. Чик сделал страшное лицо, давая ей понять, чтобы она ни за что на свете не приближалась к нему. Сонька в недоумении стояла в конце веранды, не понимая причины волнения Чика и еще больше не понимая, почему учитель прогуливается с сумасшедшим дядюшкой Чика.

Снова прошли мимо него Акакий Македонович с дядей Колей. По лицу дяди было заметно, что он доволен разговором, который ведет с ним серьезный взрослый человек.

— Я думаю, тут сказывается влияние улицы, — донесся до Чика голос Акакия Македоновича.

— Улица, улица, — повторил дядя по-русски знакомое ему слово.

Дойдя до конца веранды, они повернулись и подошли к Чику.

— Я надеюсь, Чик, ты теперь осознал всю неуместность своего поведения на уроке? — сказал Акакий Македонович.

— Да, — согласился Чик смиренно, — осознал.

— Я тут обсудил с твоим дядей твое поведение и надеюсь, он все передаст твоим родителям.

— Конечно, — сказал Чик, как бы слегка сожалея о неизбежной пунктуальности дяди.

— Не скрою, — добавил Акакий Македонович, понижая голос, — твой дядя мне показался странным.

— Он необразованный, — пояснил Чик странность дяди.

— Да, это заметно, — подтвердил его слова Акакий Македонович и протянул дяде руку. Дядя пожал протянутую ему руку.

— До свидания, — сказал Акакий Македонович.

— До свидания, — ответил Чик за обоих и поспешил увести дядю с веранды.

Чик шел с дядей по лестнице. Рядом вприпрыжку спускалась Сонька, то и дело спрашивая:

— Чик, что случилось?

— Ничего не спрашивай, — отвечал ей Чик, — потом все расскажу.

Сонька отстала. Чик чувствовал за спиной взгляд Акакия Македоновича, в душу которого явно закрались какие-то подозрения. Чику хотелось, чтобы дядя как можно благопристойней покинул школьный двор.

Внезапно посреди двора дядя остановился у колонки и, отвернув кран, стал усердно мыть руки. Он всегда мыл руки, если с ним кто-нибудь здоровался. Чику это очень не понравилось, но он не стал останавливать дядю, боясь, что это может привести к непредвиденным осложнениям.

Чик украдкой оглянулся на веранду и встретился взглядом с Акакием Македоновичем. Тот перевел удивленный взгляд с дяди на Чика, как бы требуя объяснить поведение дяди. Чик слегка пожал плечами, как бы давая знать, что необразованные люди вроде дяди вечно моют руки, как только им на глаза попадается какая-нибудь колонка.

Но тут дядя, вымыв руки и вытерев их платком, поднял глаза и увидел скульптуру трубача. Он

стал показывать на нее рукой и, радостно стукая себя в грудь другой рукой, повторять:

— Я, я, я…

Акакий Македонович еще более удивленно наклонился над балюстрадой веранды, стараясь разглядеть предмет, на который указывал дядя. По-видимому, он все-таки не догадался, что дядя имеет в виду статую. Слова, которые дядя произносил, он не мог расслышать.

Чик подхватил дядю под руку и увел его со двора. Дядя слегка упирался и оглядывался. Он явно недостаточно налюбовался скульптурой. Чик вывел его со школьного двора, направил в сторону дома и отпустил, надеясь, что он по инерции уже сам дойдет до дома, никуда не сворачивая. Дядя быстрой походкой удалялся. Несколько раз он оглянулся, надеясь разглядеть скульптуру трубача, но теперь веранды не было видно.

Прозвенел звонок, и Чик побежал в свой класс. Чик был счастлив, что сумел перехитрить Акакия Македоновича. Его немножко смущало, что, как только дядя придет домой, с него совлекут пиджак отца, не понимая, как он к нему попал. Но это было не страшно. Главное, что тетушка, ни о чем не зная, могла спокойно пить чай на своей веранде.

Чик и Пушкин

В классе было тихо-тихо. Александра Ивановна сидела за столом и читала «Капитанскую дочку». Даже пылинки в солнечном луче, падающем на стол учительницы, казалось, стали медленнее кружиться, все пристраиваясь и пристраиваясь к спокойному и милому порядку книги. Александра Ивановна ее читала уже много дней, и каждый раз в классе устанавливалась волшебная тишина.

Чик ужасно любил эти минуты. Конечно, и книга была мировая, и Александра Ивановна здорово читала. Но тут было еще что-то другое. Чик это чувствовал. В голосе Александры Ивановны журчат уют, слаженность всей жизни, где всем, всем людям будет хорошо. Сначала в классе, как сейчас, а потом и во всем мире. И хотя книга была как бы не об этом, но через голос учительницы получалось, что и это в ней есть.

Он чувствовал, что всем классом слушать Александру Ивановну, читающую эту книгу, гораздо слаще, чем одному. Оказывается, когда многие рядом с тобой наслаждаются книгой, гораздо слаще делается и тебе самому.

И Чик любил сейчас всех ребят класса за то, что они так послушно наслаждаются. Ну, Александру Ивановну он и всегда любил больше всех остальных учителей.

Он любил ее старое, морщинистое лицо в пенсне, ее высокую, легкую фигуру в аккуратном сером пиджаке и этот ровный голос, старающийся не выдавать того, что она сама чувствует при чтении, чтобы не было взрослой подсказки, где смеяться, а где горевать. Чик и за это ей был благодарен.

Чик вспомнил свое далекое, в первом классе, знакомство с Александрой Ивановной. Какой он был тогда глупый! Он пришел в первый класс с опозданием. Его не хотели принимать, потому что он недотягивал по возрасту. А потом приняли.

И он, не зная школьных правил, в первое время то и дело попадал впросак. Так, он долго не мог понять, что в классе нельзя громко разговаривать. Почему? Разве кто-нибудь спит или больной?

Школа предлагала ему во время урока как бы заснуть для жизни, чтобы проснуться для учебы. А Чик, громко разговаривая, как бы отстаивал прекрасную возможность одновременно жить для жизни и жить для учебы. И снова начинал

громко разговаривать с соседями.

Наконец Александре Ивановне надоела непонятливость Чика, и она ему предложила выйти из класса, тем более что он уже тогда был громкоголосым. И Чик стал собирать портфель, чтобы выйти вместе со своими вещами, а класс вдруг стал хохотать над ним. И Чика больно пронзил этот гогот класса.

Он растерялся и посмотрел на Александру Ивановну, не понимая, почему над ним смеются. И вдруг увидел, что она тоже смеется над ним, но смеется, любя его. Чик вгляделся в нее: да-да, смеется любя! И у Чика сразу отлегло! Если бы школьники своим смехом хотели унизить его, она бы не могла вместе с ним смеяться любя! Его любимый дядя Риза тоже часто так смеялся над ним. И Чик точно знал: смеяться любя — это еще больше любить.

Александра Ивановна, продолжая смеяться, показывала рукой, что портфель можно оставить в парте, а самому выйти из класса. Чик неохотно оставил портфель и вышел. Он все-таки не мог понять, почему он должен оставить портфель. Видимо, сказывалась детская привычка, выходя из игры, забирать с собой свои игрушки.

И все эти годы в школе над Чиком сияла лю-

бящая улыбчивость Александры Ивановны, и он привык к этому и думал, что это будет вечно. Чик не знал, что через год литературу и русский язык будет преподавать директор школы Акакий Македонович и тогда не только не будет любящей улыбчивости, но и кончится праздник литературы. Она поскучнеет, как и сам Акакий Македонович.

И Чику будет так странно и грустно видеть, как Александра Ивановна легкой и быстрой походкой проходит по школьному коридору, но теперь всегда, навсегда идет не к ним в класс, а в другой, в другие.

И это будет так странно, так грустно, как если вдруг мама, возвращаясь с базара, повернет в другой двор и каждый раз будет поворачивать в другой двор и никогда не будет поворачивать к себе домой, к нам домой.

Чик не знал, что это тоска по вечному. Детство верит, что все будет вечно: и мама, и солнце, и мир, и любимая учительница. А тут вдруг вечность укоротилась на Александру Ивановну. Она как бы есть, и ее как бы нет. И Чик, продолжая любить Александру Ивановну, старался не попадаться ей на глаза. Не то чтобы избегая, но старался не попадаться ей на глаза. Было как-то

стыдновато. Получался какой-то обман природы. Только разогнался вечно любить Александру Ивановну, а тут вдруг вместо нее Акакий Македонович со своей вечнозеленой шляпой. Чик, конечно, не сравнивал. Он это чувствовал.

Но сейчас до этого было далеко-далеко! Этого даже не было вообще. В классе струился и струился голос Александры Ивановны. И чем больше Чик слушал, тем сильнее ему нравился Савелич. Вот чудило! И как он предан своему барчуку, и как бесстрашно готов защищать его. Прямо как наседка цыпленка!

Чика уже учили, что холопство — это плохо. И он с этим был согласен. Но хоть Савелич по должности был холоп и его преданность барину надо было презирать, Чик не только не чувствовал этого презрения — он просто обожал его.

Сам готов каждую минуту умереть за своего барчука, а сам ворчит, ворчит, ворчит. И то ему не так и это ему не так. Как будто он барин. Он барин своей преданности. Вот таких преданных ворчунов Чик обожал больше всех на свете.

Преданных, которые никогда не поворачивают на тех, кому они преданы, Чик не любил. Они такие скучные! Ходят с таким надутым выражением: мол, преданными быть очень трудно.

Смотрите, смотрите, какие мы преданные! Думаете, легко быть преданными? Очень трудно быть преданными! Но вот мы преданные и не ворчим.

Чик даже не очень верил в такую преданность. Да ты лучше поворчи, как Савелич, тогда и видно будет, насколько ты предан. Нет, не ворчат! Ну и катитесь со своей скучной преданностью!

Каждый раз, когда по ходу чтения должен был появиться Савелич, Чик переглядывался с одним учеником. Звали его Сева. Они, переглядываясь, понимающе улыбались друг другу: сейчас, сейчас Савелич учудит что-нибудь смешное.

Чик всегда переглядывался с Севой. Когда в классе надвигалось что-нибудь смешное, а другие ученики еще не понимали, что смешное надвигается, они уже переглядывались и кивали друг другу. Было приятно чувствовать, что они уже знают о приближении смешного, а класс еще ничего не подозревает. Скрипит себе перьями или шушукается.

Этот Сева был удивительный пацан. Он смешное замечал даже лучше Чика. Он не был шумным шалуном, но не был и тихоней. Он был спокойным, вот что удивительно.

Учился хорошо, но и не лез в отличники. Одевался довольно бедно, но всегда чистый и ак-

куратный. Сидит себе такой глазастик с круглой светло-курчавой головой и только посматривает внимательно по сторонам, где бы высмотреть что-нибудь смешное. Даже на контрольной он находил время заметить и обратить внимание Чика на мальчика, который так увлекся шпаргалкой, что прямо сунул голову в парту, забыв, что учитель его вот-вот накроет.

В прошлом году к ним в класс пришел новичок, который каждый день перед большой переменой на уроке потихоньку съедал свой завтрак, принесенный из дому. Жадный, боялся, что попросит кто-нибудь на переменке.

Сева первый это приметил, хотя ученик сидел далеко от него и ел исключительно осторожно. И с тех пор Сева и Чик не пропускали ни одного дня, чтобы не полюбоваться глупой жадностью этого мальчика. И мальчик давно заметил, что Сева и Чик следят за его тайными завтраками, и всем своим видом показывал, что неприятно удивлен их вниманием.

Незадолго до большой перемены Сева и Чик начинали глядеть на этого мальчика, как бы поощряя его: давай начинай! Мальчик обидчиво надувался, как бы говоря: захочу — начну, захочу — нет! Но все равно начинал. Особенно смешно

было, что он после каникул думал, что Сева и Чик за лето подзабыли о нем. Но не тут-то было! Только он полез одной рукой в парту, чтобы подготовить бутерброд для укуса под партой, как был пойман взглядами Севы и Чика: никуда не уйдешь, начинай!

Сева сразу заметил, что математик проявляет смешную странность. Если он приходил на урок не в духе, всегда первым вызывал к доске одного и того же мальчика. Самого тихого ученика, единственного очкарика во всем классе.

Бывало, входит математик туча тучей, садится за стол, открывает журнал. А Сева уже переглядывается с Чиком и кивает на того мальчика. А тот ничего не подозревает, скромно сидит себе за своей партой.

— Анциферов, к доске!

Анциферов вздрагивает, поправляет очки и идет к доске.

Однажды на переменке Сева подозвал Чика своей улыбкой. Чик охотно подошел.

— Видел вчера нашего математика. Он с женой шел с базара, — сказал Сева, глядя с улыбкой на Чика и предлагая начать веселиться.

Чик решил, что веселиться рановато.

— Ну и что? — пожал он плечами. — Многие

мужчины сейчас ходят с женщиной на базар. Это до революции они стыдились ходить на базар с женщиной.

— Я за ними пристроился, — сказал Сева, продолжая лучезарно улыбаться, — они всю дорогу ругались.

Чик и тут не нашел большого повода для веселья.

— Ну и что? — настаивал Чик на более веских доказательствах. — Многие мужчины ругаются со своей женой. Я слышал.

— Она была в очках, — добавил Сева и расплылся.

— Ну и что? — упорствовал Чик, требуя более четкого определения повода для веселья, хотя смутно что-то почувствовал. — Многие женщины ходят в очках. Ничего особенного.

Сева, продолжая лучезарно улыбаться, таинственно кивнул на Анциферова. Чик глянул на Анциферова, и вдруг, как молнией, его пробило: тут очки и там очки! Он злится на жену и, приходя в класс, рокочет, как гром:

«Анциферов, к доске!»

Далеко же Сева видел смешное! Ох как далеко!

В другой раз на уроке истории учитель рассказывал об одном древнегреческом полководце.

Чик случайно взглянул на Севу. Он сидел в другом ряду впереди Чика. Оказывается, Сева уже вовсю улыбается и кивает на учителя. Оказывается, он уже давно видит смешное.

Но это был очень хороший учитель, и полководец, о котором он рассказывал, был грозный полководец. Чик приглядывается к учителю, прислушивается к его словам: ничего смешного! Чик снова прислушивается. Нет, все в порядке, и учитель здорово говорит, и полководец шутить не любит. А Сева все кивает! Скоро урок кончится, а Чик ничего не поймет! И вдруг его осенило! Очень уж горячо учитель истории рассказывал о греческом полководце! А сам по национальности грек! Своих нахваливает, своих! — вот что означали улыбки и кивки Севы.

И в самом деле, Чик вспомнил, о полководцах других древних народов он так горячо не говорил. Ну, там Дарий, Цезарь, Ганнибал. Было от чего погорячиться, но там он что-то не слишком горячился.

Они тогда тихо и хорошо повеселились на уроке. Все, что ни говорил учитель, становилось смешным. Потому что он был грек и, рассказывая о древнегреческом полководце, горячился. А ребята только косились на Чика, не понимая, почему

он трясется от тихого смеха. Они, конечно, знали, что учитель грек, но им и в голову не приходило, что он болеет за древнегреческого полководца. Очень уж далеко это было!

Сева жил на горе недалеко от того места, где обитали рыжие волчата. Однажды Чик пришел к нему домой, и они вместе вышли на склон рвать молочай для свиньи. Севин отец держал свинью. Они набрали целый мешок молочая, и, пока рвали его, Сева успел рассказать Чику про свою свинью столько забавного, что Чик от смеха чуть не скатился с горы.

Эта свинья очень дружила с собакой Севы. Если его собака сцеплялась с каким-нибудь бродячим псом, свинья бежала на помощь. Где бы она ни была, она по голосу узнавала, что ее друг в беде, и бежала на выручку, еще издалека воинственным визгом пугая чужую собаку.

Это была исключительно храбрая свинья и так предана Севиной собаке, как будто она сама ее родила. Иногда, завидев бродячую собаку, она первая шла на нее и оглядывалась на своего дружка, стараясь увлечь его на боевые действия. Иногда Севиной собаке неохота было драться. Но неудобно — свинья уже в атаке. Приходится бежать за ней.

Она так любила Севину собаку! Иногда, когда собака лежала во дворе, свинья приходила и укладывалась рядом с ней, норовя положить голову на спину собаке. А Севиной собаке неловко встать и уйти, потому что она знает, как свинья ее любит и как она предана ей. И вот свинья похрюкивает, положив голову на спину собаке, а собака молчит, терпит, только старается дышать в сторону, чтобы воняло поменьше. Иногда даже перпендикулярно к небу вытягивала голову, чтобы глотнуть свежего воздуха. Но не уходила, не могла обидеть преданную свинью.

Да, Сева это Сева! Вот так Чик сидел в классе, наслаждаясь чтением Александры Ивановны и каждый раз переглядываясь с Севой, когда появлялся Савелич.

Вдруг в классе раскрылась дверь и вошел неизвестный мужчина. Ребята, грохнув крышками парт, вскочили. Мужчина, красиво склонившись в сторону Александры Ивановны, спросил:

— Можно?

— Пожалуйста, — сказала Александра Ивановна с улыбкой и уступила ему свое место.

Чик заметил, что девочки ожили и зашушукали: «Отелло! Отелло!» Мужчина движением руки посадил ребят и сам сел, скрипнув стулом.

Александра Ивановна села напротив него на первую парту.

— Ребята, — сказал мужчина, — я артист местного драматического театра. Зовут меня Евгений Дмитриевич Левкоев. Я сейчас веду драмкружок в вашей школе. Я ищу талантливых, сценически одаренных школьников. Есть они у вас?

Некоторые девочки смущенно подхихикнули. Ребята молчали. Чик впервые видел артиста в такой близости. Он еще совсем маленьким один раз был в городском театре. И ему там больше всего понравилась изображенная при помощи световых эффектов быстро мчащаяся машина. Было очень похоже.

Артист был в голубом костюме и в голубом галстуке, и глаза у него были голубые. Он был немолодым крупным человеком с длинной жилистой шеей, чем-то похожий на отяжелевшего, одышливого орла. Чик видел таких голошеих орлов в приезжем зверинце. Они неподвижно стояли на камнях, приоткрыв клювы и тяжело дыша. Чик жалел их. Было ясно, что они привыкли к высоте и им трудно тут в потном летнем городе.

Чика удивило выражение лица артиста. Оно у него было брюзгливое. По лицам некоторых

гостей, которые приходили к ним домой или к тетушке, Чик заметил, что такое выражение бывает как раз у тех из них, кто слишком любит вино. И Чик никак не мог понять, почему у этого артиста такое же брюзгливое выражение на лице. Ему тогда и в голову не могло прийти, что артист тоже может увлекаться вином.

— Ну что? — клекотнул Евгений Дмитриевич, задирая голову и оглядывая класс, как если бы ученики сидели не в этом маленьком помещении, а в общей зале человек на двести. Чик и Сева откровенно переглянулись.

Некоторые девочки уже начали подталкивать друг друга, яростно перешептываясь. Однако все молчали.

— Кто у вас выразительно читает стихи и басни? — спросил Евгений Дмитриевич и посмотрел на Александру Ивановну, опять задирая голову выше, чем надо.

Александра Ивановна несколько заволновалась, смущенно улыбнулась, оглядывая класс, потом снова повернулась к Евгению Дмитриевичу и что-то ему сказала. Потом она опять повернулась лицом к классу, поймала глазами Чика и кивнула:

— Чик, выходи!

Чик уже знал, что без него не обойдется. Он был самым громкоголосым в классе и считался начитанным мальчиком. Смешно было бы думать, что дело обойдется без него. Но Чик не хотел начинать первым. С такой карты не начинают! И он пытался это объяснить знаками, но Александра Ивановна его не поняла, она решила, что он смущается.

— Иди, Чик, иди, — повторила она, окидывая его улыбкой.

Ребята начали посмеиваться, тем более что Евгений Дмитриевич, опять задрав голову, искал Чика совсем в другом конце класса.

Чик вышел, встал рядом со столом и прочел свое любимое революционное стихотворение, где мать и сын сражаются на баррикаде (сын явно не старше Чика) и оба, пронзенные пулями, умирают, обнявшись.

Чику и раньше нравилось это стихотворение, потому-то он его и прочел. Вообще-то стихи ему редко нравились. Но это стихотворение очень нравилось.

А тут как только он начал читать, какая-то сила вздернула его, трепанула, ударила в голову, и Чик загудел стихами, как мотор. Сила откуда-то бралась сама. Чик только голосу подпускал. И

он, читая, заново почувствовал неимоверную жалость к героической маме и героическому мальчику.

— Да, — сказал Евгений Дмитриевич, когда Чик кончил читать, и, опять приподняв голову, оглядел Чика так, как если бы Чик был вдвое выше, — да, когда бы все так чувствовали поэзию…

Чик продолжал стоять, ощущая в себе прилив огромных и, главное, совсем не исчерпавшихся сил. Он теперь прилаживался запустить «Белеет парус одинокий». Но его никто не просил. А сам он был так оглушен собственным чтением, что не расслышал Александру Ивановну, попросившую его сесть на место.

Чик продолжал стоять. Класс начал смеяться. А Александра Ивановна встала и, улыбаясь, подтолкнула Чика к его месту. Чик машинально двинулся к своей парте. Дошел, раздумчиво постоял возле нее, как бы ожидая, что его вернут, а потом вяло сел. Он еще не понимал, что такого рода артистическое рвение принято скрывать.

После Чика еще двое мальчиков и две девочки читали стихи и басни. Но это было жалкое зрелище. Евгений Дмитриевич во время их чтения несколько раз находил глазами Чика и, качая головой, смотрел на него, как Посвященный на

Посвященного. Чик уже остыл, и ему ужасно понравились эти взгляды. Чик давно заметил, что так переглядываются интеллигентные люди, когда другие люди, находясь рядом, начинают умничать и рассуждать. Прозвенел звонок.

— Завтра в пять часов в пионерской комнате, коллега, — добродушно клекотнул Евгений Дмитриевич и, потрепав Чика по шее, вышел из класса.

Чик был очень польщен его шутливыми словами.

На следующий день в назначенное время Чик пришел в пионерскую комнату. Там уже собралось человек десять мальчиков и девочек из других классов. Они были ровесники Чика или чуть постарше.

Евгений Дмитриевич окончил занятия со старшеклассниками и занялся новичками. Сразу же узнав Чика, он радостно клекотнул и не забыл посмотреть на него, как Посвященный на Посвященного. Чик с удовольствием принял этот взгляд и ответил ему таким же. Это было все равно как с Севой. Только там дело касалось смешного, а тут искусства. А в остальном одно и то же.

Евгений Дмитриевич объяснил ребятам, что школе предстоит подготовить к городской олим-

пиаде постановку по произведению Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде».

Теперь для проверки способностей он давал мальчикам и девочкам прочесть кусочек из этой сказки. Мальчики и девочки стали читать. «А девочки зачем? — подумал Чик. — На роль бесенка, что ли?» Многие из них, особенно девочки, ужасно волновались, сучили ногами или неожиданно всплескивали руками.

Видимо, от волнения они, начиная читать, путали слова, заикались, а уж о громогласности и говорить было нечего. С громогласностью было совсем плохо. Шептуны какие-то. Таким голосом еще кое-как можно было подсказывать на уроке, а не выступать в городском театре, где должна была проходить олимпиада.

Чик чувствовал себя до того уверенно, что, когда кто-нибудь из ребят ошибался в интонации или неправильно произносил слово, поправлял чтеца, стараясь при этом переглянуться с Евгением Дмитриевичем взглядом, подтверждающим правильность его, Чика, Посвященности. Евгений Дмитриевич отвечал на эти взгляды несколько утомленными, но не отвергающими Посвященность Чика взглядами.

Когда дело дошло до Чика, он спокойно прочел

заданный кусок. Чик читал с легким утробным гудением, что должно было означать наличие неимоверных голосовых сил, которые пока сдерживаются дисциплиной и скромностью чтеца.

— Вот ты и будешь Балдой, — клекотнул Евгений Дмитриевич.

Чик ничего другого и не ожидал. Одному мальчику из параллельного класса, который читал с ужасным мингрельским акцентом, Евгений Дмитриевич сказал:

— Ты свободен.

Чику стало жалко этого мальчика. Другим он или ничего не сказал, или дал знать, что должен еще подумать об их судьбе. А этому прямо так и сказал.

Кстати, звали его Жора Куркулия. Это был такой светлоглазый крепыш со смущенной улыбкой и широким деревенским румянцем на лице. По акценту, с которым Жора говорил на русском языке, Чик точно знал, что мальчик этот вырос в деревне.

Любя своих чегемских родственников, Чик немного покровительствовал деревенским мальчикам, которые учились в городе. Встречаясь с Жорой на переменках, Чик гостеприимно кивал ему и как бы говорил: «Учись, Жора. Читай кни-

ги, ходи в кино, пользуйся турником, шведской стенкой, параллельными брусьями, и будешь не хуже нас, городских». Жора смущенно улыбался в ответ и как бы отвечал: «Я, конечно, постараюсь, если смогу преодолеть свою деревенскость». И вот Евгений Дмитриевич, не зная, что Жора деревенский, а с такими надо бы помягче, говорит ему обидные слова.

— Можно, я просто так побуду? — сказал Жора в ответ и улыбнулся жалкой, а главное, совершенно необиженной улыбкой.

Евгений Дмитриевич пожал плечами и, кажется, в этот же миг забыл о существовании Жоры Куркулия.

Наконец роли были распределены, и дети стали готовиться к выступлению на олимпиаде. Репетиции дважды в неделю проходили в пионерской комнате. Старшеклассники ставили сценку из какой-то бытовой пьесы, а после них разыгрывалась «Сказка о попе и о работнике его Балде».

Иногда Евгений Дмитриевич немного задерживался со старшеклассниками, и тогда ребята досматривали хвост пьески, где гуляка-муж, которого сослуживцы и домашние долго уговаривали исправиться и который как будто склонялся на уговоры, но вдруг в последнее мгновение хватал

гитару (на репетиции он хватал большой треугольник) и, якобы бряцая по струнам, запевал:

Я цыганский Байрон,
Я в цыганку влюблен.

— Не Байрон, а барон, запомни, — поправлял его Евгений Дмитриевич, но это не меняло сути дела. Из его пения ясно следовало, что он все еще тянется к распутной жизни своих дружков.

После нескольких репетиций Чик вдруг почувствовал, что роль Балды ему смертельно надоела. Честно говоря, Чику и раньше эта сказка не очень нравилась. Но он об этом подзабыл. А сейчас она и вовсе потускнела в его глазах.

И чем больше они репетировали, тем больше Чик понимал, что никак не может ощутить себя Балдой. Какое-то чувство внутри него оказывалось сильнее желания войти в образ. Это чувство с каким-то уличающим презрением к его фальшивым попыткам войти в образ преследовало его на каждом шагу.

Пока еще разучивали текст, громогласность и легкость чтения давали Чику некоторые преимущества над остальными ребятами, и он продолжал переглядываться с Евгением Дмитриевичем взглядом Посвященного.

Этот взгляд Посвященного Чик в первое время ухитрялся распространять даже на постановку старшеклассников, когда они заставали их за репетицией. Чаще взгляд Посвященного вызывал все тот же гуляка-муж, упрямый не только в своем распутстве, но и в искажении своей песенки:

Я цыганский Байрон,
Я в цыганку влюблен.

Но потом, когда все стали разыгрывать свои роли, Чик почувствовал бездарность своего исполнения, однако все еще преувеличивал достоинства своей громогласности и все еще продолжал бросать на Евгения Дмитриевича уже давно безответные взгляды Посвященного. В конце концов Евгений Дмитриевич не выдержал и на один из Посвященных взглядов Чика так клекотнул ему навстречу, что Чик вынужден был погасить в своих глазах это приятное выражение.

Чтобы оправдать перед самим собой свою плохую игру, Чик стал замечать все больше и больше недостатков в образе самого Балды. Так, Чика раздражал грубый и наивный обман, когда Балда, вместо того чтобы тащить кобылу, сел на нее верхом и поехал.

Казалось, каждый дурак, тем более бес, хотя он и бесенок, мог догадаться об этом. А то, что бесенку пришлось подлезать под кобылу, Чик находил подлым и жестоким. Да и вообще мирные черти, вынужденные платить людям ничем не заслуженный оброк, почему-то были Чику приятней самоуверенного Балды.

А между прочим, Жора Куркулия все время приходил на репетиции и уже как-то стал необходим. Он первым бросался отодвигать столы и стулья, чтобы очистить место для сцены, открывал и закрывал окна, иногда бегал за папиросами для Евгения Дмитриевича.

Жора стал вроде завхоза маленькой труппы. К тому же оказалось, что он по воскресеньям ездит домой к себе в деревню и привозит оттуда великолепные груши «дюшес». Он приносил на репетицию сумку с грушами и всех угощал.

Евгений Дмитриевич тоже охотно ел сочные груши, вытянув длинную шею, чтобы не закапать костюм. Он со вздохом втягивал в себя нежный сок и с выдохом говорил:

— Божественно… Божественно… Ублажил, меценат.

— Чачу тоже могу привезти, — однажды сказал Жора, улыбаясь и кося глазами от смущения, —

сами варим…

Чика рассмешило это предложение. Если бы Сева был здесь, он обязательно переглянулся бы с Чиком, обращая его внимание на хитрый заход Жоры. Ясно, что виноградную водку он не мог предложить пацанам, значит, он имел в виду Евгения Дмитриевича.

— Нет, спаивать труппу я тебе не позволю, — сказал Евгений Дмитриевич шутливо.

Но потом во время других репетиций он с какой-то забавной серьезностью спрашивал у Жоры, как у них в деревне готовят чачу, сколько виноградных отжимков идет на один самогонный котел и сколько бутылок первача получается с одного котла.

И тут Чик окончательно уверился, что Евгений Дмитриевич любит выпить. А Жора Куркулия все ему подробно объяснял. На его широком румяном лице все время порхала смущенная улыбка. И вдруг Чик понял, что Жора большой хитрец. Ведь он раньше Чика догадался, что Евгений Дмитриевич любит выпить. Иначе бы он не осмелился сказать такую глупость про чачу. Взрослый человек да еще артист не станет брать выпивку у мальчика. Тут Жора сглупил. Но то, что Евгений Дмитриевич любит выпить, он понял точно. Но

как? Это была загадка.

Однажды, когда ребята уже репетировали в костюмах, Евгений Дмитриевич предложил Жоре роль задних ног лошади. Жора расплылся от удовольствия.

Лошадь была сделана из твердого картона, выкрашенного в рыжий цвет. Внутри лошади помещались два мальчика, один спереди, другой сзади. Первый просовывал свою голову в голову лошади и выглядывал оттуда через глазные дырочки. Голова лошади была прикреплена на винтах к туловищу, так что лошадь довольно легко могла двигать головой, и получалось это естественно, потому что и шея и винты были скрыты под густой гривой.

Первый мальчик должен был ржать, качать головой и указывать направление всему туловищу, потому что там, сзади, второй мальчик находился почти в полной темноте. У него была единственная обязанность — оживлять лошадь игрой хвоста, к репице которого изнутри была прикреплена деревянная ручка. Тряхнул ручкой — лошадь тряхнула хвостом. Оба мальчика соответственно играли передние и задние ноги лошади.

Жора Куркулия получил свою роль после того,

как Евгений Дмитриевич несколько раз пытался показать мальчику, играющему задние ноги, как выбивать звук галопирующих копыт. У мальчика никак не получался этот звук. Вернее, когда он вылезал из-под крупа лошади, звук кое-как получался, а под лошадью он как-то сбивался.

— Вот так надо, — вдруг не выдержал Жора Куркулия и без всякого приглашения выскочил и, топоча своими толстенькими ногами, довольно точно изобразил галопирующую лошадь.

Этот звук, издаваемый ногами Жоры, очень понравился Евгению Дмитриевичу. Он пытался заставить мальчика, игравшего задние ноги лошади, перенять этот звук, но тот никак не мог его перенять.

После каждой его попытки Жора выходил и точным топотанием изображал галоп. При этом он, подобно чечеточникам, сам прислушивался к мелодии топота и призывал этого мальчика прислушаться и перенять. У мальчика получалось гораздо хуже, и Евгений Дмитриевич поставил Жору на его место.

Иногда перед репетицией или после Евгений Дмитриевич снова возвращался к самогонному аппарату и спрашивал про разные фрукты, из которых готовят водку. Чик, умирая от внутреннего

смеха, слушал этот мирный разговор большого и маленького. Он очень сожалел, что не может при этом перемигиваться с Севой. Так было бы гораздо интересней. Остальные ребята все принимали за чистую монету и уныло дожидались, когда Евгений Дмитриевич окончит этот скучный разговор.

Чика особенно смешило, что Евгений Дмитриевич, стараясь скрыть от Жоры удовольствие, которое он получает от своих расспросов, напускал на себя угрюмость. Как будто бы просто интересуется жизнью и обычаями местных народов. Но Чик теперь точно знал: любит, любит Евгений Дмитриевич это дело!

Иногда Евгений Дмитриевич, как бы очнувшись, раздраженно прерывал Жору:

— Ладно, хватит! Что ты завел: грушевая, тутовая! По местам. Начинаем!

— Нет, я так просто, — краснея и лукаво беря на себя вину, отвечал Жора, — сами варим! По-домашнему! По-селенски!

— Ты все же школьник, — клекотнув, прерывал его Евгений Дмитриевич, — не надо об этом!

На одной из следующих репетиций вдруг из-под задней части лошадиного брюха без всякой на то причины Куркулия издал радостное ржание.

«Ты смотри, как обнаглел, — удивился Чик. — Оказывается, люди из долинных деревень — это совсем не то что горцы. А я путал, как дурак. Думал, там деревня и здесь деревня! Горцы — это совсем другое. Нет, Жора не горец!»

А Евгения Дмитриевича это ржание привело в восторг. Он немедленно извлек Жору из-под лошади и заставил его несколько раз заржать. Особенно понравилось Евгению Дмитриевичу, что ржание его кончалось храпцем, и в самом деле очень похожим на звук, которым лошадь заканчивает ржание.

— Все понимает, чертенок, — повторил Евгений Дмитриевич, с наслаждением слушая Жору.

Разумеется, он тут же стал требовать от мальчика, игравшего передние ноги лошади, чтобы тот перенял это ржание. После нескольких унылых попыток этого мальчика, видимо, сразу же ошеломленного предательским ржанием задней части лошади, Евгений Дмитриевич махнул на него рукой и поставил Жору Куркулия на его место. Хотя толстые ноги Жоры больше подходили к задним ногам лошади, пришлось пожертвовать этим небольшим правдоподобием ради правильного расположения источника ржания.

Репетиции продолжались. Чик все еще продол-

жал придавать исключительное значение своей громогласности, которую с некоторой натяжкой можно было отнести за счет нахрапистости Балды. Чик чувствовал бездарность своего исполнения, но не замечал, как эта бездарность постепенно переходит в недобросовестность. Он совсем не повторял дома свой текст.

Однажды, когда он, забыв строчку, споткнулся, вдруг лошадь обернулась в его сторону и протянула:

— Попляши-ка ты под нашу бал-ля-ляй-ку!

Все рассмеялись, а Евгений Дмитриевич сказал:

— Тебе бы цены не было, Куркулия, если бы ты избавился от акцента…

Иногда Жора подсказывал и другим ребятам. Видно, он всю сказку выучил наизусть.

Однажды Чик на своей улице играл с ребятами в футбол. И вдруг со стороны школы мчится Жора Куркулия. Он бежал и на ходу делал какие-то знаки руками, явно имевшие отношение к Чику. Сердце у Чика екнуло. Ему давно пора было идти на репетицию, а он спутал дни недели и думал, что надо идти туда завтра. Жора Куркулия приближался, жестами выражая великое недоумение по поводу того, что случилось.

Было ужасно неприятно видеть его приближение. И Чик вдруг вспомнил, что точно так же ему однажды было неприятно видеть приближение старушенции библиотекарши. Но где эта старушенция и где Жора Куркулия? Он стал вспоминать случай с библиотекаршей, чтобы понять, что их соединяет, одновременно чувствуя всю глупую неуместность этого воспоминания.

Чик тогда потерял книгу, взятую в библиотеке, и старушенция уже извещала его о необходимости немедленно возвратить книгу. Она извещала его об этом в письме, написанном ведьминским коготком на каталожной карточке с дыркой. Чик не понимал, зачем эта дырка нужна в карточке. Он только вспомнил, что в одной книге описывалась тюремная камера. И там в дверях был глазок. Чик поднес карточку к лицу и посмотрел в дырочку, и ему стало грустно.

Все же он тогда решил, что как-нибудь обойдется. Он готов был вместо потерянной отдать любую книгу из своей маленькой библиотечки. Даже две, даже три! Но его цепенила необходимость объясняться с этой ехидной старушенцией. Она же все равно не поверит ни одному его слову!

И вдруг он сидит на самой макушке груши, а старушенция, как в страшной сказке, появляется

во дворе и спрашивает у соседей, где он живет. А соседи по простоте, конечно, не со зла, показывают не на квартиру, а на грушу, где он сидит. И она пошла прямо к дереву, а Чик сам одеревенел и не знал, что делать.

И вот она подошла к дереву, выискала его глазами, погрозила пальцем и заверещала:

— Что, решил на дереве от меня спрятаться? Слезай, слезай, негодный мальчишка!

О, если бы груши были боевыми гранатами! Он бы забросал ее сверху! Но груши — это только груши. И он стал слезать. А куда денешься? Не улетишь — не птица. Получалось, что он спускается прямо ей в руки. Унизительно. В довершение всего, когда Чик уже был на полпути к земле и рядом не было ни одной плодоносной ветки, она вдруг сказала, странно подхихикивая:

— Нет чтобы угостить свою старую библиотекаршу свежей грушей! А ведь весь в долгах, как в шелках!

Чик в это время, раскорячившись, сполз по стволу. Он остановился и посмотрел вниз. Ему и в голову не могло прийти, что в таких случаях можно угощать. И ему стало как-то стыдно, что он ее не угостил, хотя и казалось очень странным угощать ее грушами. И он, глядя на нее в

нерешительности, сделал как бы гостеприимное движение снова вскарабкаться на макушку.

Но она махнула рукой и опять подхихикнула:

— Слезай, слезай! Что тебе старая библиотекарша?

С этими словами она ловко крутанула длинной юбкой и подняла с земли грушу. Чик точно знал, что это не паданец. Эту великолепную грушу он случайно уронил, дотягиваясь до нее. Правда, она разбилась с одного боку, но была вполне хорошей.

Чик молча стал слезать, удивляясь, что она и тут, на дереве, настигла его своим ехидством. Он тогда ей дал книгу «Рассказы о мировой войне», и она на этом успокоилась, но Чик перестал ходить в городскую библиотеку.

Эту старушенцию и другие дети не любили. Она всегда ухитрялась всучить не ту книгу, которую ты сам хочешь прочесть, а ту, которую она тебе хочет дать. Она всегда ядовито высмеивала попытки Чика отстаивать свой вкус. Бывало, чтобы она отвязалась со своей книгой, скажешь, что ты ее читал, а она заглянет в глаза и спросит:

— А о чем там рассказывается?

Когда они вошли в пионерскую комнату, Евгения Дмитриевича там не было. У Чика мелькнула

надежда, что все обойдется. Он стал лихорадочно переодеваться. У него было такое чувство, что если он успеет надеть лапти, косоворотку и рыжий парик с бородой, то сам как бы исчезнет и некого будет ругать.

И Чик в самом деле успел переодеться и даже взял в руки толстую, упрямо негнущуюся противную веревку, при помощи которой Балда якобы мутит чертей. В это время в комнату вошел Евгений Дмитриевич. Он посмотрел на Чика, а Чик как-то притаил свою сущность под личиной Балды.

Чику он показался не очень сердитым, и у него мелькнуло: хорошо, что успел переодеться.

— Одевайся, Куркулия, — вдруг клекотнул Евгений Дмитриевич и, взглянув на Чика, как бы не замечая облика Балды, а видя только Чика, добавил: — А ты будешь на его месте играть лошадь.

Чик стал раздеваться. И хотя до этого он не испытывал от своей роли никакой радости, он вдруг почувствовал, что глубоко оскорблен и обижен. Обида была так глубока, что он не стал протестовать против роли лошади. Если бы он стал протестовать, всем стало бы ясно, что он очень обижен.

Жора Куркулия стал поспешно одеваться, вре-

мя от времени удивленно поглядывая на Чика, словно хотел сказать: как ты можешь обижаться, если сам же своим поведением довел до этого Евгения Дмитриевича? Каким-то образом его взгляды, направленные на Чика, одновременно с этим выражали и нечто противоположное: неужели ты и сейчас не огорчен?

Чик старался не выдавать своего состояния. Жора Куркулия быстро оделся, подхватил негнущуюся веревку, крепко тряхнул ею, как бы пригрозив сделать ее в ближайшее время вполне гнущейся, и предстал перед Евгенией Дмитриевичем этаким ловким, подтянутым мужичком.

— Молодец! — клекотнул Евгений Дмитриевич.

«Молодец?! — думал Чик с язвительным изумлением. — Как же он будет выступать, когда он лошадь называет лещадью, а балалайку — баляляйкой?»

Началась репетиция, и оказалось, что Жора Куркулия прекрасно знает текст, а уж играет явно лучше Чика. Правда, произношение у него не улучшилось, но Евгений Дмитриевич так был доволен его игрой, что стал находить достоинства и в его произношении, над которым сам же раньше смеялся.

— Даже лучше, — сказал он. — Куркулия будет местным кавказским Балдой.

А когда Жора стал крутить негнущуюся веревку с какой-то похабной деловитостью и верой, что сейчас он этой веревкой раскрутит там, на дне, мозги всем чертям, при этом не переставая прислушиваться к тому, что якобы происходит под водой, Чику стало ясно: ему с ним не тягаться.

Чик смотрел на него, бесплодно удивляясь, что у Жоры все получается лучше. Но это его не только не примиряло с ним, но еще больше растравляло. «Если бы, — думал Чик, глядя на него из отверстий лошадиных глаз, — я мог поверить, что все это правда, я бы играл не хуже».

Не прошло и получаса со времени появления Чика на репетиции, а Куркулия уже верхом на нем и своем бывшем напарнике галопировал по комнате. В довершение всего напарник этот, раньше игравший роль передних ног, теперь запросился на свое старое место, потому что очень быстро выяснилось, что Чик галопирует и ржет не только хуже Жоры, но и этого мальчика. После всего, что случилось, Чик никак не мог бодро галопировать и весело ржать.

— Ржи веселее, раскатистей, — говорил Евгений Дмитриевич и, приложив руку ко рту, ржал

сам как-то чересчур благостно, чересчур доброжелательно, словно сзывал лошадей на пионерский праздник.

— Чик ржит, как голёдная лещадь, — пояснил Жора, выслушав слова Евгения Дмитриевича. Тот кивнул головой. Как быстро, думал Чик, Жора привык к своей новой роли, как быстро все забыли, что я еще полчаса тому назад был Балдой, а не ржущей частью лошади.

Чику пришлось переместиться на место задних ног. Оказалось, что сзади гораздо труднее: мало того, что там было совсем темно, так, оказывается, еще и Балда основной тяжестью давил на задние ноги. Видимо, радуясь освобождению от этой тяжести, мальчик, вернувшийся на свое прежнее место, весело заржал, и Евгений Дмитриевич был очень доволен этим ржанием.

Так, начав с главной роли Балды, Чик перешел на самую последнюю — роль задних ног лошади, и ему оставалось только кряхтеть под Жорой и время от времени подергивать за ручку, чтобы у лошади взмывался хвост.

Но самое ужасное заключалось в том, что Чик как-то проговорился тетушке о своем драмкружке и о том, что он во время олимпиады будет играть в городском театре роль Балды.

— Почему ты должен играть Балду? — сначала обиделась она, но потом, когда Чик ей разъяснил, что это главная роль из сказки Пушкина, тщеславие ее взыграло. Многим своим знакомым и подругам она рассказывала, что Чик во время олимпиады будет играть главную роль по сказкам Пушкина — обобщала она для сокрытия имени главного героя. Все-таки имя Балды ее несколько коробило.

И вот в назначенный день Чик — за кулисами. Там было полным-полно школьников из других школ, каких-то голенастых девчонок, тихо мечущихся перед своим выходом.

Чика вся эта тихая паника не трогала. Его волновала тетушка. Он высунулся из-за кулисы и увидел в полутьме сотни человеческих лиц. Он стал вглядываться в них, ища тетушку. Вместо нее он вдруг увидел Александру Ивановну. Это Чика почему-то взбодрило, и он на всякий случай запомнил место, где она сидела. А тетушки не было видно. У Чика мелькнула радостная мысль: а вдруг тетушку в последнее мгновение что-то отвлекло и она осталась дома? Она ведь так любила отвлекаться! Нет, она была здесь! Она была в третьем ряду, совсем близко от сцены. Она сидела вместе со своей подружкой тетей Медеей, со

своим мужем и сумасшедшим дядюшкой Чика.

Зачем она его привела, для Чика так и осталось загадкой. То ли для того, чтобы выставить перед знакомыми две крайности их семьи: мол, есть и сумасшедший, но есть и начинающий артист. То ли просто кто-то не пошел, и дядюшку в последнее мгновение приодели и прихватили с собой, чтобы не совсем пропадал билет. Уже какие-то дети играли на сцене, а тетушка оживленно переговаривалась со своей подругой. Это было видно по их лицам. Чик понял, что для тетушки все, что показывается до его выступления, вроде журнала перед кинокартиной.

Чик вздохнул и с ужасом подумал о том, что будет, когда она узнает правду. Теперь у него оставалась последняя надежда — надежда на пожар в театре. Чик знал, что в театрах бывают пожары. За сценой он сам видел двери с обнадеживающей красной надписью: «Пожарный выход!» Хоть бы она понадобилась! Чик вспоминал душераздирающие описания пожаров в театре и на пароходах. К тому же он увидал за сценой и живого пожарника в брезентовом костюме и в красной каске. Вдруг, думал Чик, этот пожарник сейчас ринется с места и все начнется? Нет! Стоит у стены и с тусклой противопожарной неприязнью следит

за мелькающими мальчишками и девчонками.

Но время идет, а пожара все нет и нет. И вот уже кончается пьеска, которую разыгрывают старшеклассники их школы, и подходит место, где мальчик, играющий гуляку-мужа, должен, пробренчав на гитаре (на этот раз настоящей), пропеть свою заключительную песню. Сквозь собственное уныние со страшным любопытством Чик прислушивался, ошибется на этот раз мальчик или нет.

Я цыганский… Байрон,
Я в цыганку влюблен, —

пропел он упрямо, и Евгений Дмитриевич, стоявший за сценой недалеко от Чика, схватился за голову. Чику стало немного легче от того, что и Евгений Дмитриевич пострадал.

Но вот началось их представление. Лошадь должна была появиться несколько позже, поэтому Чик был свободен и высунулся из-за кулис и стал следить за тетушкой. Когда он высунулся, Жора Куркулия стоял над оркестровой ямой и крутил свою веревку, чтобы вызвать оттуда старого черта. В зале все смеялись, кроме тетушки. Даже сумасшедший дядя Чика смеялся, хотя, конечно, ничего не понимал в происходящем.

Просто раз всем смешно, что мальчик крутит веревку, и раз это ему лично ничем не угрожает, значит, можно смеяться…

И только тетушка выглядела ужасно. Она смотрела на Жору Куркулия так, словно хотела сказать: «Убийца, признайся хотя бы, куда ты спрятал труп моего любимого племянника?»

У Чика оставалась смутная надежда полностью исчезнуть из представления, сказав, что его в последний момент заменили на Жору Куркулия. Признаться тетушке, что он с роли Балды докатился до роли задних ног лошади, было невыносимо.

Интересно, что Чику и в голову не приходило попытаться выдать себя за играющего Балду. Тут было какое-то смутное чувство, подсказывающее, что уж лучше Чик — униженный, чем Чик — отрекшийся от себя.

Голова тетушки уже слегка, по-старушечьи, покачивалась, как обычно бывало, когда она хотела доказать, что даром загубила свою жизнь в заботах о близких. Жора Куркулия ходил по сцене, нагло оттопыривая свои толстые ноги. Играл он, должно быть, хорошо. Во всяком случае, в зале то и дело вспыхивал смех.

Но вот настала очередь Чика и его напарника.

Евгений Дмитриевич накрыл их крупом лошади. Чик ухватился за ручку для вздымания хвоста, и они стали постепенно выходить из-за кулис.

Лошадь появилась на окраине сцены и, как бы мирно пасясь, как бы не подозревая о состязании Балды с Бесенком, стала подходить все ближе и ближе к середине сцены.

Появление лошади вызвало хохот в зале. Чик с удивлением почувствовал некоторое артистическое удовольствие от того, что волны хохота усиливались, когда он дергал ручку, вздымавшую хвост лошади.

Зал еще громче расхохотался, когда Бесенок пролез под лошадь и стал пытаться ее поднять. А уж когда Жора Куркулия вскочил на лошадь и сделал круг по сцене, зал загрохотал от хохота.

Успех был огромный. Когда лошадь ушла за кулисы, зрители продолжали бить в ладоши, и Евгений Дмитриевич вывел лошадь на сцену, придерживая ее за гриву. Тут раздался свежий шквал рукоплесканий, и Чику даже в темноте внутри лошади было понятно, что теперь зрители приветствуют не их, а своего любимого актера. Когда лошадь снова появилась, Жора Куркулия опять попытался взгромоздиться на нее, но Чик и его напарник не дались и стали отпрядывать,

и зрителям это очень понравилось. И тогда Чик наугад стал лягаться и один раз попал копытом в толстое бедро Жоры. Зрители стали еще больше смеяться. Они думали, что все это заранее разыграно, а на самом деле Чик и его напарник очень устали и больше не хотели его катать. Особенно не хотел Чик.

И вдруг свет ударил Чику в глаза. Чик не сразу понял, что случилось. Буря плещущих рук! Лица! Лица! Лица! Оказывается, Евгений Дмитриевич снял с них картонный круп лошади, и они предстали перед зрителями в своих высоких рыжих чулках под масть лошади. А Евгений Дмитриевич стоял рядом и, задирая голову, кивал галерке. «Ах, вот откуда у него привычка смотреть выше, чем надо», — подумал Чик, уныло удивляясь, что ему в голову лезут неуместные мысли.

Как только глаза его привыкли к свету, он взглянул на тетушку. Голова ее теперь не только покачивалась по-старушечьи, но как бы в предобморочном бессилии сползла набок.

И Чику стало тоскливо в предчувствии долгих укоров тетушки, которые он услышит дома. И чем сильнее зал аплодирует и смеется, тем хуже будет потом Чику. Ему стало совсем сиротливо, и он бессознательно потянулся глазами к тому

месту, где сидела Александра Ивановна.

Она смеялась, как и все, но при этом смотрела на Чика любящим, любящим, любящим взглядом! Даже издали это ясно было видно. Волна бодрящей благодарности омыла душу Чика. Какая там разница: задние ноги, передние ноги, Балда? Главное, что всем смешно. Александра Ивановна! Вот кто Чика никогда не предаст, и Чик ее никогда в жизни не забудет!

А вокруг все смеялись, и даже сумасшедший дядюшка Чика пришел в восторг, увидев Чика, вывалившегося из брюха лошади. Сейчас он пытался втолковать тетушке, что именно Чик, ее племянник, оказывается, сидел в брюхе лошади. Бедняга не понимал, что именно это убивает тетушку.

Но стоит ли говорить о том, что Чик потом испытал дома? Не лучше ли мы крикнем отсюда:

— Занавес, маэстро, занавес!

Однажды, когда прозвенел звонок с последнего урока, Сева подозвал Чика своей улыбкой и кивнул на тетрадь, лежавшую у него на парте. Ребята с радостным грохотом покидали класс.

— Что? — сказал Чик, взглянув на тетрадь и все еще не понимая, как можно извлечь из нее веселье.

Сева, продолжая таинственно улыбаться, снова кивнул на тетрадь. Это была тетрадь из серии, посвященной столетию смерти Пушкина. На первой странице был рисунок, изображавший прощание Олега с конем, и напечатаны стихи «Песнь о вещем Олеге». У Чика была такая тетрадь, и он ее хранил, потому что тетради этой серии были большой редкостью. Но ему и в голову не приходило, что в ней может быть что-нибудь смешное.

Сева продолжал таинственно улыбаться.

— Что? Что? — спросил Чик, пытаясь понять намек Севы.

Класс опустел.

— Не знаешь? — спросил Сева.

— Нет, — сказал Чик, — а что?

— Здесь написано, — Сева ткнул пальцем на рисунок в тетради, — долой его.

Сева, продолжая таинственно улыбаться, кивнул на портрет, висевший на стене. На портрете Сталин обнимал девочку Мамлакат.

Вредители! Чик так и похолодел.

— Не может быть! — воскликнул он.

— Да, да, — подтвердил Сева, — только здорово замаскировано. Надо долго искать. Хитрюги! Но я сам доискался. Хочешь, одолжу тетрадь?

— У меня есть такая! — крикнул Чик. — Я сам

найду!

— Ищи, — сказал Сева, продолжая улыбаться, — потом расскажешь. — Он с улыбкой взглянул на Чика, ожидая ответной понимающей улыбки.

Но Чик не мог улыбнуться. Он силился, но никак не мог понять, что же Сева находит в этом смешного. Ничего смешного в этом нет.

— Завтра поговорим, — неопределенно бросил ему Чик.

Чик от волнения почти бежал домой. Он много слышал о тайных вредительских знаках, хитрейшим способом нанесенных на папиросные коробки, на санитарные плакаты, на книги о революции и даже на детские кубики.

Но сам он их никогда не видел. Люди рассказывали. Как-то так получалось, что никогда под рукой не оказывалось предмета с ядовитыми знаками вредителей, откуда они попискивают: мы есть, мы есть!

И только один раз в жизни он видел такой предмет, но тогда все кончилось как-то плохо.

Чика иногда отпускали на море вместе с сумасшедшим дядей. Дядю одного не отпускали на море как сумасшедшего. А Чика одного не отпускали, потому что он еще был пацаном. А вместе их отпускали. Чика с дядей отпускали как

ребенка со взрослым. А дядю с Чиком отпускали как сумасшедшего с разумным человеком.

И вот однажды они идут домой, бодрые и прохладные после купания. Дядя напевает себе песенки собственного сочинения, на плече у него удочка без крючков, а Чик шагает рядом.

И вдруг впереди на приморском пустыре, у самого выхода на улицу Чик заметил толпу взволнованных мальчишек. Чик сразу понял, что там что-то случилось. Он подбежал к толпе. Внутри этой небольшой, но уже раскаленной толпы детишек стояли несколько подростков.

— Вредители! Вредители! — слышалось то и дело.

Один из подростков держал в руке кусок плотной белой бумаги величиной с открытку. Все старались заглянуть в нее. Чик тоже просунулся и заглянул. На бумаге отчетливой тушью был выведен торпедообразный предмет, который часто рисуют в общественных уборных. А под ним были написаны оскорбительные слова.

— Я иду с моря, а это здесь валяется, — говорил мальчик, державший в руке эту бумагу.

— Пацаны, вот вредитель! — вдруг крикнул кто-то, и все помчались вперед, а Чик вместе со всеми, подхваченный сладостной жутью стран-

ного возбуждения. В самом конце пустыря на улицу сворачивал какой-то человек.

Ребята уже на улице догнали толстого мужчину с неприятным лицом. Он был в шляпе и с портфелем в руке. Он озирался на кричащих пацанов с ненавистью и страхом. Громко вопя: «Вредитель! Вредитель!» — они шли за ним, то окружая его, то отшатываясь, когда он резко, как затравленный кабан, оборачивался на них. Самые смелые пытались к нему гадливо притронуться, как бы для того, чтобы убедиться, что он есть, а не приснился.

Этот человек был так похож на плакаты с изображением вредителей, что Чик сразу поверил: он, он подбросил эту подлую самодельную открытку!

Особенно подозрительны были шляпа и портфель, туго и злобно набитый не то взрывчаткой, не то отравляющими веществами. Ребята все гуще и гуще его окружали, и ему все чаще приходилось затравленно озираться, все короче делались его передышки.

— Нельзя! — вдруг раздался громовой голос дяди Коли.

Все остолбенели, а Чик обернулся на своего забытого дядю. Он со страшной решительностью

приближался к толпе, явно готовый хлестнуть любого своей удочкой, которой он теперь размахивал. Ребята, смущенные его решительностью, молча расступились, давая ему дорогу. Он подошел к этому человеку и, слегка загородив его, ласково сказал:

— Иди, мамочка, иди…

— Спасибо, товарищ, — сказал человек дрогнувшим голосом. Его рыхлые щеки покрылись мучной белизной. — Я… я ничего не понимаю.

Ребята снова зашумели.

— Удушу мать! — крикнул дядя, обернувшись к толпе. Это было его любимое ругательство, но сейчас он его произнес предупредительно.

— А почему они консервы отравляют? А почему подбрасывают вот это? — загалдели ребята.

Чик почувствовал себя в сложном положении.

— Это мой дядя! Он не понимает, он сумасшедший! — стал Чик оправдывать дядю и даже притронулся к его плечу, мягко намекая, чтобы он уходил отсюда.

— Ат (Прочь! — на его жаргоне)!!! — вдруг заорал он на Чика, стряхивая его руку и глядя на Чика бешеными, неузнающими глазами.

Почувствовав, что дело пахнет хорошей затрещиной, Чик отошел.

У дяди Коли была такая особенность. Иногда на людях он не любил узнавать своих. Наверное, ему казалось, что чужие, незнакомые люди принимают его за нормального человека, а свои как бы выдают, что это не совсем верно. И если уж он не хочет тебя узнавать, связываться с ним было опасно.

— Какие консервы? Я ничего не понимаю! Я приехал в командировку, остановился в гостинице «Рица», в двенадцатом номере, — самим голосом пытаясь успокоить толпу, говорил человек.

— Дурачки, дурачки, — односложно успокаивал его дядя.

Вдруг он что-то вспомнил. Он бросил удочку, вытащил из кармана блокнот и красный карандаш.

С блаженной улыбкой он нанес на листик несколько волнистых линий и, вырвав его из блокнота, бодро вручил растерянному человеку.

— Справка, справка, — сказал дядя и, махнув рукой, показал, что владелец этой справки теперь может беспрепятственно гулять по городу.

Дядя иногда выдавал людям такие самодельные справки или деньги. Видимо, он заметил, что справки и деньги облегчают людям жизнь. И он

помогал им, когда находил нужным.

Человек посмотрел на листик, ничего не понимая. Все же он торопливо положил его во внутренний карман пиджака. При этом он мельком бросил взгляд на толпу притихших ребят, как бы осознавая, что этот человек ему уже помог, так что, может, и его справка пригодится. Может, вообще в этом городе все так положено. Все это Чик прочитал на лице этого человека и вдруг тоскливо усомнился, что он вредитель.

— Сумасшедшие, — сказал дядя, кивнув на толпу ребят, и весело рассмеялся, призывая человека быть снисходительным к этим несмышленышам.

— Вот именно, какое-то сумасшествие, — подтвердил человек и, горячо пожав дяде руку, стал быстро уходить.

До конца квартала было недалеко, и Чик подумал, что если этот человек, как только завернет за угол, даст стрекача, значит, он действительно вредитель. А если просто так пойдет, значит, они ошиблись. Но теперь бежать и подглядывать за ним почему-то было неохота.

Тут к толпе ребят подошел милиционер.

— Дядя милиционер, он вредителя отпустил! — загалдели пацаны, бесстрашно показывая паль-

цем на дядю Чика.

Дядя ужасно не любил, когда на него показывают пальцем, но ребята этого не понимали.

— Он за угол завернул! Он еще близко! — кричали они, почувствовав подмогу.

Милиционер, вместо того чтобы ловить вредителя, так цыкнул на них, что ребята разбежались в разные стороны. Волна возбуждения была разбита. И Чик успокоился окончательно.

А дядя в это время жестами и голосом пытался рассказать милиционеру, как глупо вели себя эти ребята.

— Ничего, Коля, ничего! Все пройдет! — говорил милиционер, успокаивая дядю. Он дружески похлопывал его по плечу. Видно, они были давно знакомы.

Чувствуя за собой некоторую вину, Чик подобрал удочку и пристойно вручил дяде. Дядя рассеянно кивнул ему, давая знать, чтобы Чик не приставал к нему, пока он дружески разговаривает с милиционером. Наговорившись, он повеселел и уже бодро зашагал рядом с Чиком, держа на плече свою удочку и напевая свои песенки.

Вот что случилось в прошлом году. А теперь вредители добрались до тетрадей, и, значит, Чик

доберется до них, потому что у него есть такая тетрадь.

Да! Наконец-то он доберется до них! Чик бежал домой и с каким-то жутким азартом думал, как он достанет тетрадь и начнет выковыривать оттуда тайные знаки вредителей. А вдруг тетрадь куда-нибудь запропала? А вдруг кто-нибудь из вредителей пробрался к ним в дом и утащил тетрадь, чтобы Чик их не разоблачил?

От них всего можно ожидать! До них, конечно, уже дошло, что Чик давно подбирается к ним. И они на всякий случай могли выкрасть эту тетрадь. Сначала тетрадь, а потом, может, и самого Чика, если он не угомонится. Жутко! Весело!

Под самыми окнами Чика ребята играли в футбол. Улица Чика на улицу Бочо. Вместе с ребятами с улицы Бочо играла девочка. Она часто с ними выступала. И она играла неплохо. Но Чик терпеть не мог, когда девочка играет в футбол. Как-то неприятно во время игры сталкиваться с потной девчонкой. Фальшь! Фальшь! И нечего трясти юбкой и нарочно кричать грубые слова, чтобы перемальчишить мальчишек.

Чик был за равенство между мужчиной и женщиной. Но только не в футболе. Футбол — мужская игра. Любые другие игры — пожалуйста!

Но только не футбол. Фальшь!

— Чик, — крикнул Анести, — где ты пропадаешь? Мы проигрываем! Становись вместо Абу нападающим! Абу, уходи, чтоб я не видел тебя!

— За что?! — крикнул Абу.

— Ты даже с аута не можешь на голову подать мяч, — отвечал Анести, — какой ты игрок? Кандёхай!

Играть в футбол или разоблачать вредителей родины? Чик предпочел долг.

— Я не буду играть! Мне некогда, — сказал Чик и вошел в калитку.

— Он заучился, заучился, — раздался позади ехидный голос Шурика.

Мама стирала во дворе и не заметила, что Чик влетел в дом. Чик бросил портфель, подбежал к столу, в ящике которого лежали книги и тетради. Дернул ящик — тетрадь на месте! Не успели! Чик опередил.

Сидеть! Сидеть! Не отзываться ни на какие призывы с улицы или со двора. Чик положил тетрадку на стол, сел, придвинул поудобней стул и приступил к благородной экзекуции извлечения вредительских знаков, упрятанных на рисунке обложки.

Там был изображен князь Олег, скорбно об-

нимающий своего коня перед тем, как навсегда расстаться с ним. Под рисунком в два столбика с переносом на последнюю страницу были напечатаны стихи Пушкина «Песнь о вещем Олеге».

Через несколько минут Чик обнаружил букву «Д», искусно замаскированную в виде стремени. Первая буква подлого призыва — это была крупная добыча.

«Ну и негодяи, ну и хитрецы!» — подумал Чик, радуясь и продолжая поиски. Он долго искал букву «О», но никак не мог ее найти. Поэтому он в конце концов решил, что узоры на седле Олега, изображенные в виде кружочков, могут сойти за букву «О». Это открытие принесло Чику меньше исследовательского удовольствия. Тут он почувствовал некоторую натяжку. Получалось, что сразу подряд идут четыре «О».

«О», «О», «О», «О». Негодяи!» — можно было воскликнуть, но это делу не помогало.

Для той надписи, о которой говорил Сева, достаточно было двух «О». Как быть? В голове у Чика мелькнула догадка: а что, если на рисунке упрятана еще одна вредительская надпись, которую Сева не заметил? Тогда для нее пригодятся эти два лишние «О».

И Чик решил изменить метод поисков. Он

решил не задаваться целью искать буквы по ходу вредительской надписи, а искать любые буквы. Даже такие, каких нет в этой надписи. И, набрав как можно больше букв, составить из них первую вредительскую надпись, а из сочетания оставшихся букв догадаться, из каких слов состоит вторая надпись. К ней уже есть эти два лишних «О».

Чик продолжал поиски и долгое время ничего не находил. Через некоторое время его внимание привлекла подозрительно приподнятая нога Олегова коня. Она была приподнята и согнута под прямым углом. Ее можно было принять за букву «Г». Правда, перекладина получалась длинней и толще самого столбика, на котором она держалась. Довольно-таки уродливая буква. Эта уродливость буквы раздражала Чика. То ли буква, то ли черт его знает что! Она как бы смеялась над серьезностью самого дела Чика. И он решил не включать ее в собрание букв. Ему даже захотелось ударить коня по ноге, чтобы он ее выпрямил, а не держал полусогнутой, как будто его собираются ковать.

Чик приустал от поисков и как-то невольно стал прислушиваться к пыхтению футболистов на улице, к ударам мяча и крикам. Чик решил

послушать их немного и узнать, какой счет. Удары мяча сладко отдавались в груди, как удары волн на море. Чик любил море и любил играть в футбол.

— Со кифале! Дос со кифале! — то и дело кричал Анести.

Во время игры он сильно волновался и иногда переходил на греческий язык. Он все время кричал одно и то же. Просил мяч на голову. Он хорошо играл головой, и поэтому все ему должны были подавать на голову — с аута, со штрафного, с любого места.

Он мог шагов десять провести мяч на голове. Отбил головой, принял на голову. В конце концов у него все-таки отнимали мяч. Но один раз в жизни вот так, играя головой, он влетел в ворота противника.

Чик с удовольствием прислушивался к сиплому голосу Бочо, хотя тот сейчас играл против его улицы.

— Какой счет, пацаны? — крикнул чей-то незнакомый голос.

— Семь — восемь, догоняем! — весело кричал Анести. — Оник, не спи! Пасуй! На голову! На голову! Со кифале!

И вдруг Чика страшно потянуло туда, на улицу,

на футбол. Вот так, бывало, лежишь еще больной, но уже выздоравливаешь, и вдруг голоса играющих на улице ребят. И так потянет к ним, так потянет! Но нельзя — еще больной.

Чик вздохнул и стал взглядом рыться в гриве коня. Там было удобно припрятать несколько букв. Чик сильно рассчитывал на гриву, но она совсем не оправдала его надежд. Он не нашел там ни одной буквы, и взгляд его остановился на фигуре самого Олега. Внимание Чика привлек меч. Он мог сойти за букву «Т», если бы над перекладиной не торчал эфес, совершенно ненужный для буквы и для дела Чика.

Не зная, куда его деть, Чик погрузился в раздумье. Он стал теребить рукой этот ненужный эфес. Он почувствовал пальцами холод железа. Чик незаметно вытащил меч из ножен и стал им играть. Меч был очень тяжелый, и, может быть, поэтому он неожиданно превратился в шашку, после чего Чик без особых раздумий вскочил на коня, отпихнув слегка обалдевшего Олега, и помчался с чапаевской лавиной на беляков!

— Со кифале! — вдруг раздалось под самым окном.

Чик вздрогнул и очнулся. Никаких тебе беляков, никакой тебе чапаевской лавины. Он сидит

за столом, а на столе все та же тетрадь. А на улице голоса ребят.

— Пеналь! Пеналь! Пеналь! — вдруг заорал Оник и побежал, боясь, что эту радостную весть у него отнимут.

— Хенц! Хенц! Клянусь мамой, хенц! — в ответ засипел Бочо, явно пытаясь догнать Оника и тем самым всем внушить, что это ошибка.

— Пеналь! Пеналь! — убегая, не давался Оник. Он был легконогим.

— Хенц! Хенц! — в отчаянии кричал Бочо, отставая. Отстал.

И тут все как-то уверились, что был все-таки пенальти.

— Считаю одиннадцать шагов!

— У тебя шаги нецесные! — Голос бесстрашного карапуза с улицы Бочо.

— Пацаны! Он говорит, у меня шаги нечестные!

— Нецесные! Нецесные!

— А честный фингал не хо?

— Попробуй!

— Я буду считать!

— Нет, я буду считать!

— Считаю!

— Не дреффь, пацанва! Я любой мяч, как пон-

чик, схаваю!

— Я капитан! Я буду бить!

— Ты только головой играешь! Головой будешь бить пеналь?!

— Я первый закричал пеналь! Я бью!

— Ты первый закричал, а я первый заметил!

— Ты мазила!

— Пусть бьет! Я любой мяч, как пончик, схаваю!

— Бью! Тихо! Не люблю, когда под ногу говорят!

— Разогнался до центра! Нецесно! Нецесно!

— Пусть разогнался! Любой мяч, как пончик, скушаю!

— Бью! Тихо! Не мешайте!

— Гол! Гол! Восемь — восемь!

— Нецесный мяч! Нецесный мяч!

«Пацаны там веселятся, — подумал Чик, — а я должен тут искать и искать замаскированные буквы. Но и бросать нечестно… Нельзя быть безвольным, нельзя!» Чик вздохнул и снова склонился над тетрадью.

Сейчас Чик вдруг заметил то, чего раньше на этом рисунке не замечал. Конь одного из дружинников, как-то изумленно приподняв голову, смотрит на Олегова коня, словно он слышал га-

дание кудесника, но никак не может поверить своим ушам. А конь Олега стоял, круто опустив голову, как бы мрачно насупившись. Так наказанные дети, отплакавшись, стоят в углу, упрямо опустив голову, самой своей позой выражая несогласие с наказанием.

«Да ты что, с ума сошел! — как бы восклицает конь дружинника. — Я, например, своего хозяина никогда не предам!»

«А я что, виноват, что ли? Так положено по гаданию», — насупившись и не подымая головы, отвечает конь Олега.

«А ты не соглашайся с гаданием, а ты протестуй!» — советует конь дружинника.

«Тут протестуй не протестуй, все равно конец», — отвечает конь Олега.

Чик стал читать стихи для того, чтобы присмотреться, не было ли у коня какого-нибудь выхода. А какой может быть выход? Не впускать змею в собственный череп, когда он лежит в поле без всякого присмотра?

Чик, конечно, знал эти стихи и раньше, но никакого особого интереса к ним не испытывал. Теперь, читая их и дойдя до гадания кудесника, Чик мельком подумал, что кудесник шпион и нарочно разлучает Олега с любимым конем.

Читая стихи, Чик с удивлением чувствовал, что они оживают и оживают. Так, бывало, неохота есть, а начнешь — и неожиданно еда вкуснеет и вкуснеет.

И вдруг, когда он дошел до места, где змея, выползшая из черепа коня, обвилась вокруг Олега «и вскрикнул внезапно ужаленный князь», что-то пронзило его с незнакомой силой.

Это была поэзия, о существовании которой у Чика были самые смутные представления. В этой строчке замечательно, что не уточняется, отчего вскрикнул князь. Конечно, отчасти он вскрикнул и от боли, но и от страшной догадки: от судьбы никуда не уйдешь.

И Чик как бы одновременно с Олегом догадался об этом. И его пронзило. И дальше уже до конца стихотворения хлынул поток чего-то горестного и прекрасного, может быть, постижения непостижимого смысла жизни.

Ковши круговые, запенясь, шипят
На тризне плачевной Олега;
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

Чик чувствует какую-то грустную бессердечность жизни, которая продолжается и после смерти Олега. И в то же время он понимает, что так и должно быть, что даже мертвому Олегу приятней, что там наверху, на земле, озаренной солнышком, жизнь продолжается, река журчит, трава зеленеет.

Олег словно видит Игоря и Ольгу на зеленом холме, видит пирующую у брега дружину и с тихой улыбкой говорит:

«Конечно, друзья, мне бы еще хотелось посидеть с вами на зеленом холме, попировать с дружиной, поговорить о битвах, где мы вместе рубились, но, видно, не судьба. И все же мне приятно видеть отсюда, что вы кушаете, пьете на зеленом холме. Пируйте, пируйте! Если бы вас не было на земле, если бы вы все умерли, мне было бы здесь совсем тоскливо и одиноко».

Обливаясь сладкими слезами и не думая о том, что плакать стыдно, Чик несколько раз прочел это стихотворение, удивляясь, что слова начинают светиться и зеленеть, как трава, на которой сидят Игорь и Ольга.

Как ныне сбирается вещий
Олег Отмстить неразумным хазарам,

Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам.

Слова засияли, словно переводные картинки, промытые слезами Чика. В них стал приоткрываться какой-то милый дополнительный смысл. Чик не знал, откуда берется этот дополнительный смысл, но он чувствовал, что этот смысл появился… Неразумным хазарам… Неразумным… Неразумным… Прощающий упрек, даже улыбка прощающего упрека чувствуется в этом слове.

В каждой строчке Чик теперь улавливал слова, перекликающиеся и даже улыбающиеся друг другу тайной понимания. Сбирается. Неразумным. Буйным. Обрек.

Чик чувствует, что Олег и не хотел бы мстить хазарам, да приходится, и потому он так неохотно сбирается. Он как бы говорит, собираясь в поход:

«Ну зачем вы, хазары, такие Неразумные? Если бы вы, как обычно, набежали и ушли, я, может, и не собрался бы в поход. А то ведь устроили Буйный набег… А за это приходится ваши села и нивы Обречь мечам и пожарам».

Тут все обречены, и Чик это чувствует. Хазары обречены быть неразумными и потому — устраивать буйные набеги. Олег за это обречен обрекать

их мечам и пожарам, хотя сам уже носит в себе свою обреченность погибнуть от любимого коня.

Чик затих над столом. Он не понимал, что с ним произошло. Краем сознания он все еще помнил, что искал на рисунке. Нет, он не перестал верить в существование вредителей. Но они куда-то далеко-далеко удвинулись и стали маленькими-маленькими. И даже если они воровато нацарапали на этом рисунке какие-то нехорошие слова и юркнули в какую-то щель, как это все мелко и глупо. Даже искать эти слова мелко и глупо, если в жизни могут происходить такие великие истории, как история Олега и его коня.

— Чик, где ты? — донесся до Чика тетушкин голос. — Я же видела, ты прибежал из школы! Обедать, Чик! Горячий украинский борщ, Чик! Мама тебе такой не приготовит, Чик!

Горячий украинский борщ? Обедать тоже как-то глуповато. Чик прислушался к себе и вдруг с удивлением почувствовал, что мог бы и пообедать. Даже не прочь пообедать. Что делать! Ведь и дружина пировала у брега после всего, что случилось с Олегом. Тетушка, конечно, прекрасно готовит обеды, только зачем она маму приплела? Вот люди!

Чик вздохнул, спрятал тетрадь в стол и пошел

к тетушке обедать…

Подвиг Чика

Чик шел из школы, весело помахивая портфелем, и ни о чем не думал. И вдруг увидел!

Напротив греческой церкви в десяти шагах от Чика стояла колымага собаколова. Хозяин колымаги, грузный мужчина в брезентовой робе, с лицом красным, как шматок сырого мяса, держа в руке огромный сачок, подкрадывался к собаке. Он кинул ей кусок хлеба. Собака сначала недоверчиво понюхала подачку, потом осторожно взяла ее в рот и стала есть, уже благодарно поглядывая на собаколова и помахивая хвостом. О доверчивость мира!

Собаколов сделал несколько шагов в сторону собаки, но теперь она уже съела хлеб и, насторожившись, опасливо покосилась на сачок, который слегка развевался на древке в его вытянутой руке.

Собака замерла. Собаколов, продолжая неподвижно держать над собой сачок, свободной рукой полез в карман и слегка завозился там. Потом из кармана высунулся кусок хлеба, он его на ходу располовинил, прижав карман к телу

(«Еще других собак приманивать!» — мелькнуло у Чика), вытащил руку и кинул подачку.

Теперь хлеб упал на таком расстоянии, что до собаки можно было достать сачком. Чик с ужасом ожидал того, что должно случиться, и в то же время, удивляясь и стыдясь себя, чувствовал, что ему хочется, чтобы у собаколова все получилось.

На самом деле, но он этого не осознавал, в нем уже окончательно вызрело решение бороться с этим негодяем, и душа его жаждала доказательной наглядности творимого зла.

Собака сделала несколько осторожных шагов, подобрала хлеб, снова взглянула на дрябло покачивающийся в воздухе треугольник сачка и стала есть хлеб, поглядывая на собаколова и как бы в такт жующим челюстям радуясь хвостом.

В следующий миг мешок сачка перевернулся в воздухе и, с хищной телесностью раздувшись на лету, прихлопнул собаку. Раздался раздирающий душу плач собаки. Собаколов быстро перебрал руками поближе к сачку, мерзко гребанув сачком по земле, перевернул и поднял в воздухе сачок с кричащей и барахтающейся собакой внутри.

Он быстрыми шагами подошел к дверце колымаги, расположенной сзади, открыл ее, вдвинул туда мешок сачка, тряхнув, вывалил собаку, а

в клетке сразу же заметались и завыли другие собаки.

Собаколов вытащил свой сачок и прихлопнул дверцу. Он прислонил сачок к своей колымаге, просунул дужку замка, висевшую на дверном кольце, во второе кольцо, крутанул торчащий из замка ключ, подергал замок и, убедившись, что он заперт, бросил ключ в карман. Словно возбужденный удачливой охотой, подрагивая крупным телом, он обошел колымагу, взгромоздился на передок и погнал свою клячу.

Чик молча глядел вслед. Мешковина сачка колыхалась над колымагой, как грязное знамя грязного дела. Чик всегда ненавидел собаколова, но теперь он понял, что пришел его час. Теперь или никогда! Надо во что бы то ни стало освободить собак, а там будь что будет! Сколько можно мечтать о подвиге и ничего не делать?! Так может и вся жизнь пройти!

Весь этот день Чик был рассеян и как бы сам не свой. Он вяло поиграл в футбол во дворе грузинской школы. Команда Чика проигрывала, но его это почему-то не трогало. Во время игры он оказался один на один с вратарем противника и, сам не зная почему, послал мяч ему прямо в руки.

Потом в том же школьном дворе он вяло по-

играл с Анести в деньги. Они играли возле кучи наваленных дров, и вдруг пятнадцатикопеечная монета Чика вкатилась туда. Чик отказался ее достать, сказав при этом фразу, которая дерзостной роскошью на долгие годы запомнилась ребятам:

— Охота была из-за пятнадцати копеек в дровах ковыряться!

Потом он проиграл Анести тридцать копеек и вдруг, махнув рукой, сам перестал играть, хотя деньги еще были и он мог отыграться.

— Что случилось, Чик? — удивился Анести.

— Настроение кехо (нету), — ответил Чик на полугреческом.

Он чувствовал, что в голове его тихо звенит, а в груди что-то теплеет, теплеет. Он не понимал, что это вдохновение. Давний замысел наказать собаколова и отпустить на волю пойманных собак подступил и требовал немедленного воплощения. И от этого позванивало в голове и что-то теплело в груди. Он думал.

Перед глазами Чика то и дело всплывала дверца колымаги — железная сетка на деревянной раме. На раме большой замок. Как его открыть незаметно для живодера? Да еще на ходу?!

Достать связку ключей и наугад пробовать их? Вдруг какой-то подойдет? Нет, на ходу невозмож-

но открыть замок, даже если бы удалось найти подходящий ключ!

Эх, если бы железным молотком так садануть по замку, чтобы он разлетелся! Но Чик знал — нету у него в руках такой силы, пока нету!

А что, если использовать одну из бабушкиных палок? У бабушки было несколько палок. Одна из них была очень крепкая. Из какого-то горного дерева. Если ее сунуть в дужку замка и концом палки сбоку опереться в заднюю стенку, а другой конец изо всех сил потянуть от себя, получится мощный рычаг, и замок отлетит. Но Чик вдумался в этот план и отбросил его. На ходу использовать рычаг невозможно. Точка опоры все время будет уходить вперед.

Наконец он вот что придумал. Надо достать длинную веревку, привязать к ее концу крепкий железный крюк, а на другом конце сделать петлю. Когда колымага собаколова будет проезжать по такой улице, где есть штакетник, надо подбежать к нему, закинуть за планку петлю, догнать колымагу и сунуть крюк в дужку замка.

Собаколов будет продолжать ехать, веревка натянется, и замок сорвется. Конечно, если замок на кольцах держится очень крепко, веревка может лопнуть. Но Чик заметил, что дверца собаколова

была довольно ветхая. Одно из колец, на которых держался замок, должно было выскочить. А то и оба сразу!

Чик внимательно оглядел все бельевые веревки, висящие во дворе, чтобы ночью срезать наиболее подходящую. Но все веревки оказались слишком старые, измочаленные дождями и мокрым бельем. Тогда Чику в голову пришла такая мысль. Надо срезать одну из этих никудышных веревок, тогда хозяева купят и протянут новую. И тут Чик срежет новую веревку, а старую снова привесит.

Выбор Чика пал на веревку Богатого Портного. Уж кому-кому, а ему купить новую веревку — раз плюнуть. Но ведь прежде чем идти на операцию по освобождению собак, Чик должен как следует потренироваться с веревкой. Тренироваться можно только в глубине сада. Больше негде. Но здесь, конечно, кто-нибудь мог увидеть его, узнать новую веревку Богатого Портного и передать ему об этом. Как быть? Очень просто! Надо перекрасить эту веревку, высушить, а потом начать тренировку.

У тетушки в уборной на втором этаже стояло ведро с красной краской. Однажды, когда бабушка была в деревне, Чик вынес ведерко на

лестничную площадку и, окуная в него старую сапожную щетку, вывел на стене дома большую красивую надпись «Рот Фронт».

Это был знак братства с испанскими республиканцами. Но через месяц из деревни приехала бабушка, разгневалась на эту надпись и велела сумасшедшему дядюшке Чика стереть ее керосиновой тряпкой. Нет, она не испытывала никаких тайных симпатий к генералу Франко. Чику такая глупость даже в голову не приходила. Просто бабушка была неграмотной деревенской старухой и не имела понятия ни об испанцах, ни о гражданской войне в Испании. Дядюшка Чика тем более.

Дядюшка усердно стирал керосиновой тряпкой надпись Чика, а бабушка с верхней лестничной площадки властно показывала ему концом палки, какие места надо еще дотереть. Чик стоял и смотрел, как исчезают волнующие его слова.

— Бумага, бумага, бумага, — залопотал вдруг дядя и весело обернулся на Чика.

Он бросил тряпку, сжал в пальцах невидимую ручку, окунул ее в невидимую чернильницу и стал писать по воздуху на невидимой бумаге. Потом он громко рассмеялся и кивнул на стену, показывая, что Чик окончательно спятил и, вместо того чтобы писать на бумаге, измазал краской

дом. Дядя вообще любил уличать многих людей в сумасшествии. Особенно он любил уличать в этом Чика.

Да, было дело. Но на этот раз Чик надеялся использовать краску более успешно. Поздно ночью он с ножом в руке выскользнул из дому. Двор был пуст. Возле каморки Алихана стояла скамеечка, сидя на которой тот обычно парил ноги в горячей воде. Чик взял эту скамеечку и, становясь на нее, срезал веревку Богатого Портного с обоих концов. Он смотал ее, отнес в сад и забросил в самом дальнем углу за кусты крапивы.

На следующий день, возвратясь из школы, Чик вошел во двор и увидел, что вся семья Богатого Портного столпилась возле того места, где раньше был прикреплен ближайший конец их веревки. Сам Богатый Портной натягивал новую. Все идет как надо, подумал Чик, но, приблизившись, разглядел, что Богатый Портной натягивает не новую веревку, а новый провод. Сейчас он плоскогубцами накручивал конец провода на гвоздь. Накрутив, покачнул тугой провод и сказал:

— До коммунизма хватит, да? А там будем посмотреть...

С новой веревкой Богатого Портного сорвалось, и Чик стал подумывать, не обойти ли ночью

соседние дворы. И вдруг вспомнил! Когда у тетушки была корова, они ее пасли на длинной крепкой веревке. Потом корову снова угнали в деревню, а моток веревки бабушка держала под своей кроватью.

Ночью Чик тихо вытащил этот моток из-под кровати спящей бабушки, отнес его в сад и забросил за те же кусты крапивы. После этого он вытащил оттуда веревку Богатого Портного и навеки спустил ее в уборную! Будет знать, как проводом заменять бельевую веревку!

Дома Чик нашел в ящике с инструментами вполне подходящий для его замысла крюк и старый замок. Он принес их в сад. Крюк положил у подножия айвы, а замок подвесил к одному из ее сучков приблизительно на такой же высоте, на какой висел замок собаколова. Айва отстояла от забора, отделяющего сад от речушки, примерно метрах в двадцати. В промежутке между айвой, на которой висел замок, и забором, куда надо было закидывать петлю, Чик и собирался тренироваться.

После этого Чик поднялся наверх, взял корзину для собирания фруктов, незаметно вложил в нее ведерко с краской и прошел в сад. Только он вынул из корзины ведерко, как в сад пришел его

сумасшедший дядюшка. Обычно сюда, в глубину сада, он никогда не заходил. Только поздней осенью заходил, когда поспевала дикая хурма, растущая тут. Но, оказывается, он приметил, что Чик стащил ведерко с краской.

— Нельзя, нельзя, — сказал он строго, показывая на ведерко, а потом на стены домов, между которыми был зажат сад, — милиция, милиция!

Чик долго ему объяснял, что не собирается красить стены домов, но дядюшка ему не верил, неожиданно для Чика проявляя общественную жилку и защищая стены чужих домов. И вдруг Чика осенило. Он схватил ведерко с краской и подошел к забору, отделяющему сад от речушки.

— Забор! Забор! Забор! — стал вдалбливать ему Чик.

И до дяди дошло. Хотя забор, отделяющий сад от речушки, отродясь никогда не красили, дядя знал, что вообще-то заборы принято красить. Он радостно улыбнулся и поощрительно замахал руками и головой, показывая, что полностью одобряет затею Чика. Дядя ушел, напевая песню, и можно было надеяться, что дома он не будет подымать шума, тем более что, выходя из сада, он на радостях прильнул к одной из дырочек в фанерной стене кухонной пристройки, где обыч-

но возилась его безответно любимая тетя Фаина, мать Соньки. Прильнув, замер надолго.

Чик вынул веревку из-за куста крапивы и стал думать, как начать ее красить. Он понял, что если красить ее, растянув на земле, то и веревка испачкается, и земля будет в краске. Чик решил поднять веревку на дикую хурму, перекинуть ее через ветку, так чтобы она обоими концами доходила до земли. Потом слезть с дерева, связать эти концы и, окуная веревку в ведерко, перетягивать ее через ветку, пока она вся не окрасится. А потом оставить ее так, пока она не высохнет.

Чик заткнул веревку за пояс и стал подыматься на хурму по виноградной лозе. Он дополз до первой ветки хурмы и стал перебираться с ветки на ветку, пока не достиг такой высоты, откуда бы оба конца могли доставать до земли. Тут он вынул веревку из-за пояса, перевесил через ветку и стал опускать вниз, пока оба конца не коснулись земли. После этого он слез с дерева и перевязал оба конца. Окунув нижнюю часть веревки в ведерко с краской, Чик стал двигать веревку так, что окрасившаяся часть шла наверх, и при этом стараясь так стоять, чтобы краска не капала ему на голову.

Закончив работу, Чик спустился к речушке и

тщательно с песком отмыл руки. Потом он выглянул во двор и, заметив, что ни бабушки, ни тетушки не видно, вложил ведерко в корзину, поднялся наверх и поставил его на место. Хотя сумасшедший дядюшка Чика, напевая свои самодельные песенки, стоял на верхней лестничной площадке, Чик спокойно прошел мимо него, не боясь, что он пойдет проверять забор. Сумасшедшие чем хороши? Они думают прерывисто. Раз уж Чик его успокоил относительно предназначения ведерка с краской, он тут же выкинул все это из головы. Правда, через полгода он мог вспомнить и потребовать Чика к ответу за непокрашенный забор, но тогда это будет не страшно.

Через два дня веревка была уже почти сухой, и Чик собирался ее снять, когда случилось неожиданное. Белочка загнала на хурму тетушкину кошку Ананаци. Ананаци была злопамятной и гордой кошкой. Если уж Белочка загоняла ее на дерево, она могла просидеть там несколько дней без еды и питья. Тетушка из-за этого сильно страдала.

Согнать Ананаци с дерева было ужасно трудно. Чик был уверен, что в ее жилах течет кровь диких кошек. На деревьях она преображалась, и если Чик влезал за ней и пытался ее поймать,

она прыгала с ветки на ветку и устраивалась на такой верхотуре, что это было опасно для ее жизни. Рукой ее нельзя было достать. На дереве она не давалась никому.

Еще хорошо, что Чик придумал кормить ее с конца палки, которой сбивали груши. Кусок мяса или рыбы подвязать к концу палки и тихо-тихо подвести к месту, где она сидит. Глядишь, посидит, посидит, а потом соизволит съесть поданную еду.

Был только один способ насильно вернуть ее на землю. Это можно было сделать, если она устраивалась где-нибудь на кончике боковой ветки. Тетушка выносила простыню, и ее вчетвером держали под этой веткой, а Чик в это время поддевал ветку палкой для сбивания груш и сильно тряс ее, пока кошка не срывалась с ветки и не рушилась на простыню. Но это возможно было, если она устраивалась на боковой ветке, а не на вершине дерева. Тут приходилось ждать, пока ей самой заблагорассудится слезть с дерева.

И вот Чик приходит из школы, тетушка на весь двор и окрестные дома зовет свою кошку, а она в это время сидит на хурме, как раз на той ветке, через которую была перекинута веревка Чика. Не успел Чик обдумать, как быть с кошкой,

когда тетушка с верхней лестничной площадки заметила ее.

— Ананаци! Ананаци! — закричала она радостно и прибежала в сад. — Чик, почему ты мне не сказал, что она здесь? — крикнула тетушка, подбегая к Чику.

— Да я сам ее только заметил, — сказал Чик, стараясь подготовиться к ответу, когда она спросит про веревку.

— А это что за веревка? — спросила тетушка, осторожно тронув веревку. — Чик, ты украл веревку Богатого Портного и перекрасил ее? Ты опозорил нашу семью, Чик!

— Клянусь дядей Ризой, — сказал Чик, — это не его веревка!

Дядя Риза был братом тетушки и самым любимым дядей Чика. Тетушке не нравилось, что Чик из-за какой-то веревки клянется именем ее брата.

— Да начхала я на веревку Богатого Портного, — неожиданно повернула она, — хоть бы ты у него и спер ее!

— Нет, нет, — сказал Чик, — эту веревку мне в школе выдали. Мы готовимся к игре «Граница на замке». Вон замок, видишь! — Он кивнул на айву.

Но тетушка уже потеряла всякий интерес к веревке.

— Чик, а как быть с Ананаци? — взмолилась тетушка. — Она второй день ничего не ест. Может, ты ее поймаешь и спустишь с хурмы?

— Ты же знаешь, что она вскарабкается на самую макушку, если я полезу за ней, — напомнил Чик. — Давай накормим ее по моей веревке.

— Как это? — спросила тетушка.

— Очень просто, — сказал Чик. — Ты видишь — она сидит возле самой веревки. Ты принеси из дому что-нибудь, мы прикрепим к веревке, а я по веревке подыму ей.

Тетушка принесла из дому великолепную котлету и большую булавку. Чик бы сам с удовольствием съел эту котлету. Он осторожно приткнул котлету булавкой к веревке и стал тихо перетягивать веревку. Котлета пошла наверх. Кошка, сидя на ветке, безучастно следила за ними. Чик подвел котлету к самой ветке и замер. Кошка неподвижно сидела в двух шагах от нее.

— Ананаци моя милая, Ананаци моя хорошая, — взбадривала ее снизу тетушка.

Кошка с минуту безучастно смотрела вниз, а потом вдруг заинтересовалась котлетой и осторожно по ветке подошла к ней. Понюхала и стала

есть. Тетушка тихо ликовала. Ананаци съела всю котлету, причем так умело, что ни один кусочек не упал вниз. После этого она облизнула булавку, ожила, умылась и вдруг, вместо того чтобы занять прежнее место, пошла по ветке до самого ее покачивающегося кончика. Видно, она решила промять ноги. Это с ее стороны было большой ошибкой.

— Скорее простыню, — тихо приказал Чик. — Мы ее сейчас стряхнем!

Тетушка побежала за простыней. Вскоре она вернулась. За нею двигались дядя Коля, тетя Фаина и Сонька. Она их прихватила по дороге. Они вчетвером держали простыню. Все смотрели вверх на кошку, и только дядя Коля с обожанием смотрел на тетю Фаину.

— Внимание, — сказал Чик. — Начинаю.

Чик изо всех сил дернул веревку. Ветка сильно покачнулась, но Ананаци удержалась на ней. Чик, не давая ей опомниться, стал изо всех сил дергать за веревку. Ветка шумно сотрясалась, кошка извивалась на ней, стараясь сохранить равновесие. Чик не давал ей опомниться, чтобы она не вспрыгнула на другую ветку. Вдруг она сорвалась и несколько секунд висела на передних лапах. Чик дернул изо всех сил веревку, и кошка,

мяукнув дурным голосом, полетела вниз. Она тяжело шлепнулась на простыню, а тетушка ее тут же подхватила и взяла на руки. Поглаживая ее одной рукой и говоря ей ласковые слова, тетушка пошла домой. Дядюшка следовал за ней, брезгливо отстранив от себя развевающуюся простыню. Дядя считал кошек и собак грязными тварями и близко их к себе не подпускал.

— Чик, что это у тебя за веревка? — спросила Сонька.

— Скоро все узнаешь, — сказал Чик важно, — а пока держи язык за зубами.

Все ушли из сада. Чик развязал концы веревки и стянул ее с ветки. Он накрепко тройным узлом привязал к одному концу крюк, а на другом сделал петлю.

Он так живо представлял себе все, что должно случиться. Вот едет колымага. Чик накидывает петлю на планки ближайшего штакетника, догоняет ее и всовывает крюк в дужку замка. Раздается хруст вырванного замка, дверь распахивается, и собаки выскакивают на волю.

От ветхого забора до айвы было метров двадцать. На такое расстояние Чик и рассчитывал. Чик накидывал петлю на планки забора и изо всех сил бежал к айве, где на сучке висел замок.

Он быстро всовывал крюк в дужку замка.

Вся операция длилась пять-шесть секунд. Набросив петлю на планки забора, Чик ухватывался за крюк и, бросив остальной моток веревки на землю, бежал к айве.

Веревка иногда путалась в зарослях сада, и Чик решил, что, пожалуй, это рискованно. Она и на улице может за что-нибудь зацепиться. После многих пробегов от забора до айвы Чик убедился, что моток веревки лучше всего закинуть на левую руку и чуть приподнять ее, чтобы он не выпал на ходу, а свободно разматывался.

Каждый раз, пробегая с веревкой, Чик ясно представлял, как это все будет происходить на самом деле. Вскоре он догадался о своей ошибке. Нельзя сначала забрасывать петлю на штакетник, а потом догонять колымагу. Так можно промахнуться, не рассчитав скорость ее передвижения и возможные последствия, которые неожиданно могут возникнуть на пути.

Надо наоборот! Сначала вдеть крюк в дужку замка на двери, а потом бежать к забору. Всякий забор бывает довольно длинным. Замок, можно сказать, точка, а забор — линия. Надо сначала закрепиться в точке, а потом выбирать на линии наиболее удобное место.

Теперь Чик, продев крюк в дужку замка и приподняв левую руку с мотком веревки, бежал к забору. Все получалось хорошо. Но тут перед глазами Чика всплыла возможность еще одной ошибки. Если, пока он бежит к забору, веревка будет провисать, крюк, вдетый в дужку замка, может соскочить от тряски колымаги на неровностях улицы. Моток надо держать продетым в левую руку, но правой рукой надо веревку пропускать сквозь ладонь так, чтобы она все время была достаточно натянута. Тогда крюк не соскочит.

Чик теперь бежал, пропуская веревку сквозь ладонь правой руки. Теперь он чувствовал, что она все время достаточно натянута.

Чик все время бежал прямо от айвы к забору, но вдруг понял, что это неправильно. Надо забирать немного вправо или влево.

Вдев крюк в дужку замка, надо бежать наискосок по ходу колымаги, потому что, если бежать прямо, а колымага будет двигаться очень быстро, веревки может не хватить и он не дотянется до штакетника. Надо бежать наискосок, но в то же время помнить, что нельзя обгонять колымагу и высовываться, потому что собаколов может его заметить и догадаться обо всем.

Чик все, что мог, предусмотрел. Он так долго тренировался, что у него на левой руке возле локтя, где разматывалась веревка, кожа покраснела и саднила, но Чик терпел. Ему даже было приятно. Свобода даром никому не достается! Завтра, завтра все решится! Он забросил веревку в заросли крапивы и пошел домой.

Утром, выйдя из дому с портфелем в руке, Чик незаметно юркнул в сад. Он осторожно вынул из зарослей крапивы свою веревку и поставил туда портфель. Он тщательно, как парашютные стропы (так казалось Чику), кольцами свил веревку, просунул в нее голову, а потом руку. Теперь веревка висела у него на плече, как солдатская скатка.

И тут только он заметил, что за ним увязалась его собака Белочка. Она видела, как Чик сунул портфель в кусты крапивы, и сейчас бдительно следила за Чиком, ожидая приказа «Ищи!».

Чик не на шутку забеспокоился. Вдруг, когда он уйдет, Белочка вытащит его портфель из кустов крапивы и принесет домой? Скандал! Вообще-то он никогда не заставлял ее искать портфель. Но носить портфель иногда давал. Когда Чик возвращался из школы, Белочка чаще всего у калитки дожидалась его. Издали, узнав Чика по голосу, она радостно бежала ему навстречу. И

тогда Чик для смеха иногда давал ей в зубы свой портфель. И Белочка, подволакивая его на ходу, несла портфель до калитки. Нет, она не нарочно подволакивала его по пыльной дороге. Просто она была небольшой собакой.

Вообще-то Белочка так и не примирилась за несколько лет с тем, что Чик тратит время на школу. Чик это точно знал. Объяснить ей, что Чик обязан ходить в школу, было никак невозможно. Но сейчас Чик забеспокоился: а вдруг она ненавидела его портфель и только скрывала до сих пор свою ненависть? А теперь, оставшись с ним один на один, вынесет его из крапивы и разорвет вместе с книгами и тетрадями. Да если просто приволочет его во двор, тоже нехорошо. Дома догадаются, что он не был в школе.

Надо ее как следует отвлечь, чтобы она о портфеле совсем забыла. Чик подошел к груше и обил палкой самую великолепную грушу, до которой только мог дотянуться. Груша была до того соблазнительной, что Чик сам ее разок откусил и, держа в вытянутой руке, сказал:

— Возьми!

Белка радостно прыгнула, но Чик приподнял руку.

— Белка, возьми!

Белка снова прыгнула, но Чик отдернул руку, и она не достала. Нет, он не мучил ее этим. Белочка сама знала, что это игра. Она весело подпрыгивала. Раз уж Чик сказал «возьми», он обязательно даст ей ухватить грушу. Белочка продолжала прыгать. В мире нет умнее и чистоплотней собаки. Под грушей лежат довольно съедобные паданцы, но она их ни за что не тронет. Ей подавай свежие, прямо с ветки!

Вовсю расшухарив Белку, Чик наконец дал ей возможность цапнуть грушу и съесть. Все это он проделал для того, чтобы Белочка начисто забыла о спрятанном портфеле.

Белочка съела грушу и, приподняв морду на дерево, тряхнула головой, предложив Чику еще поиграть с грушей или виноградом, лоза которого вилась вокруг груши.

— Хватит, Белка, — сказал Чик и, сделав свирепое лицо, крикнул: — Пошла домой!

Белочка вздрогнула, внимательно взглянула на Чика, мотнула головой, как бы сказав: «Не верю в твою свирепость!» — и завиляла хвостом.

Тогда Чик решил отделаться от Белки более точным приемом.

— Белочка, купаться, — сказал Чик ласковым голосом.

Белочка терпеть не могла купаться. Видимо, воспоминания о мыле, которым ее мылила тетушка во время купания, были для нее самыми горькими и отвратительными. Она сразу поскучнела, и хвост у нее опустился.

— Купаться, купаться, — сказал Чик с фальшивой ласковостью, и Белочка, повернувшись, побежала во двор прятаться.

Чик был уверен, что если Белочке посреди пустыни Сахары сказать «купаться!», она тут же бы зарылась в какой-нибудь бархан. В таких случаях она теряла свою сообразительность и даже не заметила бы, что поблизости нет ни лохани, ни оазиса.

— Для тебя же стараюсь, — вздохнул Чик вслед убежавшей Белке и, перейдя сад, нырнул в пролом забора.

Теперь Чик надеялся, что из головы Белочки выветрится память об оставленном в кустах крапивы портфеле. Чик прошел по руслу речушки, проскочил под мостом и вылез на улицу.

Он чувствовал во всем теле легкость веселящего волнения. На углу перед самой школой, где Чик собирался свернуть в сторону моря, он догнал Бочо.

— Чик, что это у тебя за красная веревка? —

удивился Бочо.

Чик решил, что теперь уже можно все рассказать. Тайна не успеет дойти до ушей собаколова. Он ему все выложил, и Бочо загорелся помогать.

— Я буду искать отсюда до моря, — сказал Чик, — а ты ищи отсюда до Ботанического сада. Встретимся здесь.

— А это куда? — Бочо мотнул в руке портфель.

— Портфель тебе не мешает, — объяснил ему Чик. — Дверь открывать буду я. Ты ищи собаколова и спрашивай у пацанов, кто его видел.

— Ох, Чик, — покачал головой Бочо, — излупцует же он тебя кнутом, если догонит.

— Знаю, — сказал Чик, — но сперва пусть догонит.

Чик пошел в сторону моря. Встречные иногда удивленно поглядывали на моток красной веревки на груди Чика и даже выказывали желание остановиться и поговорить по этому поводу, но Чик сурово проходил мимо. Каждый раз, проходя мимо ограды из штакетника, Чик думал: здесь можно было бы. Иногда попадались штакетники с такими милыми крепенькими планками, что просто хотелось их расцеловать. Дойдя до угла квартала, Чик внимательно смотрел в обе стороны, пытаясь вдалеке различить знакомую

колымагу. Но пока ее нигде не было видно.

— Чик, это водолазная веревка? — крикнул ему знакомый пацан и подбежал к нему. — Откуда она у тебя?

— От водолаза, — сказал Чик. — Собаколова не видел?

— Нет, — ответил пацан, — а зачем он тебе?

— Так, дело есть, — сказал Чик и прошел.

Чик встретил еще нескольких знакомых пацанов, и все они удивлялись его веревке, но собаколова никто не видел. Внимательно оглядывая на перекрестках поперечные улицы, Чик дошел до самого приморского пустыря, где бывали бродячие собаки и куда собаколов часто заглядывал. Но сейчас здесь никого не было.

Чик вышел на параллельную улицу и пошел назад, оглядывая на перекрестках поперечные улицы и мимоходом любуясь попадающимися на пути штакетниками. Он дошел до своей улицы, прошел мимо школы и остановился на перекрестке, где они условились встретиться с Бочо.

Бочо еще не подошел, и Чик стал ждать. Прозвучал звонок на перемену, и Чик повернулся спиной к школе, чтобы его никто издали не узнал. Потом раздался звонок на урок. Было слышно, как ребята с веселым шумом устремились в классы.

Потом все затихло. Бочо все не было.

И вдруг он появился вдалеке. Он бежал по улице Чика, то и дело взмахивая портфелем. Чик понял, что Бочо бежит с какой-то новостью.

— Чик, — задыхаясь, крикнул Бочо, подбегая, — он едет по вашей улице! Он сейчас возле спортплощадки остановился. Там собака! С ним рядом сидит второй человек!

Чик раздумывал несколько секунд. Надо его встретить на том углу квартала. Там начинается длинный штакетник забора грузинской школы. Это даст возможность маневрировать.

— За мной! — крикнул Чик, и они побежали.

Когда они добежали до угла, из-за поворота улицы, покачиваясь на неровностях немощеной дороги, показалась колымага. Собаколов постегивал кнутом свою клячонку, жадно озирая улицу в поисках зазевавшейся собаки. Рядом с ним сидел какой-то рыжий человек. Наверное, он учился ловить собак. Между ними на длинном древке вяло колыхался сачок, как грязное знамя грязного дела.

Чик отвернулся к забору, чтобы не вызывать никаких подозрений. Колымага, поскрипывая, приближалась. Медленно, медленно приближалась! Вот она поравнялась с ним. Чик это

почувствовал и быстро обернулся.

Дав ей проехать чуть дальше себя, Чик скинул с плеча моток веревки, продел его в левую руку, правой ухватился за конец с крюком и ринулся за колымагой.

Он быстро догнал ее, зацепил крюк за дужку замка и побежал к штакетнику, не давая ослабнуть разматывающейся веревке. Закинув петлю за две планки штакетника, сдернул ее пониже и обернулся.

Через секунду веревка натянулась, и Чик, холодея от ужаса, увидел, что замок не оторвался, а колымага просто остановилась. Все пропало!

Но нет! Собаколов ничего не понял и пару раз сильно стегнул свою клячу. Она рванулась, одно из колец соскочило, и дверь с треском распахнулась. Но собаки почему-то не выскакивали. А собаколов и сейчас ничего не понял! Он встал с места и, громко ругаясь, стал изо всех сил нахлестывать свою клячу. Она опять рванулась, крюк на конце веревки все еще торчал в дужке замка, веревка снова натянулась, дверь с ужасающим скрежетом вырвало из петель, и она с грохотом повалилась на улицу.

О, вырванный с корнем гнилой зуб злодейства! Собаки радостным потоком стали выпрыгивать

из колымаги: белые, черные, желтые, пятнистые, серые!

— Чик, атанда! — откуда-то издали раздался голос Бочо, и Чик очнулся.

Собаколов уже спрыгнул с передка и бежал к дверце колымаги. И тут Чика захлестнул страх. До этого страха не было, а тут захлестнул. Чик рванулся и побежал навстречу собаколову, но в сторону дома. Краем глаза он успел заметить, что Бочо перекинул портфель во двор грузинской школы и сам перемахнул через забор. Он успел удивиться, что Бочо принял более умное решение, но менять свое было уже поздно. Увидев бегущего Чика, собаколов ринулся к тротуару.

Чик прорвался мимо свистнувшего у его ног кнута и побежал дальше. Собаколов за ним. Чик обогнал несколько освобожденных им собак, и вдруг одна из них с лаем бросилась за ним и вцепилась в штаны. Прокусить штаны она не смогла, но пока Чик отцеплялся от нее, собаколов догнал его своим кнутом. Струей кипятка кнут плеснул по ногам. Чик подпрыгнул от боли и сразу же оторвался от собаки и собаколова. Тот продолжал бежать за ним, но Чик чувствовал, что теперь он уже его не достанет, именно потому, что успел ошпарить кнутом. «Оказывается, человек, как

и лошадь, может от удара кнута увеличивать скорость», — подумал Чик на бегу. До кнута ему казалось, что он бежит на предельной скорости, но после кнута он явно поднажал.

— Молодец, Чик, молодец! — доносились голоса уличных соседей.

Чик вбежал во двор, пробежал его, ворвался в сад и вскарабкался на спасительную грушу. По бешеному лаю Белки Чик догадался, что собаколов уже во дворе.

Чик докарабкался до макушки груши и стал следить за двором. Отсюда весь двор был как на ладони. Собаколов, отбиваясь кнутом от Белки, атакующей его со всех сторон, прошел до самой лестницы, ведущей на второй этаж, где жила тетушка.

— Где этот мальчик?! Где этот хулиган?! — орал он, поглядывая на соседей и стараясь угадать, кто прячет Чика. Он не знал, что Чик пробежал в сад.

Тетушка появилась на верхней лестничной площадке и, стоя над горшками цветущей герани, смотрела вниз, пытаясь понять, что происходит.

— Оставь собаку! — кричала она. — Что тебе надо?

— Где этот хулиган? — кричал собаколов. — Я

его сдам в милицию!

Тут во двор вошли несколько соседей по улице, и один из них крикнул тетушке:

— Чик открыл дверь его ящика! Все собаки сбежали!

— Я его в колонию отправлю! — кричал собаколов. — У меня свидетели!

Тут двор поднял возмущенный гвалт.

— В колонию?! — вскрикнула тетушка. — Да я тебе сейчас за это глаза выцарапаю, живодер несчастный!

Она огляделась как бы в поисках предмета, при помощи которого можно было бы выцарапать глаза собаколову, и увидела, что за ее спиной стоят дядя Коля и бабушка. Они вышли из дому, привлеченные шумом. Тетушка решила не искать больше предмет, при помощи которого можно было выцарапать глаза собаколову, а заменить его сумасшедшим дядюшкой Чика.

— Коля, гони его со двора! — крикнула тетушка и, поясняя свою мысль на понятном ему языке, добавила: — Он плохой! Плохой!

— Плохой?! — переспросил дядя Коля и свесился с перил, стараясь разглядеть, насколько плох собаколов.

— Плохой! — крикнула тетушка. — Гони его

отсюда!

— Сумасшедший? — переспросил дядюшка. — Кричит?!

Вообще-то он не любил связываться с чужими и сейчас пытался сам себя разгорячить.

— Да, сумасшедший! Да, кричит! — крикнула тетушка и показала на себя. — На меня кричит!

Дядюшка сделал решительное движение, чтобы побежать вниз, но бабушка властно придержала его за рубашку и даже дала ему легкий подзатыльник, чтобы он в мирские дела не вмешивался. Она не любила, когда ее сына пытались так использовать.

— Он мне план поломал! — кричал собаколов, то отмахиваясь кнутом от Белочки, то грозя этим кнутом тетушке. — Ты его от меня не спрячешь! Я его в колонии сгною!

Вдруг тетушка быстро нагнулась, схватила самый большой горшок с геранью и с криком: «Вот тебе колония!» — швырнула его в собаколова.

Такого он явно не ожидал. Горшок с цветущей геранью, пропламенев в воздухе, полетел вниз. Собаколов успел отпрянуть, и горшок, глухо выстрелив, разбился у его ног. Черепки разлетелись, а герань с большим комом земли вокруг корней каким-то чудом стала торчком, продолжая цве-

сти как ни в чем не бывало. Чик подумал, что она вполне приживется, если ее пересадить в другой горшок.

Белочка продолжала захлебываться лаем. Собаколов и тетушка переругивались. Жители соседнего двухэтажного дома на шум выглядывали из окон, но не могли понять, что происходит внизу. Флигель, в котором жила Ника, скрывал от них собаколова.

Наконец одна из соседок поймала глазами Соньку, стоявшую в углу двора, и крикнула:

— Сонька, что там случилось?

— Чик освободил собак, — радостно крикнула Сонька, — собачник его ищет!

Но тут Сонькина мама выскочила из своей кухоньки и, подбежав к Соньке, стала загонять ее домой, крича:

— Мы ничего не знаем! Мы ничего не видели!

Она всегда всего боялась и сейчас не знала, чем все это кончится.

— Чик освободил собак! — еще раз бесстрашно крикнула Сонька, пока мать тащила ее в дом.

Тут во двор вошел помощник собаколова с веревкой в руках. Богатый Портной, до этого безучастно наблюдавший за происходящим, вдруг ожил. Он подошел к этому человеку, взял

у него из рук веревку и стал с любопытством приглядываться к ней. Потом он стал ее мерить, разворачивая руки, как продавцы тканей. Веревка была явно длинней, чем он предполагал, и Богатый Портной, пощупав крюк, вернул ее помощнику собаколова.

— Такой крюк пароход может остановить! — сказал Богатый Портной, возвращая веревку. Он нарочно сделал вид, что его больше всего поразил этот крюк, чтобы никто не подумал, что он интересовался самой веревкой.

— Я это сейчас в милицию отвезу! — крикнул собаколов, кивнув на веревку. — В колонию пойдет твой сын, в колонию!

Тетушка схватила самый маленький горшочек с геранью и швырнула в собаколова. Из этого Чик понял, что она начала успокаиваться. Этот горшочек вдребезги разбился у ног собаколова, а герань сломалась.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в это время во двор не вошел дядя Риза, любимый дядя Чика. Все женщины двора при виде его, как всегда, замолкли и стали прихорашиваться. Маленький, красивый, всегда хорошо одетый, он подошел к собаколову и стал тихо с ним говорить.

— Не слушай его, — крикнула сверху тетушка, — он живодер!

Дядя еще некоторое время поговорил с собаколовом, а потом вынул из пиджака бумажник, достал оттуда красненькую тридцатку и дал ему. Тот, взяв деньги, как-то легко успокоился и пошел со двора вместе с товарищем, который все еще держал в руке моток веревки.

Белочка с лаем сопровождала их до калитки, и собаколов несколько раз нехорошо на нее посмотрел. Но теперь он не взмахивал кнутом, а волочил его по земле.

Чик подумал, что собак в колымаге было штук пятнадцать. Собаколов получил тридцатку. Значит, они оценивают живую собаку в два рубля! А веревка? Интересно, за сколько рублей он ее загонит?

Уличные соседи, переговариваясь, стали выходить со двора. Некоторые из них явно ожидали большего. Дядя им подпортил зрелище. Сейчас он приподнял герань за стебель, легким движением стряхнул ком земли с корней и поднялся наверх.

— А где Чик? — спросил он у тетушки.

Тетушка растерянно огляделась и развела руками: увлеченная борьбой за Чика, она о самом Чике подзабыла.

— Я здесь, дя! — крикнул Чик с груши.

Дядя обернулся, поймал Чика любящими, насмешливыми глазами и поманил пальцем. После этого он отдал герань тетушке и вошел в дом. Пока Чик спускался с дерева, сумасшедший дядюшка Чика уже пришел в сад и наполнял свежей землей новый горшок для герани, чудом уцелевшей после падения со второго этажа.

Чик поднялся наверх и прошел в залу, где дядя, раздетый и укрытый простыней, лежал на своей кровати. После работы он любил умыться и часок отдохнуть. Его мокрые редеющие волосы блестели и были зачесаны на косой пробор. Голые мускулистые руки были высунуты из-под простыни и держали книгу.

— Поди-ка сюда, — сказал он Чику, показывая на постель и откладывая книгу, на которой Чик успел прочитать: «Ги де Мопассан».

Чик присел на постель.

— Рассказывай, — кивнул дядя, сияя на Чика улыбкой, — о подвигах, о доблести, о славе.

И Чик рассказал ему все. Как он давно ненавидел собаколова, как он своими глазами видел доверчивую собаку, пойманную в его подлый сачок, как он придумал распахнуть его дверь и выпустить всех собак.

— Ты молодец, Чик, — сказал дядя, любуясь Чиком, — но и собачника надо понять. У него ужасная работа, но это работа. И ты прав, и он по-своему прав.

— Как так? — удивился Чик.

— Ну, Чик, — сказал дядя, гдядя на него своими блестящими глазами, — это как змея и человек. В природе змеи — кусаться. В природе человека — убивать змею. Так они вместе живут, тысячелетия и будут жить. Такова природа, Чик: змее кусать человека, а человеку убивать змею.

— А уж? — сказал Чик, подумав.

Дядя вдруг расхохотался, схватил его голыми руками и, прижав к себе, поцеловал в лоб. Чик не видел ничего смешного в том, что он спросил, но ему приятно было, что дядя хохочет.

— А в природе ужа, — сказал дядя сквозь хохот, — страдать за сходство со змеей!

Чик решил, что они слишком далеко отошли от дела.

— Да, — сказал Чик, — он ловит не только бродячих собак. Он ловит любых собак, которые оказались на улице.

— Конечно, конечно, — сказал дядя, — здесь возможны ошибки.

— Не ошибки, — поправил его Чик, — а вре-

дительство. Хозяин собаки все время думает на работе: а вдруг моя собака выбежала на улицу и ее поймал собаколов? И от этого он на работе волнуется и совершает грубые ошибки.

— Чик, — сказал дядя, и глаза его строго потвердели, — я тебе уже объяснил, что все это ерунда. Ты ведь не раз убеждался в этом. Нет никаких вредителей! Есть разгильдяи, трусы, подлецы… И, наконец, просто дураки!

— Кто же тогда арестовал отца Ники? — спросил Чик и уже сам строго посмотрел на дядю. — Он ведь был твой друг?

Последние слова Чик произнес с невольным упреком. Если дядя не признает, что есть вредители, значит, он признает, что отца Ники правильно арестовали. Но ведь это не так!

— Чик, — сказал дядя, и вдруг в его всегда ясных, умных глазах появилось выражение тоски, — отец Ники был моим другом, и я никогда от него не отрекался. Запомни — никогда! Он был честным человеком! Как бы тебе объяснить? Ты этого сейчас не поймешь…

— Нет, пойму, — твердо перебил его Чик и твердо посмотрел ему в глаза.

— Бывают времена, когда… когда многие люди… живут, как пьяные, — сказал дядя медленно

и с трудом подбирая слова, — а ты знаешь, что пьяные бывают безумными и жестокими?

— Да, конечно, — сказал Чик и мгновенно припомнил то, чего, в сущности, никогда не забывал.

Несколько лет назад Чик шел с пацанами на море. Вдруг они увидели перед собой на тротуаре двух пьяных. Один был большой и здоровый, а второй был среднего роста. Тот, что был поменьше, что-то сказал большому. Здоровый обхватил его руками, поднял над землей и бросил. Тот упал и долго не мог встать. Но потом встал, и они пошли дальше. Видно, он опять сказал здоровому что-то неприятное, и здоровый опять приподнял его на руках и бросил на землю. И второй опять растянулся на тротуаре. Он долго не мог встать, а большой, самодовольно ухмыляясь, помог ему встать, и они, пошатываясь, пошли дальше. И, видно, тот, что был поменьше, опять что-то неприятное сказал большому, и тот опять его приподнял над землей и бросил, как деревянную куклу. На этот раз ребята были совсем близко, и Чик услышал, как пьяный, падая, стукнулся затылком о каменный бордюр тротуара. И этот звук, этот стук перевернул всю его душу!

Упавший теперь лежал неподвижно, а здо-

ровый, сопя, пытался его приподнять, а у того обвисли руки и глаза были закрыты. А этот все сопел над ним, ничего не понимая и пытаясь его поставить на тряпичные теперь ноги. И это было ужасно, что он никак не поймет того, что случилось с его товарищем.

Потом собралась толпа. Большого забрала милиция, а за маленьким приехала «скорая помощь». Говорили, что он не умер, что он только потерял сознание, но Чик на всю жизнь запомнил этот случай.

И Чик, всегда содрогаясь, вспоминал этот беспомощный стук головы о бордюр тротуара, тот жестокий, нечеловеческий звук равнодушия к человеческой жизни.

— А отчего они как пьяные? — спросил Чик. Он внимательно смотрел дяде в глаза.

Дядя помолчал мгновение и вдруг тихо, словно не Чику, а самому себе, с горечью выдавил сквозь зубы:

— От того, что он их сделал такими…

Дядя замолк, но Чик знал, кого он имел в виду. В Чегеме открыто называли этого человека, а в городе почему-то страшились. Вот что удивительно!

— Ты вырастешь, Чик, и все поймешь. — И

вдруг добавил, как-то странно взглянув Чику в глаза: — И если даже с твоим дядей что-нибудь случится, ты всегда верь, что он был честным человеком…

— Нет, — выдавил Чик, чувствуя, что внутри у него все сжалось. Он обхватил руками его шею. — Нет! Нет! Нет!

— Я тоже так думаю, — сказал дядя, целуя Чика, — кажется, худшее позади… И не надо об этом… Нарви-ка нам лучше винограда к обеду…

Чику стало легче. Внутри отпустило. Он ужасно любил, когда дядя ему говорил: нарви груш, инжира, винограда. Чик в такие минуты чувствовал себя фруктовым кормильцем семьи.

— Дя, — вдруг вспомнил Чик, — собаколов не отомстит Белочке за то, что я выпустил собак?

Дядя рассмеялся, вскочил с постели и стал быстро одеваться. Он все делал легко, быстро.

— Я думаю, — сказал он, — этот человек больше никогда по нашей улице не проедет. Ты его хорошо проучил.

Когда Чик с корзиной спустился во двор, Сонька выскочила с его портфелем в руке.

— Чик, — сказала она, — ты забыл под грушей свой портфель. Белочка начала грызть, но я у нее отняла его.

Чик за всеми делами этого дня совсем забыл о своем портфеле. Значит, Белочка все-таки о нем не забыла! Ай да Белка!

Чик взял портфель и вошел в сад. Он повесил его на сучок и взобрался на грушу. Когда он влез на вершину, стал рвать спелые гроздья «изабеллы», на лестничной площадке появилась тетушка с ведром и кружкой. Она стала поливать цветы. Самая большая герань была уже водворена в новый горшок. Чик заметил, что тетушка ее особенно усердно поливает, как пострадавшую в схватке с собаколовом. Поливая цветущие красным цветом герани, тетушка громко напевала одну из своих любимых песен:

Белые, бледные, вечно душистые,
Эти цветы расцвели-и-и…

Чик – играющий судья

Был жаркий солнечный день начала лета. Ребята в парке играли в футбол. Играли улица на улицу. Третья Подгорная против Четвертой Подгорной, на которой жил Чик. Девочки и малышня с обеих улиц следили за игрой. Они были болельщиками и зрителями. Среди девочек были

Сонька и Ника. Они сидели на траве. На Нике был такой широкий сарафан, что он сейчас расстилался вокруг нее, как голубой парашют. Казалось, она только что с небес тихо опустилась сюда.

Воротами служили сброшенные одежды мальчиков. Некоторые мальчики разделись до трусов, но Чик, пришедший сюда в майке, в коротких штанах и сандалиях, так и играл.

Настоящую боевую форму футболиста носил только один мальчик, капитан команды Третьей Подгорной. Звали его Гектор. На нем была настоящая динамовская майка с закатанными рукавами и с голубой полосой на груди, настоящие динамовские трусы, сидевшие на нем, как юбка, настоящие гамаши и ботинки.

Дело в том, что старший брат капитана играл в местной взрослой команде, и было только не ясно, сам брат выдал ему всю эту одежду или он у него ее украл на время игры.

Чик был капитаном своей команды и нападающим. Чик одинаково хорошо, а иногда и одинаково плохо бил правой и левой ногой. Он никакой разницы не чувствовал между правой и левой ногой. Ему было все равно, какой ногой лупить мяч, что правой, что левой.

Он гордился этим. Он до того удивительно не

отличал правую ногу от левой, что иногда ему приходилось сравнивать ногу с соответствующей рукой, чтобы определить, какая, собственно, это нога — правая или левая. Чик гордился таким свойством своих ног, но другие этого не замечали или из зависти делали вид, что не замечают.

Сонька и Ника внимательно следили за его игрой, и, если ему удавалось красиво обвести игрока или тем более забить гол, они хлопали в ладоши и кричали:

— Молодец, Чик! Браво, Чик!

Но Сонька чересчур восторженно следила за его игрой. «Молодец, Чик!» — кричала она, как только он ударял по воротам, еще не дождавшись результатов удара. Это было хорошо и уместно, когда Чик забивал гол. Это было уместно и тогда, когда вратарь ловил трудный мяч. Но это бывало довольно глупо, когда Чик промахивался и мяч летел мимо ворот.

— Ненавижу, когда кричат под ноги! — говорил Чик в таких случаях, взглянув на Соньку. В такие минуты ему казалось, что ее крик или ожидание ее крика помешали ему хорошо пробить мяч.

Бочо, друг Чика, сейчас играл против него, потому что он был с Третьей Подгорной. Чик впервые играл против Бочо. Все знали, что Чик

победил Бочо в честной драке, в невыгодных условиях, когда вокруг были одни друзья Бочо. Они не вмешались в драку, но Чик же не знал об этом заранее. Чик побеждал Бочо и в обыкновенной борьбе. Но Бочо как-то слишком быстро рос и тяжелел. Чику это было довольно обидно, тем более что сам он рос гораздо медленнее и, кажется, совсем не тяжелел.

И вот во время игры в футбол, когда Чик прорывался к воротам противника, Бочо иногда его догонял и, как бы не нарушая правил, наваливался на него и оттеснял от мяча. Но ведь Чик был сильнее Бочо, куда же в этих случаях испарялась его сила? Да, Бочо был тяжелее Чика, и Чик как-то смутно угадывал, что тут все зависит от тяжести Бочо. Чик, в сущности говоря, был близок к открытию закона о действии массы, помноженной на ускорение. Но Чик так и не открыл этого закона. Чик воспринимал давящую тяжесть Бочо во время борьбы за мяч как тяжесть нахальства. Но какое он имеет право на тяжесть нахальства и именно во время игры?

Ведь всем известно, что Чик победил Бочо в честной драке да еще в невыгодных условиях, когда кругом были одни друзья Бочо. Неужто прямо сейчас снова затевать драку? Но это как-то глупо

и даже нечестно, все поймут, что дело в том, что Бочо часто срывает атаки Чика, переигрывает его. Это было бы нехорошо. Но сам Бочо должен помнить о той драке? Не ему ли Чик тогда поставил фонарь? Нет, ничего не помнит! Пользуясь тем, что он одинаково бьет обеими ногами, Чик уходил от Бочо с правого края на левый, но тот преследовал его и там. Видно, капитан ему заранее сказал: «Твоя задача держать Чика. И мы выиграем». Вот он и прилип к нему.

Да, странные вещи происходят в мире. Прошлым летом Чик отдыхал в горах в доме дедушки. И вот Чик в конце лета приезжает на школьные занятия в город и встречает на улице Бочо. И что он видит? Пока Чик бегал по горам и пил козье молоко, Бочо здесь так вырос, что перерос его чуть ли не на полголовы. Чику как-то стало больно и неприятно, как будто Бочо его обманул и предал.

Да, Чик чувствовал себя преданным. Как будто Бочо должен был его предупредить, прислать в Чегем телеграмму, что ли: «Чик, принимай меры. Я очень быстро расту. Все еще твой Бочо».

Да и какие меры Чик мог принять? Нажимать на мамалыгу? На копченое мясо? Или часами висеть на какой-нибудь ветке? Но ведь так только руки вытянутся. Да, Чик чувствовал, что Бочо его

предал, но ему было бы ужасно стыдно в этом признаться. Чик изо всех сил сдерживался, чтобы Бочо не заметил его остолбенения. Но вдруг Бочо, глядя на Чика, стал ухмыляться. До чего же неприятная ухмылка!

— Ты чего ухмыляешься? — дрогнувшим голосом спросил Чик.

— Да так, ничего, — ответил Бочо, продолжая ухмыляться.

— Нет, ты скажи честно!

— Я так просто…

— Я же знаю, что ты чего-то думаешь!

— Да ничего я не думаю, Чик.

— Нет, ты что-то думаешь и от того разлыбился.

— Не обижайся, Чик, но ты какой-то маленький стал.

Лучше бы Чик этого не слышал! Внутри у него все похолодело. Но Чик взял себя в руки и постарался вспомнить, что по этому поводу говорят в Чегеме.

— Плохое дерево быстро растет, — сказал Чик.

— Какое такое плохое дерево? — просипел Бочо с некоторой тревогой.

— Например, ольха, — пояснил Чик, — у нее слабая древесина, и она быстро растет. А грецкий

орех, дуб, самшит — они растут медленно. Зато у них мощные мускулы. Даже топор затупляется, когда рубят самшит.

— То дерево, а то люди, — уперся было Бочо, но усмехаться перестал.

— Хочешь, давай поборемся?

— Давай, — согласился Бочо и усмешкой напомнил о своем теперешнем преимуществе.

— С подножкой включительно, — предупредил Чик.

— Идет.

Они вцепились друг в друга. Чик с трудом обхватил потолстевшее тело Бочо. Он сразу почувствовал, что устойчивости в нем прибавилось. Но Чик хорошо помнил и о своем преимуществе: ему все равно было, какой ногой ставить подножку, что левой зацепить, что правой. А Бочо надеялся, что теперь его Чик не может свалить.

Они некоторое время кряхтели, сцепившись друг с другом, и Чик пару раз для понта цеплял его ногу своей правой ногой, но Бочо успевал отцеплять. Ноги его теперь казались тяжелыми, как колонны. И когда Чику удалось отвлечь внимание Бочо на свою правую ногу, он заплел его ногу своей левой ногой и изо всех сил толкнул его назад. Бочо рухнул, как гнилая ольха. Чик сел

на него, показывая, что преимущество надолго, если не навсегда, остается за ним.

Чик тогда удивился, что свалил Бочо даже легче, чем раньше. Он не понимал, что обида за так неожиданно и так насмешливо выросшего Бочо придавала ему дополнительные силы. Да и горный воздух с козьим молоком, видно, не прошли даром. Но Чик тогда решил, что Бочо слишком быстро нарастил мясо и это мясо еще не приспособилось к борьбе и даже мешает старым мускулам.

Но оказалось, что Чик не совсем прав. Оказалось, в футболе эта лишняя тяжесть помогает Бочо. И главное, Бочо во время игры начисто забывал, кто победил в честной драке, в невыгодных условиях, когда кругом были друзья Бочо, и кто рухнул, как гнилая ольха, когда они в последний раз боролись. Нет, только пыхтит, догоняя Чика, и довольно удачно оттесняет его от мяча нахальной тяжестью своего тела.

В сущности, иногда, надо было давать штрафной за грубую игру. И Чик, когда Бочо особенно нахально отбирал у него мяч, замирал на месте в полусогнутом виде, показывая судье, что любой другой мог свалиться от этого грубого толчка и только он удержался за счет одинаковой цеп-

кости своих ног. Но судья, ради которого Чик замирал в этой неудобной позе, или не смотрел на него, или руками показывал: мол, продолжайте игру, все правильно.

Ничего себе — все правильно! И это было тем более обидно, что игру судил Оник, сын Богатого Портного. Они жили не только на одной улице, но и в одном доме. И сейчас Оник форсит своей честностью, показывая всем: вот мы с Чиком живем в одном доме, а я ему не подсуживаю, я честный судья.

Ничего себе честный! Да другой на месте Чика отлетал бы от Бочо, пропахав землю метров на пять! И если Чик не отлетал за счет своих ног, то, значит, все честно?!

Да и какой Оник судья! Просто отец Оника, Богатый Портной, достал ему настоящий судейский свисток, и поэтому его в последнее время назначают судьей. Правда, Оник быстроног. Что есть, то есть. Везде поспевает, хотя то и дело свистит по поводу и без повода. А когда Бочо наваливается на Чика, как дикий кабан, он никак не может продуть в свой свисток.

И Чик, продолжая играть, все сильней и сильней злился на Оника. У него сердце не кусается! Так в Чегеме называли толстокожих, равнодуш-

ных людей.

Чик считал, что это метко замечено.

И вдруг пришло возмездие.

В парк, где они играли, явился Богатый Портной с кружкой молока и поджаристой булкой. Родителями Оника считалось, что у него слабые легкие и его надо время от времени прикармливать. Богатый Портной иногда и в школу приносил Онику пирожки с мясом или что-нибудь еще не менее вкусное. Это длилось так долго, что в классе уже к этому привыкли и почти не смеялись, когда Богатый Портной, не дожидаясь звонка, просовывал свою голову в дверь класса и предлагал Онику пирожки.

Но принести булку и кружку с молоком сюда, в парк, где идет непримиримая игра улица на улицу, где многие даже не знают о пирожках, годами носимых в класс, потому что учатся совсем в другой школе, а многие и вообще не знают, что Богатый Портной со своими закидонами — отец Оника, это было слишком.

— Оник, молоко и булочка! — крикнул Богатый Портной таким естественным голосом, как будто это общеизвестный в мировом футболе завтрак судьи.

Оник быстро взглянул на отца и, махнув рукой,

побежал туда, где сцепились игроки. Он делал вид, что этот курчавый мужчина с ленточкой сантиметра на шее, с кружкой молока в одной руке и с поджаристой булкой в другой, не такое уж большое отношение имеет к нему. На что он надеялся? Трудно сказать. Во всяком случае, Оник, как и все слабохарактерные люди, пытался оттянуть то, что будет ему неприятно.

Чик ожидал, что Богатый Портной сейчас скажет: «Мой Оник симпатичка!» — и все попадают от смеха. Но Богатый Портной вел себя здесь посдержанней, чем в школе или на своей улице, хотя ленточку сантиметра с себя не снял перед тем, как идти в парк. Может быть, нарочно, чтобы удивленным встречным другие люди говорили: «Как, вы не знаете его? Так это ж Богатый Портной».

Видя, что Оник не сразу его признал, Богатый Портной решил немного переждать.

— Оник, пей молоко и суди отсюда! — крикнул через некоторое время Богатый Портной, надеясь, что нашел вариант, при котором и сын будет есть, и игра не будет останавливаться. Интересно, подумал Чик, как это он будет судить, булькая свистком в молоке?

— Потом! Потом! — резко крикнул Оник, пробе-

гая мимо отца и продолжая делать вид, что между этим человеком с ленточкой сантиметра на шее и им, строгим судьей, большой близости нет, хотя некоторая близость, может, и существует. Чик заметил, что Оник ни разу отца не назвал папой. Все еще надеялся, что пронесет.

Уже некоторые игроки и зрители стали посмеиваться над этой странной картиной, тем более что никто не подозревал, что у Оника, бегающего, как борзая, слабые легкие. Чик вообще сомневался, что у Оника слабые легкие, просто, по мнению Чика, Богатый Портной хотел иметь более упитанного сына.

Тем более никому из тех, что учились в другой школе, в голову не приходило, что сына со слабыми легкими надо ловить где попало и подсовывать ему булочку с молоком. Между тем Оник, раздраженный присутствием отца, еще чаще стал свистеть невпопад.

— Оник, хенца не было! — вдруг громким голосом вмешался Богатый Портной в спор Оника с игроками. — Клянусь твоей жизнью! Покушай булочку с молоком и тогда точнее будешь судить!

И тут стали смеяться и игроки, и зрители. Гектор, капитан Третьей Подгорной, выбрав на поле место потравянистей, повалился, как бы

обессилев от смехотворности происходящего, и стал дрыгать ногами в воздухе, гордясь своими пятнистыми гамашами.

— Папа! — крикнул Оник и, покраснев от ярости, топнул ногой. — Сколько раз я тебе говорил: не приходи, когда я играю с ребятами!

С этими словами он, швырнув свисток на поле, побежал в глубь парка и через минуту скрылся за деревьями.

— Оник, — растерянно выдохнул Богатый Портной, глядя ему вслед и уже совершенно бесплодно протягивая туда булку и кружку с молоком. Такой силы сопротивления он не ожидал. Такого не бывало. И тут Чик почти бессознательно, пользуясь его растерянностью и желая, чтобы всем снова стало смешно, подошел к нему и смиренно сказал:

— Дядя Сурен, я поем булочку с молоком.

Раздался новый взрыв хохота. Богатый Портной окончательно растерялся и крепко задумался. Он до того крепко задумался, что лоб у него вспотел, и он рукой, сжимающей булку, подобрал один конец ленточного сантиметра, висевшего у него на шее, и вытер лоб. Чик ясно видел, как он соображает, или ему казалось, что он это ясно видит.

…С кружкой молока и булкой в руках плутать

по парку в поисках удравшего Оника глупо и бесполезно… Первая мысль Богатого Портного.

…Уносить домой кружку с молоком и булку еще глупей, потому что это бросит тень на его прозвище, которым он тайно гордится… Вторая мысль Богатого Портного.

…Съесть эту булку самому, запивая ее молоком, на глазах у хохочущих пацанов было бы совсем глупо… Третья мысль Богатого Портного.

И так как четвертая мысль, видимо, не последовала, он с ненавистью протянул кружку и булку Чику.

Чик взял этот тяжелый дар. Некоторые стали снова смеяться, а некоторые даже аплодировали Чику. Чик надкусил хрусткую булку и хлебнул жирное, вкусное молоко.

— Чик, оставь сорок! — крикнул кто-то в шутку, и все опять рассмеялись.

Чик прекрасно себя чувствовал. Оник сейчас был забыт. Все смеются, но это сейчас не обидный смех, смеются молодечеству Чика. Через две минуты он умял булку и, выпив все молоко, вернул кружку Богатому Портному. Сумрачно приняв кружку, тот сильно плеснул ею, по-видимому, пытаясь выплеснуть оттуда дух Чика, потому что больше оттуда выплеснуть было нечего. После

этого он повернулся и, время от времени нервно взмахивая кружкой, может, все еще вытряхивая дух Чика, вышел из парка.

— Кто же будет судить? — спросил Гектор.

— Я буду судить! — крикнул Чик, как бы чувствуя, что раз он съел предназначенное судье, он и должен судить. Он подбежал к свистку Оника, подобрал его и вытер о штаны.

— А кто будет за тебя играть? — спросил Бочо своим сиплым голосом, как бы умоляя Чика дать еще потолкать себя. Видно, не натолкался.

— Я буду играющий судья! — крикнул Чик уверенно. Столь лихо съеденная булка и выпитое молоко придавали ему уверенность в себе. Бедный Чик, он не знал, что нельзя быть судьей и игроком одновременно. Впрочем, об этом не знали и до сих пор не знают многие взрослые люди, от чего вся мировая история скособочивалась то в одну, то в другую сторону. В зависимости от того, кто кому подсуживал.

— Восемь — восемь! Игра продолжается! — громко закричал Чик и протяжно свистнул в свисток.

Чик судил и играл. И сначала все было хорошо. Только, разыгрывая комбинацию, ему приходилось жестами показывать, кому куда бежать и

кому он собирается подавать мяч, потому что изо рта у него торчал свисток. Поначалу было странно свистеть самому себе и самому пробивать штрафной или выбрасывать мяч из аута.

Несколько раз он ненарочно, а от избытка чувств свистком останавливал игру. Один раз так остановил игру, когда Гектор прорывался к воротам. Чик хотел крикнуть беку, чтобы он выбегал навстречу атакующему капитану, а вместо этого свистнул в свисток. Игра остановилась.

Гектор был в ярости. С криком: «Что я сделал не так?!» — он ринулся на Чика, с тем чтобы подраться с ним. Но Бочо вцепился в своего капитана, чтобы избежать драки. Когда игра останавливалась, Бочо иногда вспоминал, что они с Чиком друзья. Гектор был в такой ярости, что проволок Бочо несколько шагов, истошно крича: «Что я сделал не так?!»

— За попытку драться с судьей — последнее предупреждение! — холодно сказал ему Чик, но в душе чувствовал смущение. Он неправильно остановил игру.

Команда Третьей Подгорной подняла галдеж, и Чик с трудом оправдался, что свистнул невольно, потому что хотел предупредить бека. После этого все игроки были расставлены так, как они стояли

до свистка.

Игра снова началась, но теперь и защита была внимательней, и разъяренный капитан действовал не слишком точно. Атака была отбита, а Гектор, подтягивая гамаши, злобно исподлобья взглянул на Чика, показывая, что это ему даром не пройдет.

Через некоторое время Чик не дал себя оттолкнуть Бочо, обвел его, прорвался к воротам и долбанул мяч в правый угол. Это был верный гол, вратарь даже не успел шелохнуться в сторону мяча. Но, к несчастью, Чик в момент удара от избытка чувств опять свистнул в свисток. Черт бы его побрал!

— Офсайт! — очнувшись, крикнул вратарь.

— Офсайт! Офсайт! — подхватили игроки его команды.

Это было чудовищной ложью. Чик вынул свисток изо рта и крикнул:

— Какой офсайт! Я же сам прорвался! Мне никто не подавал!

— Ничего не знаю — офсайт! — крикнул вратарь. — Ты свистнул! Я решил — офсайт и потому не взял мяч!

Чик задохнулся от возмущения.

— Ты и не мог его взять, — крикнул Чик, — я

свистнул случайно!

Гектор радостно побежал за мячом, принес его и, поставив на штрафной площадке, приготовился выбивать.

— Когда я атакую и ты свистком останавливаешь игру — это ничего, — ехидно сказал он, — а когда из-за твоего свистка наш вратарь не прыгнул на мяч, ты не виноват!

Это была чудовищная несправедливость, но Чик им ничего не мог втолковать. Да, он во время прорыва их капитана ошибочно свистнул. Но там еще бабка надвое сказала, забьет он гол или нет. А тут готовый гол. Ну и что, что свистнул! Ясно же — вратарь даже не шелохнулся, он не мог взять этот мяч!

Все-таки после долгих споров решили, что этот мяч будет разыгран. Отстоять розыгрыш мяча было нелегко. Чик расставил всех игроков там, где они стояли до его удара по воротам. Но за это команда Гектора потребовала, чтобы он бил в тот же угол, куда он ударил тогда.

Чик до хрипоты доказывал, что это полная глупость, что, если вратарь будет ждать мяч именно в этот угол, он, конечно, его возьмет. Но на это противники дружно утверждали, что он сам говорил: тогда вратарь шелохнуться не

успел. Вратарь стоит на том же месте, Чик будет бить с того же расстояния, значит, вратарь и сейчас шелохнуться не успеет. Чтобы продолжить игру, Чик вынужден был пойти на эту гнилую уступку.

Чик внимательно оглядел вратаря и ворота. Он должен был бить с места, как в атаке. Чтобы окончательно затерроризировать вратаря тем, что он одинаково бьет обеими ногами, Чик то одну ногу отставлял для удара, то другую. То одну, то другую.

— Старый фраерский номер Чика, — крикнул Гектор, — делает вид, что ударит правой, а сам ударит левой!

Чик проглотил обиду и уже вынужден был ударить правой. Чик волновался, что может опять сначала ударить, а потом свистнет. Он даже слегка обалдел от всех этих дел и про себя повторял: сначала свисток, потом удар, сначала удар, тьфу, сначала свисток, свисток!

Свисток! Удар! Вратарь и на этот раз шелохнуться не успел, но, увы, теперь мяч пролетел мимо ворот. Чик слишком круто взял, но что он мог сделать, если вратарь заранее знал, в какой угол он будет бить. К тому же Гектор своим подлым замечанием заставил его изменить отра-

ботанный прием.

Чик так долго терроризировал вратаря возможностью ударить любой ногой, что теперь, когда он промазал, все это со стороны могло показаться смешноватым. Чик это признавал.

Но Гектор дико захохотал и, найдя глазами место на поле, которое было потравянистей, шлепнулся на него и задрыгал ногами, как бы потеряв все силы от смехотворности Чика. Кое-кто из игроков заулыбался, и раздался смех со стороны зрительниц. Чик быстро посмотрел на Соньку и Нику. У Ники лицо было грустное, а Сонька рванулась ему навстречу своим веснушчатым лицом и громко крикнула:

— Чик, ты все равно прав!

Гектор продолжал кататься по траве, дрыгать ногами в гамашах и делать вид, что не может остановить свой фальшивый смех.

— Я умру от этого фраерского номера Чика, — говорил он, как бы с трудом продавливая слова сквозь смех, — этот номер уже даже в Армавире не хавают…

И Чик не выдержал. Что-то лопнуло внутри. Он выплюнул свисток и громовым голосом закричал:

— Я убью тебя, гадина!

Да, у Чика был голос нешуточной силы! Гектор, до этого изнемогавший от смехотворности Чика, вдруг с необычайной бодростью вскочил и, увидев, что Чик мчится на него, побежал. Чик гнался за ним, как Ахиллес за Гектором вокруг Трои! Они дважды успели обежать поле, на котором играли, причем Гектор, надо полагать в отличие от гомеровского Гектора, успевал оглянуться и показать язык своему преследователю. Это только раскаляло Чика. Расстояние между ними сокращалось, возмездие было неминуемо, но тут вдруг на Чика бросился Бочо и, проволочившись за ним всей своей тяжестью несколько метров, закричал:

— Чик, ты же судья!

И Чик вдруг остыл. В конце концов, все видели, как этот герой бежал от него вокруг игрового поля. Кто-то подал ему свисток, Чик вытер его о штаны, сунул в рот и засвистел в знак продолжения игры.

Игра возобновилась. Чик теперь очень боялся, как бы случайно не свистнуть в ненужном месте. Это как-то сковывало, мешало играть. И теперь иногда он опаздывал дать свисток там, где это было необходимо.

Через некоторое время два капитана схлестнулись в центре поля. Чик принял на голову мяч и

так удачно, что повел его головой в сторону ворот противника. Он успел пять раз отбить мяч, подавая его себе на голову и прорываясь к воротам противника! Гектор, как смешной козлик, прыгал рядом с ним, стараясь собственной головой добраться до мяча, но это ему никак не удавалось. Конечно, со стороны это выглядело красиво, и Сонька, не утерпев, закричала:

— Браво, Чик!

И тут голова Чика промахнулась, мяч упал ему на грудь, отскочил и ударился о руку Гектора, все еще подпрыгивающего возле него, как козлик. Чик свистком остановил игру, взял в руки мяч, поставил его на место, где проштрафился Гектор, и приготовился бить.

И тут вдруг многие начали смеяться. Даже Анести из команды Чика ехидно улыбнулся, а потом рассмеялся, что было особенно обидно. Гектор, который до этого пять раз неудачно пытался в прыжке боднуть мяч, сейчас зашелся в притворном хохоте, добежал до травянистого места и опять повалился, громко хохоча и дрыгая ногами. Такого фальшивого пацана Чик никогда не встречал. Если на тебя на самом деле напал неудержимый смечах, почему ты не падаешь там, где стоял, а ищешь место потравянистей?!

Кровь опять ударила в голову Чика! Чего они смеются? Он же совершенно ясно видел, как мяч ударил в руку Гектора. Штрафной! Какого черта они смеются?!

— Хенц! Хенц! — громко закричал Чик и, вложив в рот свисток, приготовился бить, одновременно руками показывая, чтобы его игроки шли вперед. Но они не двигались, и многие из них уже смеялись вместе с противниками. Измена! Бунт на корабле! Однако вместе с игроками смеялись и болельщицы. Чик метнул взгляд в сторону Соньки и Ники.

— Чик, ты прав! — громко крикнула Сонька и героически рванулась к нему своим веснушчатым лицом. Но Ника, Ника! Красивая Ника улыбнулась ему снисходительной улыбкой старшей сестры и покачала головой. Какое снисхождение?! Какая там старшая сестра, когда они однолетки?! Фальшь! Фальшь!

Голубой парашют сарафана все еще безмятежно расстилался вокруг нее. И Чику вдруг захотелось подбежать к ней, стать ногами на ее безмятежный парашют, схватить ее под голые руки и вырвать ее из парашюта! Но Чик не мог сделать этого. Он знал, что его неправильно поймут.

Чик, сдерживая себя из последних сил, вынул

свисток изо рта и громко крикнул:

— Бью штрафной! Хенц!

Тут к смеявшимся присоединились и те, что не смеялись до этого. Гектор, катавшийся по траве, стал делать вид, что от смеха сходит с ума, и начал кусать траву.

— Чик, хенц был у тебя! — крикнул Бочо, подскочив к нему.

— У меня?! — взревел Чик. От возмущения он больше ничего не мог сказать. Он швырнул свисток на землю, показывая, что ни играть с этими варварами, ни судить их больше не намерен. Футбол для них слишком культурная игра!

— Да, Чик, у тебя был хенц! — повторил Бочо умоляющим, дружеским голосом.

И тогда Чик побежал к Гектору, который все еще катался по траве. Если даже все ослепли и никто не заметил, что мяч ударил его по руке, сам он, сам он никак не мог этого не почувствовать!

Чик схватил его за шиворот и приподнял его голову над травой.

— Мяч тебя ударил по руке или нет?! Ударил или нет?! — вопрошал Чик, держа его за шиворот и тряся его.

Тот мотал головой и делал вид, что не может ничего сказать от душащего его хохота. Нако-

нец он выплюнул себе на ладонь клок травы и показал Чику. Что это могло означать? Что он сумасшедший и не отвечает за свои слова? Нет, он издевается!

Проклятье! Чик тряс его, держа за шиворот, а тот, разинув рот, тянулся к траве, словно в самом деле сошел с ума и теперь жить не может без этой травы. Тут несколько игроков вместе с Бочо подскочили к Чику и стали оттаскивать от своего капитана. Они что-то объясняли ему. Чик сперва ничего не понимал, но потом до него стало доходить. Он бросил Гектора и начал прислушиваться к ним.

— Мяч сперва ударил тебя по руке, а потом отскочил и ударил по руке Гектора, — донеслось до него сквозь шум в голове.

— Мяч ударил меня по груди! — крикнул Чик и выпятил свою широкую грудь, показывая, что было куда попасть мячу.

— Чик, ты прав. Они врут! — героически крикнула Сонька.

— Он сразу ударил тебя по груди и по руке! — сиплым голосом настаивал Бочо и даже хлопнул его ладонью по груди и предплечью, показывая, куда попал мяч. Он ударил его довольно увесисто, чтобы до Чика лучше дошло.

— Да! Да! По груди и по руке! — подхватили другие ребята, и каждый считал своим долгом как можно крепче хлопнуть Чика по тому месту, куда ударил мяч. От этих однообразных увесистых ударов Чик как-то отрезвел и с тоской подумал: а может, так оно и было?

«Но почему, почему я не почувствовал, что он ударил меня по груди и по руке одновременно?» Чик вспомнил, с какой яростью иногда футболисты налетали на судью, который их штрафовал, они не понимали, что допустили нарушение правил. И он успокоился. Он только подумал, как, оказывается, трудно быть и судьей и игроком в одно и то же время.

Чик поднял свисток, вытер его о штаны и сунул в рот. Гектор, забыв, что он сумасшедший, жующий траву, подбежал к мячу, чтобы бить штрафной. Только теперь в обратную сторону.

Игра продолжалась. Счет был двенадцать — одиннадцать в пользу команды Чика. Чик был уязвлен. Получалось, что он, подсуживая себе, подсуживает своей команде, а это было нечестно.

Поэтому он теперь строго следил за нарушениями своей команды. Особенно строго он следил за Анести. Он помнил его ехидную улыбочку и

ехидный смех, когда противники смеялись над ним. Но Чик был бы очень удивлен, если бы ему сказали, что именно этим обстоятельством вызвано его пристальное внимание к игре Анести.

По слухам, которые сам же Анести распространял и поддерживал, он на Четвертой Подгорной лучше всех играл головой. Но Чик что-то не мог припомнить, чтобы Анести в атаке пять раз подряд головой ударил мяч. Стоя на месте, он и десять, и двадцать раз мог отбить головой мяч, если в это время его никто не атакует. А ты попробуй в атаке вести мяч головой, не отпуская его пять раз, когда рядом Гектор подпрыгивает, как козлик, и толкает. Но Анести больше всего на свете любил играть головой и всю игру просил, чтобы ему накидывали мяч на голову. Но его никто не слушал. Разве что с аута подадут или иногда с корнера. А он всю игру кричит по-гречески:

— Алихора со кифале! Дос со кифале! (Скорее на голову! Давайте на голову!)

Он всегда об этом кричал по-гречески, делая вид, что скрывает от враждебной команды свой невероятно хитрый замысел. Но все и так понимали, что он кричит, да и в команде противника было несколько греков, не считая капитана Гектора.

Игра шла полным ходом, как вдруг Анести прорвался с мячом, обвел одного защитника, обвел второго, столкнулся с третьим и упал. Анести быстро подставил ногу защитнику, который отнял у него мяч, и тот тоже упал. Анести вскочил и овладел мячом. Но тут раздался строгий свисток судьи. Чик сурово показал рукой в сторону своих ворот: вот что значит — честный судья!

Но вдруг всполошилась вся его команда.

— Судью на мыло! — закричал Анести. — Чик подкуплен!

— Чик, ты ошибся! — стали кричать пацаны из его команды. Они ему объяснили, что хотя Анести лежа и подставил ногу хавбеку, но он это сделал в отместку, потому что сам хавбек, столкнувшись с Анести, сделал ему подножку, и Анести упал. А Чик проморгал этот момент.

При этом самые горячие из них подходили к Чику, подставляли собственную ногу и пытались Чика завалить через нее, чтобы ему было яснее, как и почему упал Анести. Но Чик, пользуясь тем, что у него обе ноги были одинаково устойчивые, не давал себя завалить, тем самым показывая, что никакой подножки не было и Анести мог устоять на ногах. Однако в душе он был сильно смущен.

Ему вдруг показалось, что он видел, как хавбек

ставит подножку Анести. Почему же он не свистнул, а свистнул тогда, когда Анести уже на земле сам подставил ногу хавбеку? Чик не мог понять, что с ним случилось: он видел, но не заметил? Или заметил, но не видел? Чик сейчас никак не мог понять, что ему очень хотелось оштрафовать Анести и поэтому так получилось. Но он этого не понимал и потому обратился к хавбеку:

— Эдик, только честно, была подножка?

Хавбек блудливо опустил глаза и, пожав плечами, сказал:

— Не знаю. Я не хотел ставить подножку.

Тут Анести подбежал к Чику и, дергая его за майку, стал кричать:

— Олух царя небесного! Разве судья спрашивает у нарушителя, ставил он подножку или нет?

За такую наглость можно было и звездануть Анести, но Чик сдержался: нельзя, чтобы судья сам начинал на поле драку. К тому же он был виноват перед Анести. Сильно виноват. Теперь ясно, что хавбек ему первым поставил подножку, а Чик этого как бы не заметил.

В конце концов решили, что этот спорный мяч надо разыграть. Спорящие игроки стали друг против друга. Чик должен был подбросить мяч между ними. Когда Чик с мячом в руке подошел к

ним, Анести как ни в чем не бывало шепнул ему:

— Дос со кифале.

Чик сделал суровое лицо, показывая, что ни при каких обстоятельствах он не отклонит мяч в сторону Анести. И в то же время он чувствовал себя перед ним виновным. Сейчас он забыл, как ехидно улыбался Анести, но помнил, как он был близко от ворот противника, когда ему сделали подножку, а Чик этого не заметил. Чик точно подкинул мяч между игроками, но мяч сам почему-то стал падать ближе к Анести.

Великий игрок головой в прыжке достал мяч, но вместо того, чтобы перекинуть его через хавбека и ринуться в атаку, он попал мячом ему в грудь, и тот сам пошел в атаку.

Через несколько минут Чику удалось уйти от преследующего его Бочо и забить гол. И эта была самая прекрасная минута в игре! Это был чистый и честный гол, никто даже пикнуть не посмел.

Вратарь от досады так ударил по мячу, что мяч вышел на аут и застрял на мушмуле. Стали камнями пытаться его сбить, но он так плотно застрял, что не падал.

— Я залезу на мушмулу и стряхну его! — крикнул Чик. Пока Чик залезал на дерево, игроки вспомнили, что им хочется пить, и все побежали

к колонке.

Этот парк когда-то принадлежал какому-то богачу. Сейчас это был государственный парк. Здесь было много деревьев мушмулы. Когда она поспевала, сюда ребят не пускали, боясь, что они оборвут все плоды. В это время по парку верхом на лошади ездил свирепый сторож с камчой, и редко кто осмеливался воровать мушмулу. Очень уж свиреп был этот сторож с камчой. Но сейчас урожай уже собрали, и парк никто не сторожил.

Чик залез на дерево. Пробираясь по ветке в сторону мяча, Чик отодвинул руками рогатульку с кожистыми листьями и вдруг увидел под ними две великолепные двойчатки мушмулы. Ярко-рыжие плоды как бы томились от своей сахаристости. Чик осторожно сорвал одну двойчатку и с удовольствием высосал каждый плод, брызжущий сладким соком. Он выплюнул скользкие косточки. Второй двойчаткой он решил угостить девочек. Он отломал черенок, на котором они росли, и взял его в зубы, чтобы руки были свободны. Он двинулся дальше по ветке, пробираясь к мячу. Два сладких плода, странно и аппетитно щекоча его губы, торчали изо рта. Мгновеньями Чику хотелось, клацнув зубами, вобрать в рот эту сладкую и сочную двойчатку,

выплюнув череночек вместе с косточками. Но Чик терпел, все время чувствуя щекочущее губы прикосновение плодов, он хотел обязательно угостить девочек. Одновременно он шарил глазами по веткам в поисках забытых сборщиками плодов. Он думал, что если ему попадутся еще две мушмулы, он эти съест, а те сорвет девочкам. Но больше ни одной мушмулы не заметил.

Чик близко подполз к мячу и, сев верхом на ветку, стал ее трясти. Мяч все не падал. Рискуя вместе со сломанной веткой слететь вниз, Чик сильней и сильней ее тряс. Наконец мяч тяжело скатился с ветки и упал вниз. Чик быстро дополз до ствола. Он спешил. Он хотел успеть угостить мушмулой девочек, пока ребята не вернулись с водопоя. Он не хотел, чтобы над ним смеялись за то, что он угощает девочек. Продолжая сжимать зубами черенок с плодами, щекочущими губы, Чик соскользнул с дерева.

— Это вам, — сказал Чик и, стараясь быть небрежным, подал двойчатку Нике.

— О, Чик, — сказала Ника, принимая двойчатку. Она слегка покраснела и взглянула на Чика с благодарностью.

— Спасибо, Чик! — вспыхнула Сонька всеми своими веснушками и взяла у Ники свою мушму-

лу. Каждая из них положила сладкий плод в рот и, разжевывая его и чувствуя, какой он вкусный, каждая из них стала оглядывать ближайшую мушмулу в поисках забытых сборщиками плодов. Если бы они нашли глазами мушмулу, Чику пришлось бы снова лезть на дерево.

Чик находил такое поведение девочек не слишком приличным. Девочки вообще должны есть более сдержанно, чем мальчики. И тем более, когда их угощают мушмулой, не зыркать глазами по дереву: «Мало! Дай еще! Чик, ты только раззудил нам аппетит!»

Но, слава богу, они ничего не выискали на дереве. А то пришлось бы снова карабкаться по стволу, чтобы не портить первое угощение. Нет, девочки ничего не отыскали на дереве и, облизываясь, опустили глаза. Чику просто повезло. Те двойчатки удачно прятались за листьями маленькой веточки, и сборщики забыли отвернуть эти ушастые листья.

Пришли ребята с водопоя, и игра была продолжена. Напившись воды, Бочо окончательно осатанел. Он ни на шаг не отходил от Чика. Видно, Гектор после того, как Чик забил последний гол, дал ему нагоняй и велел еще плотнее наседать на Чика. И он наседал и наседал и часто оттеснял

Чика от мяча.

И Чик ничего не мог поделать. Потное тело Бочо во время бега приобретало неостановимую толкающую мощь. Но Чик удерживался на ногах и, уже устав от многих споров, не свистел, не назначал штрафной.

Но обида в нем копилась и копилась. Он мрачнел и мрачнел, и ему было горько, что ни один игрок его команды хотя бы не возмутится вслух, что с Чиком играют грубо, не дают ему прорваться к воротам. Может, дело в том, что он сам был судьей и сам должен наказывать за грубую игру? Должен-то должен, но себя защищать трудно, особенно когда ты сам судья.

И Чик пошел в последнюю атаку, пытаясь изо всех сил оторваться от Бочо. Но Бочо дышал у самого уха, наседал и наседал своим тяжелым потным телом, а Чик цепко удерживал мяч, и уже был в штрафной площадке, и уже собирался ударить по воротам, безразлично, правой или левой, как вдруг Бочо его так толкнул, что Чик, отлетев на несколько метров, растянулся на пыльной траве. Обида его была столь велика, что он на мгновенье задохнулся, обо всем забыл, выплюнул свисток и закричал во все горло:

— Куда смотрит судья?!

Этого уже нельзя было исправить. Смеялись обе команды, смеялись зрители. Гектор мгновенно выбрал место потравянистей, ласточкой прыгнул на него и зашелся в хохоте, цапая зубами траву. Смеялась Ника, смеялась даже всегда преданная Сонька! И лишь один Бочо не смеялся, видимо, чувствуя, что на этот раз переборщил. Но Чик его не замечал.

Чик вскочил и побежал в глубь парка, куда час назад бежал Оник. Об Онике он сейчас не помнил. Добежав до самшитовой клумбы, где плотным зеленым кольцом росли корявые густокурчавые деревца, он решил войти в это укрытие, чтобы больше никогда не видеть людей. Он вошел в клумбу и увидел Оника. Оник лежал на траве и внимательно приглядывался к чему-то на земле.

— Что ты тут делаешь? — спросил Чик.

— Слежу за муравьями, — ответил Оник, не оборачиваясь на Чика, — сто раз интересней футбола.

Чик подошел к нему и заметил перед ним шевелившийся муравейник. Он лег рядом с Оником и стал следить за муравьями. И вдруг все, что было на футболе, отодвинулось куда-то далеко, как будто ничего и не было. Казалось, они следят за другой жизнью на другой планете. Из муравей-

ника в муравейник деловито шныряли муравьи. Один из них тащил дохлую осу, долго, упорно, а главное, абсолютно уверенный, что дотащит.

Чику этот муравей показался похожим на его чегемского дедушку. Вот так и тот, бывало, с огромной вязанкой ореховых веток на плече — корм для козлят, целый зеленый холм — карабкается из котловины Сабида. Казалось, муравьи — это люди какой-то другой планеты, где все живут дружно, каждый делает свое дело и никто ни над кем не смеется.

— Пахан ушел? — как-то безразлично спросил Оник, не отрываясь от муравьев.

— Ушел, — сказал Чик и положил руку на плечо Оника. Он сказал об этом как о случившемся давным-давно, в другой жизни.

Оник продолжал следить за муравьями.

— А где мой свисток? — спросил он, не отрываясь от муравейника.

— Там, — сказал Чик, тоже не отрываясь от муравейника. Подробней почему-то объяснять не хотелось.

— Там, — повторил Чик, и они надолго замолкли над муравейником.

Чик чтит обычаи

— Чик, — сказала мама Чику перед тем, как отправить его в Чегем, — ты уже не маленький. Деревня — это не город. В деревне, если приглашают к столу, нельзя сразу соглашаться. Надо сначала сказать: «Я не хочу. Я сыт. Я уже ел». А потом, когда они уже несколько раз повторят приглашение, можно садиться за стол и есть.

— А если они не повторят приглашение? — спросил Чик.

— В деревне такого не бывает, — сказала мама. — Это в городе могут не повторить приглашение. А в деревне повторяют приглашение до тех пор, пока гость не сядет за стол. Но гость должен поломаться, должен сначала отказываться, а иначе над ним потом будут насмешничать. Ты уже не маленький, тебе двенадцать лет. Ты должен чтить обычаи.

— А сколько раз надо отказываться, чтобы потом сесть за стол? — деловито спросил Чик.

— До трех раз надо отказываться, — подумав, ответила мама, — а потом уже можно садиться за стол. Ты уже не маленький, ты должен чтить обычаи.

— Хорошо, — сказал Чик, — я буду чтить обычаи. Но почему в позапрошлом году, когда я ездил в Чегем, ты мне не сказала об этом?! Я бы уже тогда чтил обычаи.

— Тогда ты был маленький, — сказала мама, — а теперь стыдно не соблюдать обычаи. Когда кто-нибудь входит в дом, все обязательно должны встать навстречу гостю. Даже больной, лежащий в постели, если он способен голову приподнять, должен приподнять ее. А гость должен сказать: «Сидите, сидите, стоит ли из-за меня вставать!» А хороший гость старику даже и не даст встать. Только старик разогнулся, чтобы, опершись на палку, встать, как хороший гость подскочит к нему и насильно усадит его: «Сидите, ради Аллаха, стоит ли из-за меня вставать!» Вот как у нас делается!

— А если хороший гость не успел подскочить, а старик уже встал, тогда что? — спросил Чик.

— Ничего страшного, — сказала мама, — и старый человек может встать.

Но хороший гость, подскочив к нему, должен извиниться за то, что потревожил старого человека.

— А соседи считаются гостями? — спросил Чик.

— Все считаются гостями, — ответила мама, —

кроме домашних. И то, если твой дедушка входит в кухню, чтя его возраст, все встают.

— А если дедушка десять раз войдет в кухню, — сказал Чик, — надо все десять раз встать?

— И десять, и двадцать раз надо встать, — с пафосом сказала мама, — если дедушка входит в кухню!

Чик вспомнил, какой проворный, сильный, подвижный дедушка. Тут только вставай и садись! Вставай и садись! Впрочем, Чик знал, что дедушка вообще редко бывает дома: он или с козами возится, или в поле работает, или в лесу.

— А если курица, собака или теленок входят в кухню, тоже надо всем встать? — спросил Чик, уже придуряясь, но мама этого не заметила.

— Ну, Чик, — сказала мама, — ты ни в чем не знаешь меры. Кто же встает навстречу курице, собаке или теленку? Если они забредут на кухню, кто-нибудь может встать и прогнать их. Только и всего.

— А сидя можно прогнать? — допытывался Чик.

— И сидя можно прогнать, если они не слишком обнаглели, — сказала мама.

— А вот если я вхожу в дом, люди должны вставать или нет? — заинтересовался Чик.

— Должны, — ответила мама, — но не в Большом Доме, конечно, потому что ты будешь там жить. Но если ты приходишь к соседям и они знают, что ты умный и послушный мальчик, они должны встать. Но если ты шалопаистый мальчик, могут и не встать.

— Но если я первый раз пришел к ним, — не унимался Чик, — откуда они знают, я послушный и умный мальчик или шалопаистый?

— Ну, Чик, — взмолилась мама, — это же всегда видно! Ну, скажем, когда ты пришел первый раз, тебя приняли за умного мальчика, и все встали. А потом пригляделись и поняли, что ты шалопай. И вот ты подходишь к их дому второй раз, и кто-нибудь, заметив тебя издали, говорит: «Смотрите, этот дуралей приперся опять. А мы еще вставали навстречу ему, думая, что это разумный мальчик». И тебе навстречу никто не встанет, и тебе будет стыдно, что ты вошел в этот дом.

— Если я окажусь шалопаем, — уточнил Чик.

— Да, если ты окажешься шалопаем, — согласилась мама. — Но это еще не все. Бывает, хозяйка перед обедом выходит на веранду с чайником и полотенцем: «Гости, пожалуйте руки мыть». В таких случаях дурак бежит впереди всех. А надо строго осмотреться и всех, кто старше тебя,

пропустить впереди себя, а потом уже самому вымыть руки.

— А если мы с кем-нибудь однолетки, тогда как быть? — спросил Чик.

— Ну, такого не бывает, — задумавшись, ответила мама, — а если случится такое, тот, кто лучше воспитан, пропустит другого вперед.

Чик поехал в Чегем с маминым братом дядей Кязымом. В Большом Доме кроме взрослых жили дети дяди Кязыма и тети Нуцы: самая старшая, ровесница Чика Ризико, ее сестрица помладше Зиночка, потом мальчик Ремзик и самый младший Гулик. Кроме них и Чика было еще четверо детей, родственники из долинных деревень. Так, седьмая вода на киселе. Их прислали сюда отдыхать, спасая от всесильной тогда малярии. Среди них был ровесник Чика, мальчик из села Анхара. Он был рыжим. Не голова, а горящая головешка.

Тетя Нуца, обслуживая всю эту ораву, сбивалась с ног. Всех детей сажали за низенький столик у очага. Так как все они не вмещались за этот столик, их сажали в две смены. Еды вроде бы было достаточно, но не так чтобы очень.

Большого труда да и вообще никакого труда не составляло пообедать два раза подряд. К тому же чудный воздух Чегема способствовал прекрасно-

му аппетиту.

Долинные дети оказались довольно нахальными. То ли воздух Чегема особенно способствовал их аппетиту, то ли, кто его знает, может быть, у себя в селах они поголадывали, но некоторые из них норовили сесть за столик второй раз. Особенно в этом преуспевал Рыжик. И это было тем более удивительно, что его горящая голова была гораздо приметней остальных голов.

Тетя Нуца в обеденной суматохе никогда не могла запомнить, кто из детей уже обедал, и потому, сажая за столик вторую смену, у всех спрашивала: «Ты уже обедал?» При этом она, боясь обмана, пронзительно смотрела в глаза детей, как бы пытаясь загипнотизировать их на ответе: «Да, я уже обедал».

Дней десять Чика как самого далекого, городского гостя сажали в первую смену. А потом однажды то ли попривыкли к нему, то ли он сам зазевался, но он оказался во второй смене. Чика кольнула некоторая обида: Рыжик сел вместо него на его же место.

Чик заметил своеобразное отношение чегемцев к городу. Сначала как единственного городского мальчика его выделяли. Но за десять дней он опростился, стал бегать, как и все дети, босиком,

и они подзабыли, что он городской. Так что Чик, если б знал это слово, мог бы сказать себе: а надо ли опрощаться?

Да, к городу у чегемцев было сложное отношение. С одной стороны, чегемцы подсмеивались над городскими людьми за их дебиловатость по части знания обычаев застолья и родственных отношений. С другой стороны, они уважали городских, но не потому, что у городских людей было больше научных знаний. Это Чик счел бы нормальным. Но на самом деле чегемцы уважали городских жителей за то, что они не пашут, не сеют, не пасут скот, а живут вроде не хуже. Чегемцы считали, что сами они ишачат, а городские люди приловчились жить, не ишача, по конторам расселись. Они их уважали, потому что в них оказалось больше ловкости и хитрости. А ведь иначе не объяснишь, почему деревенские ловкачи стремятся переехать в город, а из городских никто не стремится переехать в деревню.

И вот Чик попал во вторую смену. Было обидно. И когда тетя Нуца пронзительно заглянула ему в глаза с гипнотическим желанием, чтобы он на вопрос: «Ты уже обедал?» — ответил, что уже обедал, Чик то ли от обиды, то ли чтобы угодить ей, ответил: «Я уже обедал».

Чику вообще приятно было сделать так, чтобы людям было приятно, хотя он любил и дразнить людей. Это как-то одно другому не мешало. Сейчас он прямо почувствовал, что тетя Нуца облегченно вздохнула. А он-то думал, что последует опровержение его словам и восторженное удивление его скромностью.

Но ничего не последовало.

Другие дети, еще не обедавшие, вместе с Рыжиком, уже обедавшим, со смехом побежали на кухню.

Чик чувствовал, что голод и обида резко усилились. Обида усиливала голод, а голод усиливал обиду. Как можно было тете Нуце не запомнить, что единственный рыжий мальчик во всей компании уже сидел за столом. И тут Чик вспомнил, что Рыжик — дальний родственник тети Нуцы. Ты смотри, подумал Чик, подыгрывает своим. Но почему тетя Нуца не повторила своего приглашения?! И тут Чик понял свою ошибку: там, где живешь, не надо ждать повторного приглашения, это касается только соседских и чужих домов. Он вспомнил, что никто из детей здесь не ломался и не ждал повторных приглашений. Да и что это за приглашение: «Ты уже обедал?» Очень странное приглашение. Первой смене такой во-

прос не задавали.

Дети, которые уже отобедали, высыпали во двор, чтобы заняться какими-нибудь играми. Они звали с собой Чика, но он сурово отказался. Какие тупые, подумал Чик, сами налопались и теперь будут затевать игры, и меня, голодного, к себе зовут. И ни один из них не вспомнил, что я еще не обедал.

Хотя, когда тетя Нуца у него спрашивала про обед, они не слышали, но сами-то они могли заметить, что вместо Чика за столиком сидел Рыжик и теперь опять как ни в чем не бывало побежал на кухню. И никто не сказал: а ведь Чик с нами не обедал и теперь со второй сменой не обедает! Вот эгоисты! Чик снова почувствовал, что от голода усиливается обида, а от обиды голод.

А о Рыжике и говорить нечего! Чик до этого мальчика никогда не видел рыжего абхазца. Он даже считал, что абхазцы не могут быть рыжими, рыжими могут быть только другие народы. И вот тебе на! Оказывается, абхазцы тоже могут быть рыжими. Странно, но это так. И вот Рыжик второй раз обедает, и обедает за счет Чика. Интересно было бы узнать: пообедал бы Рыжик за счет Чика, если бы он не был рыжим? Трудно установить, хотя рыжие, по наблюдениям Чика, скромностью

не отличаются. Та городская рыжая команда, которую знал Чик, никакой скромностью не отличалась. Видимо, рыжие вообще не могут быть скромными, думал Чик. Видимо, они раз и навсегда решили: скромничай, не скромничай — все равно тебя будут называть рыжим. А раз так — чего там скромничать! Все равно тебя будут называть рыжим! Но все-таки Рыжик даже для рыжего поступил чересчур нахально, пообедав сам и вздумав пообедать за Чика.

Сейчас, наверное сидит, наяривает!

Был полдень. В такое время весь Чегем обедал. Дядя Сандро жил ближе всех к Большому Дому. Чик решил идти к нему и попытаться, если повезет, у него пообедать.

Он вышел со двора Большого Дома, прошел скотный двор, потом — мимо небольшой плантации табака и открыл ворота во двор дяди Сандро. Над крышей кухни вился дымок, и Чик надеялся, что там готовят обед и он вовремя пришел.

Дверь кухни была не распахнута, а чуть приоткрыта. Чик знал, что по чегемским обычаям это считалось не очень-то красивым. В теплое время года кухня всегда должна быть распахнута, если хозяева дома, что означает: гостя принимаем в любое время.

Дядя Сандро, несмотря на славу великого тамады, главы многих застолий, у чегемцев считался не очень гостеприимным. Видимо, в промежутках между многолюдными застольями он не любил общаться с людьми, отдыхал от них, набирался сил. И сейчас кухня была полуприкрыта, и со стороны могло показаться, что хозяев нет дома. Но Чик понял, что это не так. Собака дяди Сандро сидела, сунув голову в приоткрытую дверь. Вернейший признак, что хозяева дома: или обедают, или готовятся к обеду.

Все собаки ближайших домов Чика хорошо знали. Он любил их, и они его любили. Почуяв, что Чик вошел во двор, собака с притворной яростью залаяла и бросилась в сторону Чика, хотя сразу его узнала. И это было верным признаком, что на кухне обедают. В таких случаях собаки особенно яростно лают, иногда по выдуманным причинам, чтобы показать хозяевам, что они не даром едят свой хлеб. В таких случаях хозяин обязательно должен выйти и унять собаку. Но этого не последовало, что укрепило Чика в мысли: на кухне заняты обедом.

Собака подбежала к Чику, несколько раз попрыгала возле него и очень деловито направилась в сторону кухни, как бы приглашая и Чика с собой:

не будем терять времени, как бы говорила она, может, и нам что-нибудь перепадет. Чик бодро отправился за собакой и смело распахнул кухонную дверь.

И он увидел такое зрелище. Дядя Сандро и тетя Катя, его жена, сидели за низеньким столом и обедали. При этом дядя Сандро один сидел во всю ширь стола, а тетя Катя скромно угнездилась возле узкого его торца. На столе громоздились две порции дымящейся мамалыги, рядом в блюдечках было разлито коричневое, густое ореховое сациви. Середину стола занимала миска с курятиной. В двойной солонке в одной чашечке белела соль, а в другой чашечке пурпурилась аджика. На столе были разбросаны кучки зеленого лука и свежие огурцы.

— Здравствуй, Чик, — сказала тетя Катя, обдавая его теплом своей улыбки, привстала.

Дядя Сандро тоже как бы приподнялся, но, дождавшись, когда Чик движением руки попросил их не двигаться, он как бы опустился на свое место.

— Сидите, сидите, — сказал Чик, — я тут мимо проходил и решил проведать вас.

— Вот и хорошо, — сказала тетя Катя, улыбаясь и вытирая руки о передник, — сейчас пообеда-

ешь с нами.

Первое приглашение, волнуясь, отметил про себя Чик.

— Нет, спасибо, — сказал Чик, глотая слюну при виде курятины, — я уже обедал.

— Ну и что ж, что обедал, — опять улыбнулась ему тетя Катя, — у нас сегодня курица, пообедай с нами. Я сейчас тебе полью руки вымыть.

Второе приглашение, еще больше волнуясь, отметил про себя Чик.

— Спасибо, тетя Катя, не хочу, — мягким голосом, чтобы не отпугнуть третье приглашение, ответил Чик.

Но тут вмешался дядя Сандро, и третьего приглашениям не последовало.

— Оставь его в покое, — загремел он. — Чик уже, видно, от пуза наелся в Большом Доме! Что ему твоя курица! Чик — городской мальчик. Захочет есть — сам сядет к столу без наших церемоний. Просто так посиди, Чик, а я тебе что-нибудь расскажу такое, что ты и в кино не увидишь.

И Чик сел на скамейку, напротив низенького стола, за которым сидел дядя Сандро, а теперь присела и тетя Катя.

— Что ж мы будем есть на глазах у мальчика, — сказала тетя Катя с виноватой улыбкой.

— Что ему твоя курятина! — снова загремел дядя Сандро и с хрустом перекусил сочное оперенье зеленого лука, — он небось хочет послушать что-нибудь из того, что случилось со мной. Хочешь, Чик?

— Да, конечно, — ответил Чик, скрывая уныние. Он любил слушать рассказы дяди Сандро, но сейчас его красноречию явно предпочел бы курятину.

И дядя Сандро приступил к своему рассказу, шумно причмокивая, хрустя огурцами и зеленым луком, ломая зубами куриные кости и высасывая из них костный мозг. Иногда, вероятно, находя, что костного мозга в косточке мало и она не стоит трудов, он ее отбрасывал собаке, молча стоявшей у дверей, сунув голову в кухню. Собака всегда на лету хватала эти кости, жадно перегрызала их и причмокивала при этом не хуже дяди Сандро. Крепость зубов дяди Сандро, по наблюдениям Чика, не уступала клыкам собаки.

Чик вообще чувствовал в дяде Сандро необыкновенную жизненную силу. Он поневоле любовался им. Дядя Сандро сейчас был одет в простую крестьянскую сатиновую рубашку, подпоясанную тонким кавказским ремнем, в темные брюки-галифе и мягкие черные чувяки. Под са-

тиновой рубашкой угадывались мощные плечи и тонкая талия. Лицо у него было правильным и довольно красивым, над губами нависали чуть изогнутые вниз седоватые усы, и такие же седоватые волосы прямо зачесаны вверх.

Большие голубые глаза были довольно выразительными, но, на вкус Чика, чересчур выпуклыми. Когда дядя Сандро разламывал кости во рту и высасывал из них костный мозг, глаза у него делались невероятно свирепыми, словно у хищника, который разрывает живую дичь. Если кусок курятины, который он брал из миски, ему почему-то не нравился, он небрежно бросал его назад и брал другой.

Тетя Катя, если брала из миски курятину, никогда ее не заменяла другим куском. Тетя Катя ела тихо, никаких костей на зубах не разламывала. Она ела с несколько виноватым видом, словно женщине приличней совсем не есть, но если уж изредка приходится, то она, так и быть, поклюет немного.

Чик, глядя на то, как ест дядя Сандро, чувствовал такие приступы голода, что завидовал даже собаке, хватавшей на лету кости.

— Я тебе расскажу, — начал дядя Сандро, — как я с одним абреком однажды расправился. Это

случилось за год до германской войны. Я уже был крепкий молодой мужчина, и уже многие знали, какой я тамада. Многие, но не все. Теперь все знают…

— Не слушай его, Чик! — вдруг вскричала тетя Катя. — Все это он выдумал или услышал от кого-то. Расправился с абреком! Тебя, рано или поздно, за эту выдумку арестуют!

— Кто арестует, дурочка? — насмешливо спросил дядя Сандро. — Это было при Николае, а сейчас Сталин. Ты разве не знаешь об этом?

— Знаю не хуже тебя. Эта власть за что хочешь может арестовать. И все ты выдумал!

Дядя Сандро снова насмешливо посмотрел на жену и покачал головой. Потом махнул рукой и решительно обратился к Чику:

— Слушай меня… Твоей матери тогда было лет десять. Она была младше тебя. Однажды к нам в дом приходит один знакомый мне лаз. Мы с ним за год до этого в Цебельде во время греческого пиршества сидели за одним столом. Я был главным тамадой, а он моим помощником. Хорошо провели ночь. Он был расторопный и понятливый. Я только поведу бровями, а он уже знает, что делать. Пьяных тихо, без скандала уводит из-за стола, а трезвых приближает ко мне. Одним сло-

вом, я вел стол, рассказывая смешные истории, и люди хохотали. Потом подумал тост за очередного родственника хозяина, строго отмечая степень родственной близости. А греки обидчивые, не дай Бог пропустить кого-то, такой базар подымут, что с ума сойдешь. Тем более, у них и женщины вмешиваются. У них так принято. Но я все заранее знал и прекрасно провел стол. Пели греческие песни, абхазские песни и турецкие песни.

Теперь ты спросишь: а на каком языке вы говорили? И правильно спросишь.

Отвечаю: на турецком. Греки, армяне, абхазцы тогда все понимали турецкий язык, как сейчас русский. Даже лучше. И что интересно: тогда, чем старее человек, тем он лучше понимал по-турецки. Сейчас, чем моложе человек, тем он лучше говорит по-русски. И потому большевики победили. Молодых они уговорили, обещали им райскую жизнь с гуриями, а старые не могли угнаться за большевиками, потому что из старых тогда мало кто знал русский язык, и они не понимали, что большевики обещали молодым. А пока разбирались, что к чему, тут колхоз нагрянул, и все поняли, чего хотели большевики, но было уже поздно.

— И за это тебя посадят, — как бы сообразив,

прервала его тетя Катя.

Но дядя Сандро на этот раз не обратил на нее внимания.

— Но я не об этом, — продолжал он. — И вот человек, который на греческом пиршестве был помощником главного тамады, значит, моим, приходит в наш дом и говорит: «Прошу как брата, спрячь меня у себя дома недели на две, а потом откроется перевал, и я уйду на Северный Кавказ. Меня полиция ищет».

Тогда принимать у себя дома абрека и прятать его считалось почетной и опасной обязанностью. Но дело в том, что твой дед терпеть не мог абреков. Он их всех считал бездельниками. Он и большевиков, которые тогда прятались в лесу, считал бездельниками. Слава Богу, никто из них к нам не напрашивался спрятать его, и потому мы им не отказывали. А то бы с нас сейчас голову снесли. Твой дед всех, кто держал в руках винтовку, а не мотыгу, считал бездельниками. И сейчас так считает.

И вот теперь как мне быть? Отец его в доме не потерпит, тем более, что даже не родственник. Гнать человека, с которым всю ночь сидел за одним столом, принимал вместе хлеб-соль, тоже неудобно. И я так решил: пусть сидит в кукуруз-

ном амбаре. Еду я ему туда буду приносить. Амбар стоял довольно далеко от дома, в кукурузном поле. Твой дед туда не заглядывал. А чего ему туда заглядывать? Когда загружали амбар новым урожаем кукурузы, пол-амбара еще было наполнено старой кукурузой. Так мы тогда жили. Благодать! И вот я его устроил в наш амбар. Отец, конечно, ничего не знает. Дал ему матрац, постельное белье, и он там живет. Отец дома почти не бывает, придет на обед, а там ужинать и ложится спать.

И вот мой лаз спит по ночам, постелив на кукурузных початках постель, а днем я ему приношу еду. Пару раз вместе с едой я ему приносил вино, и мы с ним вместе выпивали, сидя на кукурузных початках. И тут я за ним заметил странную дурость. Чуть зашуршит что-нибудь в амбаре, он хватает кукурузный початок и швыряет его в сторону шума.

— Что ты делаешь? — говорю.

— У вас тут, оказывается, водятся белые мыши, — отвечает он.

— Ну и что, — говорю, — у нас в самом деле водятся белые мыши.

— Я, — говорит, — никогда не видел, что мыши могут быть белыми. Это не к добру.

— Ты же знаешь, — говорю, — сколько скота

у моего отца. Как видишь, белые мыши нам не мешают.

— Нет, — говорит, — это не к добру. Ночью первый раз, когда я от шороха проснулся, думал, полицейские ползут, чуть стрелять не начал.

— Хорош абрек, — говорю, — который по мышам пальбу подымает! Да тебя люди засмеют.

— Они меня замучили, эти мыши, — говорит, — главное, белые. Я и слыхом не сдыхал, что бывают белые мыши.

Он, дурак, даже не знал, что белые мыши среди серых мышей, как рыжие между людьми. Редко, но встречаются.

И тут раздался шорох в углу амбара, и он начал хватать початки и кидать в этот угол. Ну, думаю, он от страха психом стал. Но вообще швыряться кукурузными початками, да еще чужими, по нашим обычаям грех. Кукуруза — наш хлеб. А швыряться хлебом, да еще чужим, не положено. Но я стерпел, ничего ему не сказал. Все-таки абрек, попросил убежище, и когда-то я сидел с ним всю ночь за греческим столом, и мне в голову тогда не могло прийти, что он белых мышей боится.

Да и почему человек, который боится белых мышей, прячется от полиции, я так и не узнал. До этих белых мышей я думал, что он убил како-

го-нибудь писаря и за ним полиция охотится. А теперь не знал, что и думать.

В те времена спрашивать у абрека, почему он прячется от властей или от какого-то рода, считалось некрасивым. Если сам скажет — хорошо. Но если он не считает нужным сказать, спрашивать неприлично.

— Не к добру, не к добру эти белые мыши, — говорит, — я это чувствую всей шкурой.

Однако просидел он у нас в амбаре с белыми мышами дней пятнадцать, а потом однажды поблагодарил меня и ушел в ночь. Я ему объясняю, как дойти до первого, до второго, до третьего перевала, чтобы спуститься на Северный Кавказ. Объясняю, где какие опасности.

— Уж если я пережил белых мышей, — говорит он мне в ответ, — я все переживу. Но я еще не уверен, что пережил белых мышей.

Ну, думаю, парень совсем тронулся от белых мышей. Там, на перевалах, думаю, какой-нибудь бурый медведь вправит ему мозги. Забудет о белых мышах.

Все-таки мы обнялись по-братски и расстались.

Прошло два года. Летом мы с отцом и двумя братьями гоним своих коз на альпийские луга.

Коз было больше тысячи. Мы уже сделали одну ночевку. По велению отца отвели трех коз подальше от стада и оставили там — жертва Богу гор.

И вот позавтракали и гоним стадо дальше. Тропа узкая, стадо растянулось примерно на километр. Я замыкал стадо, остальные все впереди. В одном месте недалеко от тропы я увидел несколько кустов черники, сплошь осыпанных черными ягодами. Я полез за черникой. Жарко. Черника хорошо идет. И я от сладкой черники так забылся, что с полчаса провозился в кустах.

Стадо ушло вперед. Спешу его догнать. И вдруг что я вижу? Навстречу мне, с той стороны, куда ушло стадо, идет этот лаз, который две недели сидел у нас в кукурузном амбаре. За плечом винтовка, а перед ним козел из нашего стада. Он снял с себя поясной ремень, перевязал им шею козла, пошлепывая другим концом, спускается вниз.

Я сразу узнал нашего козла. Он был очень здоровый, с белыми рогами и черными пятнами на шерсти. Задержись я еще минут на десять с черникой, этот лаз прошел бы по тропе, и я ничего не заметил бы. А он, видно, следил за тропой из кустов. Видит, идет огромное стадо, впереди люди, а сзади никого.

И вот он украл нашего козла и спускается вниз.

И вдруг видит меня. И ему стало неприятно, что мы хорошо знакомы, а он попался. С другой стороны, у него за плечом боевая винтовка, а у меня в руке только палка.

— Здравствуй, — говорю ему.

— Здравствуй, — отвечает. Но в глаза не смотрит.

— Чего волочишь моего козла? — говорю.

— Я, — говорит, — не знал, что он твой.

— Но теперь знаешь, — говорю, — отвяжи свой ремень.

Ему и стыдно, но он наглый, гордый. Видно, все еще прячется в лесах, иначе как объяснить, что взрослый, сильный мужчина украл козла. Понятно, если бы он угнал лошадь, быка. Это лихость. А тогда козла украсть — все равно что сейчас курицу украсть. И он, видно, решил: если я сейчас отдам козла, Сандро расскажет об этом людям, и люди будут смеяться: козлокрад. А если не отдам козла, видно, решил он, Сандро постесняется сказать, что на его глазах увели его козла. Ведь если он расскажет об этом людям, они могут спросить: «А чего ты не отобрал у него своего козла? Да ты, видно, Сандро, трусоват!» — Сандро трусоват! Вот на что он надеялся. И он решил не отдавать козла, тем более видит, что у меня никакого оружия нет.

Палка в руке.

Дядя Сандро так увлекся своим рассказом, что перестал есть, и косточки перестали лететь в пасть собаки. И собака, видимо, решив, что ее перестали замечать, совсем влезла в кухню. Дядя Сандро наконец заметил ее и, вынув из миски аппетитное, совсем не обглоданное крылышко курицы, бросил собаке.

Собака, поймав на лету добычу, мигом перегрызла ее и проглотила.

— Теперь пошла! — гаркнул дядя Сандро.

Собака покорно вышла из кухни и, только всунув голову в приоткрытую дверь, замерла. Я бы тоже такое крылышко мог поймать ртом, подумал Чик, хотя до этого он был так увлечен рассказом дяди Сандро, что почти забыл о голоде.

А тетя Катя, как бы стесняясь есть, продолжала поклевывать свою мамалыгу, окуная ее в ореховую подливу и осторожно подкусывая курятину.

Поклевывать-то она поклевывала, но от ее мамалыги почти ничего не осталось.

Чик и это заметил.

Дядя Сандро разгладил усы и продолжил свой рассказ.

— Я не отдам тебе козла, — говорит он, — я

абрек. Право мое за моим плечом. — И рукой хлопает по плечу, где у него винтовка.

Ну, думаю, дело плохо.

— Ты две недели принимал хлеб-соль нашего дома, — напоминаю ему, — мы, рискуя свободой, прятали тебя. Ты что, не знаешь закон гор: в доме, который тебя приютил, иголки тронуть не смей?!

— То, что я съел у вас, — говорит он нахально, — давно превратилось в дерьмо. А ты даже в дом меня не пустил. Я жил в амбаре, где всю ночь шуршали мыши. Да еще белые. Так что вы ничем не рисковали. Абрек мог заночевать в любом амбаре. Никакого вашего риска не было.

— Вот уж, — говорю, — никогда не слыхал, чтобы абрек на своих плечах тащил за собой матрац и постельное белье.

Он понял, что перехитрить меня не смог и сам кругом виноват. И он разозлился. Снял винтовку с плеча и взял в руки.

— Прочь с дороги! — кричит. — Иначе не только козла недосчитается сегодня твой отец!

Он ударил козла ремнем и пошел прямо на меня. Что делать? Когда говорит ружье, палка должна молчать! Я уступил тропу, и он вместе с моим козлом прошел мимо меня.

Я стою злой, как черт! Но есть Бог, я в Бога поверил с тех пор. Я вспомнил, что за нами, догоняя нас, идет мой товарищ с ружьем. Ну, думаю, подойдет мой товарищ, возьму у него ружье и догоню этого занюханного абрека.

Я тогда ходок по горам был изрядный, а у этого еще и козел упирается.

Он пошел назад нашей тропой. Тропа через полкилометра круто спускалась вниз к реке. Шумная горная река. Через нее был перекинут висячий мост.

Когда я увидел, что абрек с моим козлом исчез там, где тропа спускалась к реке, я пошел за ним. Думаю, быстрей встречу своего друга. И прямо там, где тропа круто опускалась вниз, я залег и смотрю вперед. Вижу, абрек с моим козлом у самой реки, уже подбирается к висячему мосту. А с той стороны реки приближается мой товарищ с ружьем, он тоже спускается с горы. Он только начал спускаться к реке, а этот абрек уже внизу. И мы с моим товарищем почти на одном уровне.

Тогда мне в голову пришло другое решение. Когда мой товарищ на высоте сравнялся со мной, а та гора, с которой он спускался, была повыше, я вскочил на ноги и, махая руками, изо всех сил крикнул ему обо всем, что со мной случилось. И

о том, кто идет ему навстречу.

В те времена голос у меня был неимоверный: криком я мог сбросить всадника с седла. Такой голос у меня был. Но я все учел. Голос мой идет поверху, а внизу, где козлокрад, шумит река, и он его не слышит. Товарищ мой увидел меня и все услышал. Рукой показывает: мол, понял тебя. И в самом деле, все правильно понял. Недалеко от тропы залег в кусты с ружьем.

Я смотрю сверху: кино! Хотя мы тогда, что такое кино, не знали. Вижу, уже козлокрад близко подошел к тому месту, где залег мой товарищ. Он уже давно закинул винтовку за плечо, ему бы с моим упрямым козлом справиться. Я волнуюсь: что будет?! И вдруг козлокрад останавливается возле кустов, где залег мой товарищ. Оттуда выходит мой товарищ с ружьем, нацеленным на него.

Близко подходит и что-то говорит.

Я, конечно, ничего не слышу, но все вижу. И тут козлокрад тряхнул плечом, и винтовка его падает на землю.

Правильно, думаю, так его! Товарищ мой рукой показывает ему: мол, отойди от винтовки. Он отходит на несколько шагов, но, между прочим, козла продолжает держать за ремень. Ну, думаю, без винтовки ты недолго удержишь козла. Я

понял, что мой товарищ ему ничего обо мне не сказал. Так оно и оказалось. Козлокрад решил, что какой-то другой абрек отнял у него винтовку.

Товарищ мой подошел и поднял его винтовку. А потом вижу, они оба уселись под тень бука. Выше, шагов на десять, сидит мой товарищ, положив рядом с собой оба ружья, а ниже сидит тот абрек, все еще придерживая за ремень моего козла. Не знает, что смерть свою на своем ремне придерживает.

Я сбежал по тропе. Я так бежал по висячему мосту, что он, раскачавшись, чуть меня в реку не сбросил… Ша! — вдруг остановил дядя Сандро сам себя, — кажется, кто-то кричит.

Тетя Катя, между прочим, во время рассказа дяди Сандро время от времени морщилась и подавала Чику тайные знаки, чтобы Чик не верил его рассказу.

Чику это было неприятно, тем более что рассказ дяди Сандро ему нравился.

Сейчас дядя Сандро замолк, прислушиваясь к чему-то. В кухне стало тихо.

— Эй, Сандро! — раздался чей-то далекий голос. Дядя Сандро вскочил и быстро вышел на кухонную веранду. Вслед за ним озабоченно вышла и тетя Катя.

— Эй, Бахут, это ты? — закричал дядя Сандро таким мощным голосом, что Чику показалось вполне правдоподобным, что он голосом может скинуть всадника с седла. Особенно если всадник в долгой дороге задремал в седле.

— Я! Я! — донесся далекий голос. — Сегодня жду почетных гостей! Хочу, чтобы ты был тамадой!

— Притворись больным, притворись больным, — вдруг быстро и тихо запричитала тетя Катя, словно Бахут мог ее услышать.

— Чего я должен притворяться больным, — назидательно заметил дядя Сандро, — что меня, пахать зовут, что ли?

— Приду! Приду! — зычно дал согласие дядя Сандро. — Но кто будет? Перечисли!

И тут Чику пришла в голову довольно невинная, но соблазнительная мысль.

Пока дядя Сандро и тетя Катя на кухонной веранде, хотя бы заглянуть в миску с курятиной и насмотреться на нее.

Он быстро встал и подошел к столику. В миске еще много было курятины: одна ножка, одно мясистое крыло и еще несколько бескостных кусков белого мяса. Все это выглядело так аппетитно, что Чик не удержался от того, чтобы хотя бы понюхать кусок курятины. Он взял из

миски кусок белого мяса и стал с наслаждением принюхиваться к нему, как любитель цветов к цветку. Запах был такой ароматный, что Чик, как бы незаметно для себя, приложил прохладную курятину к самому носу и снова с наслаждением втянул воздух.

И вдруг он со всей ясностью понял: до чего же будет нехорошо вернуть в миску кусок курятины, который он уже приложил к своему носу! А дядя Сандро или тетя Катя потом возьмут и съедят его?! Нет, этот кусок должен быть уничтожен! И Чик уже не сомневался, каким образом. Он — была не была! — макнул этот кусок курятины в ореховую подливу и сразу весь сунул в рот, и с трудом стал прожевывать.

Это было так невероятно вкусно, а от стыда, что хозяева его застанут за этим занятием, курятина казалась еще вкусней! Он даже молниеносно решил: если тетя Катя и дядя Сандро внезапно войдут в кухню, немедленно прикрыть руками оттопыренные щеки и изображать глухонемого, пока не проглотит все, что во рту. А потом сказать, что у него внезапно разболелись все зубы.

Но дядя Сандро с видимым удовольствием все еще перекликался с Бахутом, уточняя личности гостей и время предстоящего пиршества.

— Скажи, что я больная, что ты не можешь прийти, — тихим голосом, словно там ее могли услышать, безнадежно упрашивала тетя Катя своего мужа.

— Какая ты больная, — резко оборвал ее дядя Сандро, — на тебе мешки можно таскать!

— Но ты ведь перепьешь, — грустно напомнила ему тетя Катя.

— Я могу перепить людей, — строго заметил ей дядя Сандро, — потому я и знаменитый тамада. Но себя перепить даже я не могу, куриная голова.

Пока дядя Сандро переговаривался с женой и перекликался с Бахутом, Чик прожевал и проглотил тот самый кусок курятины. Он оказался до того вкусным, что Чик с еще большей силой ощутил голод. Чик подумал, что, раз уж согрешил один раз, можно согрешить и второй раз. Стыд от этого не удваивается, а, наоборот, уменьшается в два раза, он делится между двумя кусками курятины.

Значит, соображал Чик, если взять десять кусков курятины, на каждый останется маленький стыденок. Чик сильно задумался над этим.

Собака, стоявшая в дверях и продолжавшая смотреть в кухню, все видела и теперь с укором глядела на Чика: мол, раз сам взял, мог бы и мне

подкинуть.

Но Чик ей ничего не подкинул, а только выразительно посмотрел ей в глаза, стараясь внушить; а мне хорошо было смотреть, как тебе кидают вкусные косточки и ты хрумкаешь ими? То-то же!

Наконец дядя Сандро, уточнив, что пиршество начнется, как только солнце занырнет за землю, возвратился с тетей Катей на кухню. Так что Чик не успел проверить свою теорию о том, что с повторением греха стыд уменьшается во столько раз, сколько раз повторяется грех. Он слишком замешкался, обдумывая ее.

Дядя Сандро уселся на свое место и стал рукой шарить в миске, выбирая кусок курятины. Он так долго его выбирал, что у Чика даже екнуло сердце: а не тот ли кусок ищет дядя Сандро, который он съел?

Дядя Сандро, так и не выбрав курятины, подозрительно покосился на собаку, а потом взял огурец, ножом разрезал его вдоль и, густо, как повидлом, намазав одну долю аджикой, откусил, с удовольствием крякнув от остроты.

— Так на чем я остановился? — спросил он у Чика, бодро причмокивая.

Огурец всегда едят бодро, подумал Чик, а поми-

дор задумчиво.

— Вы перебежали висячий мост! — радостно воскликнул Чик, чувствуя, что вопрос о курятине отсечен навсегда.

— Да, — продолжил дядя Сандро, хрустя огурцом и постепенно вдохновляясь, — я перебежал висячий мост. Козлокрад не видел меня, потому что он, повернув голову вверх, разговаривал с моим товарищем. И только когда я уже был в десяти шагах от него, он услышал мои шаги и обернулся. Если бы ты, Чик, видел его в это мгновенье! По лицу его ясно было, что он начинает догадываться, что мы как-то сговорились с товарищем, но он никак не мог понять, каким путем мы сговорились. То, что мой крик проплыл над ним, он не догадался. Долинный человек. Одним словом, у него было такое лицо — краше человека из петли вынимают. Я подошел к моему товарищу и поднял винтовку козлокрада. Затвор лежал отдельно, как вырванный язык. Я вложил затвор на место и крикнул козлокраду:

— Так, значит, хлеб-соль моего дома давно превратился в дерьмо?! А право твое за твоим плечом?!

Он вскочил на ноги и стал пятиться к реке. Я снял ремень со своего козла и кинул ему.

— Теперь, — говорю, — если черта скрадешь в аду, этим же ремнем вяжи его!

И так я шел на него, а он пятился. Я шел на него, а он пятился к реке.

Но слова не сказал и милости не просил. Чего не было, того не было. И уже над самой рекой, у обрыва, он, знаешь, что крикнул?

— Что? — спросил Чик с нетерпением.

— Ни один человек в мире не догадается, что он сказал! — воскликнул дядя Сандро.

— Что, что он сказал?! — в нетерпении повторил Чик, думая, что последние слова абрека раскроют какую-то великую тайну.

В это время он как-то случайно взглянул на тетю Катю и увидел, как она, брезгливо сморщив лицо, качает головой, стараясь внушить Чику, чтобы он ни одному слову дяди Сандро не верил. Чик быстро отвел от нее глаза. Ему не хотелось принимать участие в предательстве рассказа дяди Сандро.

— «Белые мыши!» — крикнул он, — продолжал дядя Сандро, сам возбуждаясь, — и я выстрелом сбросил его в реку. Он так пятился, что я мог бы и не стрелять, он бы сам свалился в реку и утонул. Но я хитрить перед судьбой не хотел, я сам его сбросил выстрелом. Потом в эту же реку я сбросил

его ремень и винтовку. Винтовку было жалко, но мы боялись, что отец, увидев чужое оружие, что-нибудь заподозрит. Отец ненавидел такие дела…

— Но почему же он вспомнил белых мышей?! — воскликнул Чик. — Он еще в амбаре предчувствовал, что от них исходит какая-то опасность?

— Ерунда все это, Чик, — сказал дядя Сандро, успокаиваясь, — он погиб от своей бессовестности, а не от белых мышей. Я много об этом думал.

— А может, он не знал, что это ваше стадо? — спросил Чик, сам не понимая, чего он ищет: оправдания для абрека или оправдания для выстрела.

— И это его не спасает, — сказал дядя Сандро, улыбаясь Чику крепкими зубами. — Знаешь, что мой товарищ сказал, когда мы быстро двинулись вперед, догоняя стадо?

— Что? — спросил Чик.

— Он, думая, что и мой товарищ абрек, сказал ему: мол, тут сейчас прошел богатый крестьянин со своим огромным стадом. Там всего четверо мужчин, и только один из них с оружием. Так оно и было. Ружье было только у Кязыма. И он моему товарищу говорит: мол, перебьем их всех, стадо перегоним на Северный Кавказ и там про-

дадим. Значит, он откуда-то из-за кустов следил за стадом и теми, кто его вел. Братьев моих он прекрасно знал, а отца хоть лично и не знал, но за две недели из-за плетенки амбара он не мог не увидеть моего отца, вечно покрикивавшего на коз и на людей, и тех, и других он всегда укорял в лени. Но во всем этом, Чик, все равно был великий Божий замысел.

— Как так? — спросил Чик. Уши у него горели.

— А вот слушай меня дальше, — продолжил дядя Сандро с удовольствием.

— Наконец мы догнали свое стадо. Мой отец! Такого хозяина в Чегеме нет и не будет. Он только взглянул на нашего чернявого козла и сразу спросил: «Чего это вы ему шею ремешком стягивали?» Мы не замечали след от ремня, а он одним глазком взглянул и заметил. «Да заупрямился, — говорю, — не хотел идти. Мы его еле затащили сюда. Оттого так и опоздали». Отец подумал, подумал и сказал: «Это моя ошибка, мой грех. Когда мы Богу гор оставляли трех коз, я хотел и этого оставить. Но потом пожалел. Старый он, я привык к нему. Вот он и не хотел идти, чувствуя, кто его хозяин теперь. Надо его сегодня же зарезать и съесть в честь Бога гор». Ты видишь теперь, Чик, какой узорчатый замысел выполнил Бог?

— Какой? — спросил Чик, удивляясь, что у Бога бывают узорчатые замыслы.

— Бог наказал отца за то, что он пожалел чернявого козла и не оставил его в лесу, — дядя Сандро загнул на руке мизинец: первое наказание. — Но в конце концов, отец сам догадался принести этого козла ему в жертву. Бог наказал меня страхом смерти за то, что я, губошлеп, вместо того, чтобы все время следовать за стадом, соблазнился черникой, — дядя Сандро загнул на руке безымянный палец: второе наказание. — Но самое главное, Бог наказал этого абрека за то, что он плюнул на наш хлеб-соль, и за то преступление, из-за которого он прятался у нас. Видно, это было очень подлое преступление, но мы о нем теперь никогда не узнаем, — дядя Сандро безжалостно загнул средний палец: третье наказание.

Чик невольно обратил внимание на то, что сила наказания Бога как бы соответствовала величине загнутого пальца. Средний палец был самый длинный, и самое тяжелое наказание пало на абрека.

— Бог восстановил порядок, — продолжал дядя Сандро, — в этот же вечер мы зарезали чернявого козла. Перед этим отец помолился Богу гор и попросил его простить свою ошибку. Потом мы

долго варили в котле этого козла и наконец съели свое жертвоприношение.

— Вкусным оказался? — полюбопытствовал Чик, представляя, как в альпийском шалаше едят горячее, дымящееся мясо.

— Да нет, не особенно, Чик, — признался дядя Сандро, — хотя мы были очень голодными.

— Это Бог гор сделал его мясо не очень вкусным? — спросил Чик не без доли школьной атеистической насмешки. Но дядя Сандро этого не заметил.

— Бог гор такими мелочами не занимается, — важно напомнил дядя Сандро, — просто козел этот был очень старый.

— А вы потом, когда ты убил этого абрека, видели его труп в воде? — спросил Чик.

— Нет, — ответил дядя Сандро, — там было такое течение, что его тут же унесло.

Чик представил, как буйный горный поток несет труп, иногда больно стукая его о камни головой, и ему стало жалко труп, который уродуется бешеным, равнодушным течением.

— А винтовка, — спросил Чик, — она пошла на дно или ее тоже течением унесло?

— Конечно, пошла на дно, — сказал дядя Сандро и добавил: — Винтовка для любого течения

слишком тяжелая.

— Она и сейчас там лежит? — спросил Чик, задумавшись.

— А куда ей деваться, — ответил дядя Сандро, — я ее с середины моста сбросил.

— Теперь ее можно достать, — сказал Чик.

— Да что ты, Чик, — ответил дядя Сандро, улыбаясь его наивности, — если она там и лежит, ее всю ржавчина проела.

Чику все-таки было жалко этого злосчастного абрека. Особенно почему-то было жалко, что его труп, излупцованный камнями, тащило холодное, равнодушное течение.

— А если бы ты не уступил ему дорогу и требовал бы у него вернуть козла, — спросил Чик, — ты уверен, что он убил бы тебя?

— Так же уверен, как то, что ты сейчас сидишь передо мной, — сказал дядя Сандро, — ты бы видел его лицо тогда. Да что о нем говорить, если человек в ярости швыряется кукурузными початками в белых мышей. Как будто его отец вырастил эти початки. Тогда уже было видно, что это конченый человек, но я сдержался тогда. Все-таки гость…

Чику стало меньше жалко этого абрека, но все-таки было жалко. Он так ясно представил,

как тот молча пятится к реке и даже не пытается попросить у дяди Сандро прощения.

— Все-таки он храбрым был, — вздохнул Чик, — он даже перед смертью не попытался попросить у тебя прощения.

— Храбрый швыряться кукурузными початками в белых мышей, — усмехнулся дядя Сандро. — Он прекрасно знал, что я ему не прощу, иначе стал бы на колени и умолял меня. Он нарушил главный закон гор: в доме, который тебя приютил, иголки тронуть не смей!

— Ну, а когда ты стрелял в него, — продолжал допытываться Чик, — тебе хоть чуточку-пречуточку было жалко его?

— Да что ты, Чик! — воскликнул дядя Сандро. — Если бы ты знал, что такое сладкое чувство мести! Он унизил не только меня, но и весь наш дом и весь наш род. Он получил по заслугам!

— Чик, покушай яблоко и перестань слушать его выдумки, — вдруг сказала тетя Катя, вытирая о подол большое краснобокое яблоко и подавая ему.

Чик уже так наголодался из-за желания быть верным обычаям, что теперь ему было особенно жалко нарушать их. Тогда получалось бы, что он напрасно голодал. И он решил, что сначала опять

нужно трижды отказаться.

— Спасибо, тетя Катя, — сказал Чик, — я уже кушал.

— А ну, возьми сейчас же яблоко! — вдруг, полыхнув глазами, загремел дядя Сандро. — Клянусь Аллахом, кто-то нашептал ему не принимать еду в нашем доме! Что ему ни скажешь — я уже кушал. Уж не мать ли твоя запретила тебе есть в моем доме?!

Глаза дяди Сандро теперь целенаправленно полыхнули на маму Чика, и он испугался: а вдруг дядя Сандро испытает к ней сладостное чувство мести?

— Нет, — замотал Чик головой, — мама мне ничего такого не говорила.

Он поспешно взял яблоко из рук тети Кати и крепко надкусил его в знак того, что он с удовольствием ест в доме дяди Сандро.

— Нуца?! — гневно кивнул дядя Сандро в сторону Большого Дома.

— И тетя Нуца не говорила, — ответил Чик, проглатывая прожеванный кусок яблока.

— Попробовала бы, — пригрозил дядя Сандро, — набрала в дом детей своих голодранцев, а наш небось недоедает.

Ты смотри, подумал Чик, и он подозревает, что

она подыгрывает своим.

Иначе как бы она не заметила, что Рыжик два раза подряд сел за стол. Чик решил, что беседа принимает опасный оборот. Ему неприятны были такие разговоры, и он старался быть от них подальше.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал Чик, вставая.

— Заходи к нам почаще, Чик, — улыбаясь, сказала тетя Катя, — мы теперь одни без Тали. Нам скучно.

— Нуца там на целую ораву готовит, — успокаиваясь, заметил дядя Сандро, — что тебе ее варево! Приходи прямо к нам обедать. А если нас нет, сам посуетись на кухне и поешь.

— Хорошо, — сказал Чик, жалея, что он тогда не ухватил еще один кусок курятины, но теперь уже было поздно об этом думать.

Он вышел из кухни, прошел двор и закрыл за собой калитку. Чик вспомнил Тали, дочь дяди Сандро. Она была на несколько лет старше его. Она была такая веселая, такая подвижная, такая красивая! И она примечала Чика.

Она могла в табачном сарае бросить низальную иглу, полную табачных листьев и похожую на гармошку, шлепнуться спиной на пол сарая, устланный папоротниками, и, схватив гитару,

лежа, сыграть что-нибудь огневое или такое грустное, что в глазах начинало щипать. Такие, как Тали, долго в девушках не ходят, подумал Чик и со вздохом выбросил объедок яблока: Тали вышла замуж.

Чик снова почувствовал неприятный приступ голода. И как это некоторые терпят голод и по многу дней ничего не едят, подумал Чик. Неужели у них сильная воля, а у меня слабая, горестно подумал Чик.

Он решил сходить к тете Маше и попытаться там пообедать. Тетя Маша со своими бесчисленными великанскими дочерями была доброй неряшливой женщиной.

И Чик сейчас рассчитывал на эту неряшливость. Может, по неряшливости у нее запаздывает обед. Но если уж и там пообедали, он будет закалять свою волю и потерпит до вечера. Чик покосился на солнце. Оно высоко стояло в небе. Это сколько же еще придется терпеть!

Он прошел табачную плантацию, скотный двор Большого Дома, стараясь быть не замеченным детьми, игравшими во дворе, и стараясь сам их не замечать, хотя промельк рыжей головы и заметил, переступил через перелаз и по тропинке дошел до ворот двора тети Маши.

Над крышей кухни подымались ленивые клочья дыма, а из кухни доносились не только голоса и смех ее дочерей, но доносился и вкуснейший запах жареного копченого мяса.

Справа от кухни посреди двора под странным, неведомым зонтичным деревом стояла богатырская люлька, которую, лежа в ней, сама раскачивала очередная богатырская дочка тети Маши.

Большая рыжая собака, стоявшая у распахнутых дверей кухни, бросилась в сторону Чика с громким лаем. Значит, там обедают или готовятся к обеду, подумал Чик. Надежда озарила душу Чика, и он стал гладить подбежавшую к нему и узнавшую его собаку.

Девочки и девушки тети Маши (их трудно было различать, потому что они рано начинали богатыреть), путаясь ногами и руками в дверях кухни и не давая друг другу выйти, радостно кричали:

— Чик пришел! Чик пришел!

Чику было приятно, что они так весело встречают его. Но еще больше его веселил запах жареного копченого мяса. До чего же пахучий! Завяжите глаза Чику повязкой, закружите его по двору, а потом отпустите, не снимая повязки!

Он сам по запаху жареного копченого мяса

пройдет на кухню, нигде не сбившись с дороги и даже не задев дверного проема!

Чик вошел в кухню. Цветущие, смеющиеся девушки окружили его. Даже его сверстница Ляля была почти на голову выше его. Когда столько рослых девушек, да еще из одной семьи, да еще и улыбающиеся тебе, нисколько не обидно за свой скромный рост. Ты просто попал в семью великанш. Хотя сама тетя Маша была крепкой, широкобедрой женщиной, она была вполне обычного роста. И муж ее был вполне обычного роста. А девушки — все как на подбор богатырши.

Чик даже придумал теорию, отчего это происходит. Дело в том, что муж тети Маши пастух Махаз работал на ферме, а ферма находилась далеко от дома на окраине Чегема. Он домой приходил редко, жил при ферме. И Чик решил, что редкость встреч мужа с женой порождает обильную плоть детей. Но он ни с кем не делился этой теорией, ему было стыдно. Пусть взрослые думают, что он об этом ничего не знает.

У тети Маши был по старинке открытый очаг среди кухни на земляном полу.

Это был большой, довольно плоский, слегка отточенный камень. Сухие толстые и тонкие

ветки головной своей частью накладывались на камень, и, по мере горения костра, ветки подтягивались. Дым, в зависимости от направления ветра, иногда распространялся по кухне, но чаще подымался прямо под крышу, где был дымоход, уходящий вбок и сверху от дождя прикрытый козырьком крыши.

С угольно-закопченной балки, проходящей прямо над костром, свисало несколько очажных цепей с крючками, чтобы подвешивать котлы с молоком, мамалыгой или еще с чем-нибудь.

Сейчас одна из дочерей тети Маши, а именно Маяна, кончала готовить мамалыгу и перекручивала в чугунном котле мамалыжной лопаточкой тугой и упругий замес. Обычно хозяйки с трудом прокручивают уже готовую, густую мамалыгу. Маяна делала это играючи.

Сама тетя Маша сидела на скамеечке, слегка развалясь и щурясь от дыма.

Она сидела за очажным камнем и время от времени небрежно отгребала кончиком вертела жар из огня. И снова на вертеле дожаривала мясо. Чику захотелось закрыть глаза и, забыв обо всем, вдыхать и вдыхать запах горячего, задымленного мяса. Из шипящего мяса время от времени капали капли растаявшего жира и, пыхнув на красных

угольках, сгорали голубоватым пламенем. Чику показалось, что нельзя так задарма тратить этот вкусный жир.

Надо бы подставить сковородку под шипящее масло, а потом во время обеда этим вкусным жиром поливать мамалыгу. Но он не решился поделиться своим полезным советом, потому что получалось бы, что он намекает на соучастие в обеде.

Когда Чик вошел, тетя Маша поднялась со своего места, продолжая держать в руке вертел с шипящим мясом. Остальные девушки и так стояли.

— Сидите, сидите, тетя Маша, — сказал Чик, подскакивая к ней и рукой приглашая ее на место.

Девушки расхохотались, они думали, что Чик как городской мальчик не должен был знать таких тонкостей в отношениях между гостем и хозяевами.

— С радостной встречей, Чик, — сказала тетя Маша, усаживаясь на свою низкую скамеечку, — вот и пообедаем вместе.

Первое предложение, волнуясь, отметил Чик.

— Спасибо, я уже обедал, — сказал Чик, с тревогой дожидаясь второго приглашения и даже

подумывая, не остановиться ли на нем.

— Цыц! — гаркнула тетя Маша. — Пообедаешь еще с нами, не лопнешь!

— С нами! С нами! С нами! — радостно загромыхали все девушки.

Все это можно было приравнять к десяти приглашениям.

Больше нельзя было пытать судьбу.

— Хорошо, — отчетливо сказал Чик, стараясь, однако, не выдавать свою радость.

Чик сел на скамейку.

Через несколько минут тетя Маша перестала крутить вертел.

— Мясо готово, — сказала она и приподняла шипящий у вертел, слегка наклоненный вперед, чтобы горячий жир не капал на нее. — Девки, дайте Чику помыть руки.

Девушки ринулись к ведру с водой, но первой успела схватить выпотрошенную кубышку, играющую роль кружки, Ляля. Другая, особенно могучая девушка Хикур успела схватить полотенце, и все девушки со смехом высыпали на кухонную веранду. Чик огляделся и вспомнил, что руки моют по старшинству.

Все девушки, кроме Ляли, были старше Чика.

— Сначала ты, — сказал Чик, значительно

взглянув на Маяну, как бы проявляя привычную патриархальную деликатность.

Тут все девушки снова дружно расхохотались, а сама Маяна от хохота даже не удержалась на ногах и свалилась на дрова, сложенные на кухонной веранде.

Дрова явно были не готовы принять такую тяжесть и сами рухнули. Грохот раздался такой, как будто упало дерево. Девушки захохотали еще громче, а Маяна как растянулась на дровах, так от хохота долго еще не могла встать, сотрясаясь всем телом и сотрясая увесистые ветки, упавшие ей на грудь. От общего грохота, пытаясь восстановить порядок, залаяла собака.

— Девки, что там случилось?! — крикнула из кухни тетя Маша.

— Чик, — только и могла выдавить одна из них, и снова все неудержимо захохотали.

Чик смутился, хотя смех был добродушный. Может, он что-нибудь не так сделал?

— Разве не она старше всех? — кивнул Чик на Маяну, хохочущую и пытающуюся встать, разгребая ветки.

Девушки, давясь от смеха, закивали ему: дескать, ты прав, Чик, но все равно это очень смешно. Но что же тут смешного?

— Конечно, она старше всех, — наконец внятно вымолвила одна из девушек, — но ты же гость, Чик! А мы тут все свои!

Ах, вот в чем дело: это гости друг другу уступают по старшинству. С хрустом, проламывая ветки под собой, наконец поднялась Маяна.

Чик вымыл руки, делая вид, что сильно озабочен их чистотой. Это, по мнению Чика, несколько оправдывало весь этот шум. Потом он вытер руки о полотенце, висевшее на плече Хикур. Полотенце было коротковатым, и край его едва прикрывал могучую грудь девушки. Чик осторожно вытер руки.

Наконец все вымыли руки и вошли в кухню. Маяна легко, как пушинку, сняла со стены державшийся верхними ножками за край чердачного перекрытия длинный, низенький стол и поставила его вдоль очага. После этого она, мамалыжной лопаточкой поддевая мамалыгу, наляпала дымящиеся порции прямо на чисто выскобленную доску стола. Причем одну порцию она сделала особенно большой. Девушки дружно догадались:

— Это для Чика! Это для Чика! Он единственный мужчина среди нас!

Видно было, что они сильно скучают по муж-

чинам. И при этом все хохотали, как бы от самого обилия своей телесности. Тетя Маша ножом стянула с вертела прямо на стол куски жареного копченого мяса. И уже со стола, раздумчиво, чтобы никого не обидеть, прямо рукой втыкала в каждую порцию мамалыги кусок мяса. Особенно дразнящий своей поджаристостью кусок она воткнула в порцию Чика.

В это время Ляля разливала из бутылки по блюдечкам острую алычовую подливу. Другая девушка раскидывала по столу пучки зеленого лука, как пучки стрел.

С шумом и смехом все девушки расположились на низеньких скамейках вокруг стола и принялись есть. У многих колени, как круглые плоды, торчали на уровне стола. Девушки то и дело, впрочем, без особого успеха, натягивали на колени юбки.

Чику показалось, что он никогда так вкусно не обедал.

Ветер переменился, и дым ел глаза, но еда от этого казалась еще вкусней. Пахучее копченое мясо он окунал в острую алычовую подливу (акоху) и отправлял в рот. Отгрызал смоченный в подливе кусок, потом отщипывал горячую мамалыгу и тоже отправлял в рот. А потом еще

вминал в рот хрустящие перья зеленого лука. От дыма у всех слезились глаза, но никто на это не обращал внимания.

Когда все съели мясо, очистили блюдечки от подливы и выгребли всю зелень со стола, тетя Маша сказала:

— Теперь дай нам мацони, Маяна! А ты, Ляля, взгляни, не опрокинул ли ребенок люльку!

Ляля выскочила из-за стола и вышла на кухонную веранду.

— Все качается! — крикнула она оттуда и вернулась к столу.

Одна из девушек собрала со стола пустые блюдечки и косточки, оставшиеся от мяса. Она переложила все это на кухонный стол. Чик заметил, что все девушки почти доели свои порции мамалыги. Но из какого-то такта, возможно, вызванного присутствием Чика, каждая так ела мамалыгу, что от достаточно высокой порции оставалось тонкое подножье, похожее на блин. Каждая сохранила диаметр порции, а сколько было выше — не считается.

— У нас буйволиное мацони, — сказала тетя Маша, — пробовал его?

— Нет, — сказал Чик, чтобы угодить хозяйке.

Но дело было сложней. Чик пробовал буйволи-

ное мацони, но в тех домах, где он его пробовал, хозяйки подливали воды в буйволиное молоко, тем самым увеличивая его количество, но доводя его жирность до обыкновенного коровьего молока. Эти же хозяйки, как о чудачестве, говорили, что тетя Маша не подливает в буйволиное молоко воды. Поэтому Чик был прав, говоря, что не пробовал настоящее буйволиное мацони, или, проще говоря, кислое молоко.

Маяна подала Чику железную миску с мацони. Костяная ложка над ней торчала довольно странно, не подчиняясь законам физики. Она торчала криво, но при этом не притрагивалась к краю миски, как криво вонзенный в сыр нож.

Чик попробовал ложку густейшего мацони. Это, подумал он, вкуснее, чем сливки. Хотя Чик сливки никогда не ел, он полагал, что у них вкус пенок. Чик положил в мацони остатки мамалыги, размешал ее там ложкой и стал есть вкуснейшую кашу. Все ели буйволиное мацони. А может, они от настоящего буйволиного мацони все такие здоровые, подумал Чик о дочках тети Маши. В это время он подзабыл о своей теории их обильной телесности.

— Ну, теперь персики, а там девочки — на прополку кукурузы! — сказала тетя Маша. — Ты,

Маяна, натруси персиков! А ты, Ляля, взгляни, не опрокинула ли девочка люльку!

Ляля выскочила на кухонную веранду и крикнула оттуда:

— Перестала раскачиваться! Притихла!

— Уснула, — сказала тетя Маша.

Маяна, прихватив таз, пошла на огород. Дом тети Маши славился тем, что здесь все лето ели персики. Почти весь огород был огорожен персиковыми деревцами. Но доспеть им не давали. Ели полуспелые, сострогивая ножиком кожуру. Маяна уже трясла персики. Слышно было, как они с глухим шумом падают на землю. Дерево жалобно поскрипывало под ее руками.

— Дерево не сломай! — рявкнула из кухни тетя Маша. Вскоре Маяна вошла в кухню, неся полный таз зарумянившихся персиков. Девушки, вооружившись ножами, как разбойницы, налетели на таз. Чику тоже достался нож домашней выделки с костяной ручкой. Персики были вкусные, хоть и недозрелые. Девушки уплетали их, хохоча, словно это было не только вкусное, но и смешное занятие. Каждая старалась одной ленточкой сострогать кожуру. Если это ей не удавалось, все остальные смеялись. До чего веселый дом, думал Чик, уплетая персики.

— Все, девки! — наконец крикнула тетя Маша. — Пора на прополку кукурузы. А ты, Ляля, убери со стола, накорми собаку и займись девочкой. А то она или люльку сломает, или люлька ее раздавит!

Девушки вместе с матерью вышли из кухни, похватали мотыги, прислоненные к огородной изгороди, и, посмеиваясь друг над другом, перекинув мотыги через плечо, покинули двор, хлопнув воротами.

Ляля тщательно соскребла со стола всю оставшуюся мамалыгу и вместе с костями от копченого мяса швырнула собаке, терпеливо ждавшей своего часа у дверей. Собака, как бы давясь от жадности, сначала съела всю мамалыгу, а потом стала перемалывать кости. Костей было много, но она их с удивительной быстротой перемолола своими неимоверными челюстями.

Ляля мокрой тряпкой протерла длинный стол, за которым они сидели.

Потом, легко приподняв, подвесила его передними ножками за чердачный выступ.

Потом она вымыла все миски, из которых ели мацони, все блюдечки, протерла полотенцем и, сложив их горкой, поставила на кухонный стол.

— Пойдем, посмотришь нашу малышку, — ска-

зала Ляля, и они вышли во двор.

К удивлению Чика, переходящему в ужас, он увидел, что огромная собака сейчас стоит возле люльки, а ребенок, высунув свою увесистую ручонку, крепко держит ее за ухо.

Собака, как бы прислушиваясь к действию кулачка ребенка, неподвижно стояла возле люльки. Судя по напряженной руке ребенка, он довольно основательно тянул собаку за ухо.

— Она же укусит девочку! — крикнул Чик.

— Да что ты, Чик! — рассмеялась Ляля. — Она любит нашу малышку больше нас. Если теленок, или буйволенок, или даже курица слишком близко подходят к люльке, она их гонит! Она их отучила пастись возле люльки!

И в самом деле, теленок и буйволенок паслись в самом конце двора, а куры хоть и разбрелись по двору, близко к люльке не подходили. Под странным зонтичным деревом, где стояла люлька, трава была свежее и гуще, чем во всем дворе.

— Что интересно, Чик, — сказала Ляля, — даже когда мы вечером убираем люльку в дом, теленок и буйволенок не смеют пастись здесь, под деревом. До того собака их запугала. Она без ума от нашей малышки.

Ляля, быстро мелькая голыми ногами, подошла

к люльке, не без труда оторвала кулачок девочки от уха собаки, а потом извлекла девочку из люльки.

Она прижала ребенка к груди. Ребенок был в одной коротенькой рубашонке, и Чик поразился его мощной лягастости. Чик охватил их обеих взглядом, и ему стало как-то даже не по себе: молодая мать прижимает к груди своего ребенка!

А ведь она была не старше Чика! Черт его знает, что делает это буйволиное молоко, подумал Чик, окончательно забыв о своей теории, объясняющей обилие телесности дочерей тети Маши.

Ляля поставила босого ребенка на траву и, придерживая его за предплечья, стала учить ходить. Ребенок довольно быстро перебирал своими лягастыми ногами, ступая голыми ступнями по траве. Он даже хотел идти быстрей, это было видно по его телу, решительно наклоненному вперед, но Ляля крепко придерживала его. И самое забавное было, что огромный пес, как добрый и покорный отец семьи, осторожно шел за ними.

— Топ! Топ! Топи! Топи! — повторяла Ляля и прогуливала свою толстоногую, стремящуюся оторваться от нее сестренку.

— Ну, ладно, я пойду, — сказал Чик.

— Чик, заглядывай к нам почаще! — крикнула

Ляля и снова: — Топ! Топ! Топи! Топи!

Огромный пес продолжал следовать за ними, как бы признавая всем своим видом полезность для ребенка таких прогулок.

Когда Чик возвратился в Большой Дом, там никого не было, кроме тети Нуцы. Она проницательно посмотрела ему в глаза, точно так, как перед обедом, и сказала:

— Чик, я сообразила, что ты не обедал. Покормить тебя?

Долго же ты соображала, подумал Чик.

— Не хочу, — сказал Чик, — я уже пообедал у тети Маши.

— Да что ты там среди этих прожорливых девок мог ухватить, — удивилась тетя Нуца. — Я тебя сейчас накормлю.

— Честное слово, не хочу, — сказал Чик искренне, — я там очень хорошо поел.

— И как они тебя самого не слопали, эти девки, — еще раз удивилась тетя Нуца. — А почему ты меня запутал, сказав, что уже обедал? За тебя два раза этот бессовестный Рыжик поел. Ну, прямо из голодного края! Хоть бы впрок ему шло: кожа да кости! Но почему ты мне тогда сказал, что уже обедал, вот чего я никак не пойму!

— Мне тогда не хотелось, — сказал Чик, чув-

ствуя, как трудно объяснить, что он своим отказом хотел угодить тете Нуце, которая глазами так и выпытывала у него такой ответ.

— Зато я сейчас тебя чем-то угощу, — таинственно прошептала тетя Нуца и скрылась в кладовке, всегда запертой на ключ, который булавкой был прикреплен к ее карману.

Любопытство вернуло Чику аппетит. В кладовке всегда что-нибудь вкусное хранилось. Чик считал, что слово «кладовка» происходит от слова «клад». Там всегда хранится клад вкусных вещей: грецкие орехи, мед, сыр, чурчхели, сушеный инжир, золотые, тяжелые круги копченого сыра. Тетя Нуца вынесла ему темно-багровую чурчхелину величиной с хорошую свечку. Вот это подарок! Чик обожал чурчхели!

Для тех, кто не знает чурчхели, мы опишем, что это такое. Пусть хоть оближутся. Сначала на нитку с иголкой нанизывают дольки грецкого ореха.

Потом, держа за кончик нитки, всю эту низку опускают в посуду, где вываренный виноградный сок загустел, как мед. Даже еще гуще. И этот загустевший виноградный сок облепливает нитку с орехами. А потом хорошо облепленную густым виноградным соком нитку вынимают и вешают на солнце. Там она высыхает. Получается южная

сосулька: орехи в сладкой шкурке высохшего виноградного сока. Говорят, в древности абхазские воины, когда шли куда-нибудь в поход, брали с собой чурчхели — и сытно, и вкусно, и легко нести.

— Вот тебе, — сказала тетя Нуца, — а Рыжик ничего не получит. Я когда эту ораву посадила за стол, только тогда догадалась, что Рыжик уже сидел. Клянусь, думаю, моим покойным братом, я же только что видела за этим же столом, на этом же месте этот бессовестный рыжий затылок! Но не гнать же ребенка из-за стола! Грех! Он из села Анхара. А там все такие. За ними нужен глаз да глаз! И тут-то я догадалась, что ты не обедал! Выскочила на веранду и спрашиваю у детей: где Чик? А они: не знаем, куда-то ушел!

Чик с удовольствием уплетал чурчхели и слушал тетю Нуцу. Он в очередной раз удивился глупому свойству взрослых людей все обобщать. Вот Рыжик схитрил и два раза пообедал, значит — все жители села Анхара только тем и заняты: кого бы перехитрить и переобедать у него два раза! И еще Чик с удивлением убедился, что тетя Нуца совсем не подыгрывает своим. Вот Рыжик ее родственник, а чего только она про него не наговорила. А он думал — подыгрывает! Даже дядя Сандро думал, что подыгрывает! Она про-

сто ужасно устает и многое забывает. И тут Чик вспомнил, что сам забыл три раза отказаться от чурчхелины, прежде чем ее взять. А он сразу — цап! Нехорошо.

Но чурчхелина такая вкусная… Да нет же, поправил себя Чик, отказываться нужно в других домах, а не в доме, где ты живешь! Вечно я путаю! И потом: чурчхелина, в сущности, не угощение, а награда. Награда потому и награда, что ты ее заслужил. Значит, тебе дают твое! Чурчхели — награда Чику за скромный отказ от обеда.

Чик с удовольствием уплетал чурчхелину. Вот житуха, думал Чик, то — ничего, то — все! Было так приятно надкусывать чурчхелину, потом надкушенную часть, придерживая зубами, провести по нитке до самого рта, после чего выдернуть нитку изо рта и чувствовать, как сочные дольки ореха пережевываются с кисловато-сладкой кожурой виноградного сока. Тут самый смак во рту, это вкуснее и отдельного ореха, и отдельного высохшего виноградного сока. Они перемешиваются, и возникает совершенно особый третий вкус! До чего гениальный был человек, который в древности придумал чурчхели! Жаль, его имя не сохранилось. Можно было бы посреди Мухуса поставить памятник Неизвестному Изобретате-

лю Чурчхели.

А то стоят повсюду памятники Сталину. Он придумал Днепрогэс, он придумал Магнитогорск, он придумал колхозы, он защитил Царицын. Большой Дом изнутри вместо обоев был оклеен листами старых газет и журналов. Чик от нечего делать прочел всю эту настенную библиотеку. В тех местах, где он не доставал до текста, он ставил на лежанку табуретку и добирался до него. И там была статья о том, как Сталин в гражданскую войну, пользуясь еще не разгаданной врагами своей мудростью, отстоял город Царицын. А потом якобы народ по этому случаю назвал этот город Сталинградом. Сколько Чик ни перечитывал эту статью, он никак не мог понять, в чем заключалась мудрость защиты Царицына. Да не было там никакой мудрости! Статья — самый настоящий подхалимаж! Чик и раньше не очень доверял Сталину, хотя и не верил, когда дедушка вдруг сказал ему, что Сталин разбойник, ограбивший пароход до революции. Но с тех пор, как арестовали любимого дядю Чика и выслали отца, Чик окончательно возненавидел Сталина.

Бедняга Чик! Если б он тогда знал, что больше никогда в жизни не увидит ни дядю, ни папу, как ему тогда грустно было бы жить. Но он был

уверен, что эту ужасную ошибку рано или поздно исправят и он увидится с ними.

Чик иногда ловил себя на хитрой мысли, что хочет, очень хочет, чтобы Сталин в самом деле был великим и добрым человеком. Тогда на душе стало бы спокойнее, стало бы ясно, что все плохое в нашей стране — результат вредительства или ошибок глупых людей. Но Чик чувствовал фальшь Сталина, и от этого некуда было деться. Он мошенник, думал Чик, обманувший всех и даже Ленина.

Но что же делать? Чик не видел выхода. Тут был какой-то тупик. Чик терпеть не мог тупики. Он любил ясность. Поэтому Чик больше всего на свете не любил думать о вечности и о политике. И там, и тут был тупик. Политика казалась копошащейся вечностью. Но иногда невольно приходилось думать и о том, и о другом.

Как это вечность? Все должно иметь начало и конец. Но тогда что было до начала вечности и что будет после ее конца? Опять вечность?! Тогда зачем она кончалась? От этих мыслей Чик всегда чувствовал горечь и одиночество.

И сейчас, доедая чурчхели, Чик вдруг ни с того ни с сего подумал о вечности. И ему сразу стало тоскливо. Тут не решен вопрос о вечности, а он

себе уплетает чурчхели. Глупо. Чик сразу почувствовал горечь бессмысленности и одиночества. От этой горечи ему даже во рту стало горько.

И ему мучительно захотелось к ребятам. Он знал, он точно знал, что только в азарте игр улетучивается эта горечь бессмысленности и одиночества.

— А где ребята? — спросил Чик у тети Нуцы.

— Дети наверху, — кивнула тетя Нуца в сторону взгорья за Большим Домом, — они там играют и пасут козлят.

— Я пойду к ним, — сказал Чик и встал.

— Иди, Чик, иди, — ответила тетя Нуца, пододвигая дровишки под котел с похлебкой, висевший на очажной цепи.

Чик вышел во двор, поднялся к верхним воротам, вышел из них, закрыл их на щеколду и стал пробираться по пригорку. Вскоре Чик услышал шорохи в кустах, иногда как бы раздраженный шелест, и он угадывал, что такой шелест вызван тем, что какая-то ветка не поддается, а козленок тянет ее. Замелькали в кустах беленькие козлята, быстро-быстро вбиравшие в рот листья лещины, сассапариля, ежевики. Время от времени они переблеивались, чтобы не отстать от стада, чтобы чувствовать своих поблизости.

Чик давно заметил, что, когда коза отбивалась от стада, она издавала дурное, паническое блеянье, она теряла всякое желание пастись и шарахалась по кустам в поисках своих. Чик даже подумал, что коза в такие минуты чувствует одиночество вечности, хотя сама этого не понимает.

Так и Чик сейчас, услышав радостные голоса детей там, на холме, понял, что они беспечно играют и ему с ними будет весело. И оттого, что он знал — сейчас в бешеной беготне, в азарте игр уйдут от него все неприятные мысли, ему сразу стало хорошо, и он почувствовал прилив сил. Ему прямо-таки захотелось переблеяться с ребятами, как с козлятами.

— Я здесь! — крикнул Чик изо всех сил и стал быстро пробираться к вершине холма.

Он уже слышал смех мальчиков и взволнованные крики девочек, но они были невидимы за зарослями склона.

— Чик, иди к нам! — раздался веселый голос Рыжика. — Где ты пропадал? А мы бегаем наперегонки!

В голосе Рыжика Чик почувствовал такую дружественность, такое искреннее желание видеть его, что он сразу все простил ему. Какой обед? При чем тут обед? Все это чепуха! Сейчас досыта

набегаться с ребятами — вот сладость жизни, и она от него никуда не уйдет!